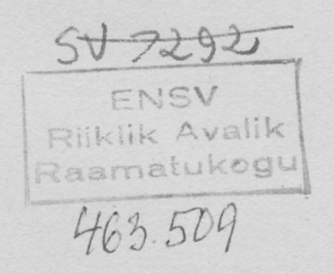
# Несчастья

ЮРИЙ СОЛОНЕВИЧ

# ПОВЕСТЬ О 22-х НЕСЧАСТЬЯХ




ИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС РОССИИ“
СОФИЯ — 1938

Post office Box 296, Sofia. Bulgaria

ОБЛОЖКА РАБОТЫ АВТОРА

1.

# Ц. А. Г. И.

## Немножко о себе


ЛЮБУЮ тему можно писать с двух точек зрения: с точки зрения специалиста или с точки зрения поверхностного наблюдателя. Первый способ отличается абсолютной достоверностью, в то время как второй дает некоторый моцион читательскому мозгу на предмет изыскания истины.

У меня странное положение: в вопросах советской действительности я не могу назвать себя специалистом. Но в то же время было бы излишним самоуничижением признать себя поверхностным наблюдателем.

В общей сложности я прожил в России шестнадцать лет — казалось бы, достаточно, чтобы изучить страну со всем тем, что называется ее „нравами и обычаями“. Но, если вы прожили, допустим, год в какой нибудь стране, то ваше знание ее в огромной степени зависит от места, которое этот год занимал в вашей жизни, т. е. был ли это ваш первый год или, допустим, сорок пер-

вый. В первый год вашей жизни вы только научились обращаться с соской и, при некоторых лингвистических талантах, быть может, даже говорить „папа“ и „мама“. Но этому бы вы научились и в любой другой стране. Будь, однако, этот год вашим сорок первым, он бы вам дал не в сорок, а быть может, в сорок тысяч раз больше.

Сейчас мне 22 года. Попади я в революцию в этом возрасте, мне было бы сейчас 42, и о советской жизни я мог бы говорить с приятным, как буржуазное брюшко, чувством полной компетентности. Но в революцию я попал двух лет от роду. Теперь я умею держать соску по советски, и говорить по советски „папа“ и „мама“.

Все зависит от того, с какого возраста считать человеческую жизнь сознательной.

Для того, чтобы хоть немного разбираться в вопросах советской действительности, нужно энное количество лет своей сознательной жизни провести в среде всяческих месткомов, профсоюзов, парт’ячеек, субботников, нагрузок, халтуры и прочих специфических явлений в жизни нашей неблагословенной родины. Нужно „обтереться“ в этой среде. Понять ее можно, только глядя на нее глазами уже „обтертого“ человека.

Меня судьба двенадцатилетним обормотом вынесла из России на свет Божий. В 1928 году моя мать была назначена машинисткой в торгпредство в Берлин, куда и забрала меня с собой и где я прожил и проучился до конца 1930 года. В 1930 году пришла откомандировка обратно „в союз“. Обстоятельства, которые мамаша описывает в своей книге—„3 года в берлинском торгпредстве“ и которых я не стану, за неименим места, описывать здесь, помешали нам застрять в Берлине.

В конце 1930 года, когда я с дрожащими легкой дрожью коленками и немного пересыхающим горлом выходил с Белорусско-Балтийского вокзала в Москве, я, в сущности говоря, так же мало знал советскую действительность, как ее знал, любой

средний иностранный турист. Если за первые двенадцать лет своего бурного советского детства я успел хоть на иоту познать советскую жизнь „как она есть“, то последующие три года берлинской безмятежности стерли эту иоту, превратив меня в простодушную иностранную невинность. Невинность в круглых роговых очках, в желтых гольфах (о которых одна бабуся мне как то жалостливо сказала: „Ишь, касатик! Портишки-то подвернул, что-б не измызгались!“) и вообще с этаким итонским видом.

Теперь эта невинность стояла на пороге огромной, таинственной страны—с дрожащими коленями, но с твердым намерением в кратчайший промежуток времени к этой стране приспособиться.

Приспособился я довольно скоро. Несмотря на невинность, я очень скоро оценил все преимущества своей высоко-иностранной внешности. Ибо, если эта внешность и не открывала передо мною каких-нибудь особо привиллегированных Сезамов, то она во всяком случае охраняла и оберегала меня от целой массы мелких, повседневных неприятностей, которые, с одной стороны, досаждают и треплют измотанного советского гражданина, но с другой стороны — учат его жизни, уму-разуму и божественному искусству советской изворотливости.

Заграничный аппаранс сберег мне много нервов, но он чуть было не провел меня мимо этого искусства, мимо советской действительности, мимо современной России. Заграничный аппаранс стоил мне много коломитных часов впоследствии...

* * *

Начало своего второго советского периода я провел с отцом в паломничествах по широкому лицу земли русской: он — с блок-нотом, а я — с „последним криком“ европейской фото-техники — карманным аппаратиком „Лейкой“. Он — в погоне за литературной халтуркой, я — в погоне за „кад-

ром“. С одной стороны стояла Россия, с голодом, экзотикой и раскосыми киргизами, а с другой — я с „Лейкой“.

Помню, как-то раз, ранним осенним утром, я снял на станции горного городка Темир-Хан-Шуры спящего беспризорника. Фотография эта есть у меня и сейчас. Он сидел на вывороченном из мостовой булыжнике, прислонившись спиной к каменной стене станционного здания. Козырек надвинутой на глаза кепки заменял ему кроватный балдахин.

Ночью стукнул уже, видимо, легкий морозец, ибо на серо-черном отрепье его штанов серебрился иней. Запястья тонких, как щепки, рук в том месте, где они торчали из карманов брюк, но куда не доставала бахрома коротеньких рукавов, были синевато-лиловы и шершавы от ветра и превратностей жизни.

„Кадр“ получился роскошный. Я много потерял времени, пока нашел подходящую точку зрения и пока достаточно взошло солнце, чтобы можно было снять с руки, без штатива. Я осторожно двигался вокруг своего трофея, стараясь как нибудь не разбудить и не вспугнуть его. Но его не будили даже свистки проходящих в десяти шагах маневренных паровозов. . .

Потом, намного позже, после одиночки и лагерных бараков, я как-то вспомнил этот снимок. По ассоциации вспомнил самый процесс его производства. Вспомнил свое настроение восторженного интуриста, нашедшего какую нибудь местную диковинку и щелкающего кодаком по всем направлениям.

И понял — каким западно-европейским остолопом я был в те времена. . .

* * *

„Умом России не обнять...“

Именно это обстоятельство оказалось роковым для идеи государственного планирования. Если американский журналист мистер Никкербокер плотно

вытоптанными интуристическими тропами пролетел метеором по лицу земли русской и „обнял“ теперь Россию своим всеоб’емлющим умом, то нам только остается преклониться перед емкостью американских мозгов.

Мы, русские, лучше знаем нашу родину. Но, как бы плохо мы ее ни знали, мы знаем, что умом ее не обнять. Выражаясь образно, —„мы знаем, что мы ничего не знаем.“

Но, если набрать разноцветных камушков — самых пестрых и разноформенных, но правдивых рассказов о жизни современной России, — то можно сложить себе из них одну большую мозаику. Такая мозаика, быть может, хотя бы отчасти заполнила белые места на карте нашей таинственной родины.

Я не берусь складывать всей мозаики. Я только хочу приготовить один камешек для нее.

## Первые попытки самостоятельной деятельности

Мое первое столкновение „лбом об стенку“ советской действительности произошло весной 1932 года, когда дальние странствия были признаны вещью, хотя и весьма поучительной, но все же недостаточной для того, чтобы сделать из меня человека. На семейно-военном совете было постановлено, что мне следует избрать себе какую нибудь определенную специальность и, соответствующим образом координируя свои действия, направить свои стопы в эту сторону.

Однако, с „направлением стоп“ куда бы то ни было дело в советской России обстоит весьма сложно. В большинстве случаев всякие самостоятельные попытки в этом смысле носят, я бы сказал, чисто платонический характер: если фортуна к вам неравнодушна или вы можете похвастаться каким нибудь особенно „мозолистым“ происхождением, — вы

с того завода или из того учреждения, в котором вы работаете, получаете путевку в какое нибудь определенное учебное заведение. Допустим — это будет медфак (медицинский факультет). Выбор зависит не от вас, так что вам это приблизительно безразлично. Ломать себе голову над выбором вашей будущей карьеры вам не приходится. Предполагается, что за вас думает некто высший и мудрейший, каковым, в разных случаях является:

а) ком,—или парт'ячейка, если вы комсомолец или пионер,

б) местком, если вы причислены к „неорганизованной" молодежи и состоите только в профсоюзе,

в) некто, с кем у вашего папаши есть блат*) — если вы имеете несчастие нигде не состоять и не работать, и, наконец,

г) просто никто, если вы не имеете ни партбилета, ни профсоюзной книжки, ни даже самого обыкновенного блата... В качестве пояснительного примера, приведу одного моего приятеля, которого закатали таким образом в Инфизкульт**), хотя всю свою душу он отдавал электро- и радио-технике. В том же Инфизкульте прозябала одна моя знакомая девица, для которой мечтой жизни было ковыряться в жучках, цветочках и тому подобной мелюзге.

Сам я настолько бережно относился к своей многообещающей будущности, что ни в коем случае не соглашался отдаться на волю советских судеб, как отдавалась прочая молодежная часть советского населения. Быть может, и тут сыграли роль мои иностранные замашки, моя, так сказать, „экстерриториальная привиллегированность". В свое время прельщавшую меня профессию арканзасского траппера заменило теперь нечто более современное и более подходящее к возрасту: авиация. Я возымел намерение стать летчиком или по крайней мере — авио-инженером.

---

*) Протекция

**) Институт Физической Культуры

Через посредство одного удивительного инженера, который, при советских условиях, по всем праздникам посещая церковь, совмещал фанатическую религиозность с усердным конструированием авио-бомб, моим предкам удалось пристроить меня в самое сердце или, вернее, мозг авиационной промышленности СССР — в Центральный Аэро-Гидродинамический Институт (сокращенно ЦАГИ) на амплуа переводчика-практиканта. При ЦАГИ был свой собственный закрытый авиационный техникум, в который я, таким образом, получал шансы попасть, проработав годика полтора-два над переводами из иностранных журналов всяческих волнующих новинок в области обтекаемости несущих плоскостей.

Но я, должно быть, по наследственности, не приспособлен к конторской работе. В жизни моего отца был позорный случай, когда его выставили со службы за полной неспособностью калькулировать десятые доли пары советских ботинок, приходившиеся на долю единицы населения города Одессы в год.

Погибель моя таилась в наличии при ЦАГИ хорошо оборудованной теннисной площадки. Узнав о ее существовании, я стал проводить на ней большую часть своего служебного дня. . .

Должен, впрочем, сказать, что в „ИНФО"*) — отделе, приютившем меня под своим крылышком,— работы было, если исходить из восьмичасового рабочего дня, на, максимум, пятерых человек. Нас же, по иронии судьбы, было там тридцать восемь. Но, если бы читатель имел возможность хоть на минуту заглянуть в шесть огромных комнат, в которых табором расположился этот веселенький отдельчик,— он решил бы, что находится в главной конторе американского стального треста, где тридцать восемь хорошо оплачиваемых специалистов лихорадочно работают над составлением годового баланса.

---

*) Информационный отдел

Работа кипела... Ее было всего на столовую ложку, но она кипела, наполняя все помещение ядовитыми парами советской халтуры. Я же, по своей молодости и заграничной невинности, решил, что, если делать в сущности нечего, так я лучше буду хоть в теннис играть...

Должен, однако, сказать, что в своем свободолюбии я зашел слишком далеко. Там, где дело шло о моей непосредственной переводческой деятельности, сама судьба играла мне в руку: начальство, в лице одной пожилой и замечательно симпатичной дамы, покрывало меня где и как могло. Странички моего рабочего дневника (я должен был ежедневно записывать результаты проделанной за день работы) подписывались им сразу на неделю вперед, моя карточка к контрольным часам находилась в сумочке у того же начальства и пробивалась одновременно с его собственной... Словом, жизнь была — разлюли-малина, если бы...

... если бы я не обнаглел до тото, что перестал являться на общие собрания и отбывать какую бы то ни было общественную нагрузку, заявив при этом во всеуслышание, что „ни мой дед, ни мой отец никогда на субботниках не бывали и что уж я-то на них, конечно, ходить ни в коем случае не буду...“

Тут уже лелеющая рука моего начальства оказалась бессильной, и я не без некоторого треска вылетел.

Вылетел, правда, не надолго. „Познай самого себя, но познав — не впадай в уныние!“ — говорит золотая поговорка. Я принял в расчет опыт пройденного и влез в ЦАГИ с другой стороны, на этот раз уже на должность фото-репортера. Должность эта была высоко секретной, по какому поводу мне пришлось подвергнуться обряду „засекречивания“.

Здесь у меня является сильный соблазн отвлечься на минуту в сторону этого маниакального заболевания всякого себя уважающего советского

учреждения, но я лучше воздержусь. Скажу только, что, если те же самые меры предосторожности применяются и при засекречивании на более высокие и ответственные посты в советской военной промышленности, то за исход возможной войны СССР с кем-либо из его добрых соседей я совершенно спокоен: соседи имеют своих людей там, где им нужно, в совершенно достаточном количестве.

Процесс засекречивания прошел, можно сказать, быстро и безболезненно: мой циплячий возраст притупил классовую бдительность двух знакомых (так называемых „домашних“ или „ручных“) коммунистов, которые подмахнули свои рекомендации. С меня была взята подписка по типу клятвы, которая берется с человека при поступлении его в Ку-Клукс-Клан, о неразглашении „ни устно, ни письменно, ни каким-либо другим путем“ виденного и слышанного, и через месяц из ГПУ пришел аттестат моей добропорядочности — акт о засекречивании. С этого момента я получил право на вход в самые сокровенные закоулки ЦАГИ и даже в такое, например, „святая святых“, как ЗОК (Завод опытных конструкций), где рождались типы серийных бомбовозов, истребителей, разведчиков и т. п.

Должность фото-репортера требовала от меня неукоснительного присутствия при различных скучнейших опытах обтекаемости в „трубах“ (аэродинамических трубах, в которых сильный поток воздуха создает для модели условия полета) или в гидроканале, где испытывались глиссеры и гидропланные поплавки, но должен сказать, что от своего пристрастия к теннису я не отказался и тут. Только на этот раз я стал поступать несколько остроумнее, использовав накопившееся количество советского опыта и применяя на практике теоретические указания своего умудренного отца.

Я начал с того, что сразу же вовлек в это греховное времяпрепровождение своего непосредственного начальника, соблазнив его перспективой спустить таким образом свое пивное брюшко. За

час до обеденного перерыва он с сугубо деловым видом сгребал под мышку свой портфель, распоряжался выдать мне аппарат и пластинки и забирал меня с собой „в трубу“ — снимать „модель № 345 АВ“ или что-нибудь подобное.

Я нагружался всем своим фото-инструментарием и следовал до контрольной будки (на каждом, даже самом завалящем, советском заводе имеется контрольная будка с двумя красноармейцами, проверяющими пропуска), где складывал в кучу аппарат, штатив, магний и лампы, после чего мы с легким сердцем отправлялись прямо на корт. Возвращаясь после двух-трех часов игры на работу, я слезно жаловался своим сослуживцам на эксплоататорские тенденции начальника.

Както раз, придя на площадку, мы напоролись на самого начальника ЦАГИ тов. . . (фамилия известная, но хоть убей — вспомнить не могу!..) Мой шеф поспешил ретироваться, после чего мы битых три часа катались на коляске гидродинамического канала, где я с ожесточением снимал давным давно уже испытанную модель эаропланного поплавка.

Таким образом, все обстояло благополучно, и перспектива авиационного техникума начала уже облекаться в телесные формы. Шатаясь с аппаратом по отделениям ЦАГИ, а также заходя иногда в подчиненные ЦАГИ организации, я постепенно заводил знакомства с разной публикой, которая могла мне впоследствии помочь при поступлении в техникум. Однако, из круга своих знакомств я, по той-же иностранной невинности мышления, выпустил самое важное: комсомольскую ячейку института. Может быть, во мне сказывались еще берлинские условные рефлексы из того времени, когда я в течение трех месяцев тщетно пытался отбояриться от тамошнего пионерского отряда. Но мамашу в торгпредстве прижали, и мне отбояриться не удалось. Попав в отряд, я с первого же дня почувствовал себя примерно так-же, как чувствовал себя Маугли в плену у Бандарлогов. Меня теребили, давали какие-то идиотские

указания относительно общественной нагрузки, которую мне полагалось бы нести, и отнеслись с таким диким подозрением к моему индивидуализму, что этот индивидуализм на первой же неделе возмутился. Через три недели меня вышибли из отряда „за отсутствие какой бы то ни было инициативы и поведение, неподабающее в таком ответственном звене компартии, как подпольный берлинский отряд“ (он тогда оффициально считался подпольным)... Словом, к этой организации у меня даже чисто суб'ективно сохранились самые нелестные чувства. Может быть, именно поэтому я и пренебрег комсомольской ячейкой.

И вот, когда подошло время и был об'явлен прием в техникум, я прямо отправился к самому заведующему, с которым успел уже слегка познакомиться и который недели три тому назад довольно твердо обещал мне устройство на фюзеляже—строительное отделение.

Прихожу. Стол, за столом сидит приемочная комиссия — мой заведующий и трое каких то типов. Когда до меня доходит очередь, — подаю заявление и собираюсь уходить. Но меня останавливает один из этих трех, который при ближайшем рассмотрении оказывается Тимашевым — секретарем нашей ком'ячейки.

— А вы что, товарищ, из ЦАГИ?

— Из ЦАГИ.

— С какого отделения?

— Да вы посмотрите — там все написано.

— А почему я вас не знаю?

— М-м... Понятия не имею!..

Тимашев, конечно, знал меня, потому что во время моей переводческой деятельности самолично сделал мне разнос за непосещение субботников и потом несколько раз справлялся у моего начотдела насчет моего пристрастия к теннису (нашел у кого справляться!). Он кинул на меня рысий взгляд:

— А вы где учились?

— В высшем реальном училище в Берлине. Это тоже стоит в моем заявлении.

— Обществоведение проходили? Историю борьбы классов знаете?

Тут я и влип. Ни того, ни другого я, конечно, не знал. Учил когда-то в салтыковской первой ступени, но потом при первой же возможности постарался все это крепче позабыть. Я для советских масштабов неплохо знал математику, историю, языки и прочие „гуманитарные“ науки... „О, как я был далек от истины!“... Мне тут же, как на полевом суде, назначили на завтра испытание, мой заведующий даже не пикнул.

Хладнокровно взвесив все „за“ и „против“, я на испытание просто не пошел. Оставаться в ЦАГИ — ждать приема в техникум в следующем году — не имело смысла. Я „рассекретился“ и ушел из ЦАГИ, чтобы искать других дыр в будущее. На этом и кончились мои „воздушные“ мечты.

## Стези самообразования

Таким образом, цаговский техникум забрал у меня—ни много, ни мало — целое лето. Не могу сказать, чтобы это время я потерял совсем уж безо всякой собственной вины. В свое оправдание скажу только, что вина эта состояла совсем не в моем пристрастии к теннису и не в биении баклуш, а в чем то совершенно другом, непонятном, быть может, западно-европейской психике: я не сумел уцепиться. . . Шатаясь по своей фото-репортерской должности взад вперед по ЦАГИ, я не использовал своего вольготного положения так, как на моем месте его использовал бы другой, более обтертый советский пройдоха. Я не завел себе блата там, где было нужно; увертываясь от субботников, я не делал

этого с той тонкой дипломатией, которая подобала бы в таких случаях, — другими словами, я не проявил никаких талантов к изворотливости, каковая безталанность карается в советской России всеми возможными мерами наказания, вплоть до высшей. (Наконец, я ни разу не выступил на общем собрании с предложением основать новый кружок политграмоты и не взял на себя сбора членских взносов ни одной из тьмы „добровольных“ организаций.)

* * *

Зима тридцать второго года ушла на зубрежку. После нескольких бесплодных попыток моих предков устроить меня хотя бы куда нибудь, после провала по тому же диамату на экзамене в наш свободнейший для поступления Салтыковский метеорологический техникум, я, наконец, решил или, вернее, мне ничего другого не оставалось делать, как заняться пресловутым сомообразованием.

„Дайте мне за два с полтиной папу от станка“ — поется в СССР на мотив кэк-уока. О! За „папу от станка“ я бы дал тогда побольше паршивых советских „двух с полтиной“! Но папаша мой был не только что не „от станка“, но даже и не „от сохи“ — за сохой он, несмотря на свое мозолистое происхождение, все же никогда не ходил. Когда то у него хватило энергии и мозгов, обогнав рассейскую сошку, пойти на юридический факультет. В то время он не задумывался над последствиями этого поступка для своего будущего потомка. Теперь он был, говоря сугубо-официальным языком, „классовой надстройкой“. Интеллигентом. „Трудящимся“. Не рабочим, а именно „трудящимся“ — как снисходительно обзывается в СССР всякая интеллектуальная сошка... А я сидел теперь, проливая горючие слезы в разбитое корыто, со все наростающим фа-

тализмом следя за провалами всех моих попыток научиться уму-разуму. . .

Была, правда, еще одна попытка поступить „научным сотрудником“ в ГОИН (Государственный Океанографический Институт), но и она окончилась (и слава Богу, что окончилась) неудачей: недели через три после отказа, я как то снова зашел в ГОИН и нашел здание заколоченным, а перед ним будку с красноармейцем внутри. Подошел — спросил в чем дело.

— А вони усі сидять, — был невозмутимый ответ.

— Как сидять?. .

— Так, сидять. Іх усіх гепею поперелапало! . .

Оказалось, что в ГОИН'е было обнаружено какое-то „вредительство“, и он полным составом сел в ГПУ, в том числе и мой товарищ Буби Редлейн, по чьему почину я и предпринял было эту провалившуюся попытку. Он, сын интеллигентных родителей, русский немец, тоже долгое время скитался по разным приемочным комиссиям, тоже работал на разных заводах, но классовое происхождение висело на нем каиновым кирпичом, и он с отчаяния пошел плавать по Северному Ледовитому океану на ГОИН'овской шхуне в качестве „научного сотрудника“. Околачиваясь круглый год в океане и вылавливая из глубин морских каких-то микробов, рыбешек и каракатиц, он имел возможность кое чему подучиться, отрастил себе амундсеновскую бороду и, попыхивая кривой носогрейкой, рассказывал мне на побывке:

— А знаешь — фартово получается! Шхуна у нас маленькая, „Тузиком“ мы ее зовем, крепенькая, как орешек, — ей ни шторм, ни лед нипочем! Провианту мы берем на три месяца, как шторм — законопатим все дырки и айда на боковую. Шторм пройдет — мы снова вылазим, на солнышке греемся и книжки читаем — в Мурманской библиотеке берем. Ни тебе московских трамваев, ни тебе ГПУ! Лафа!

Словом, этот Буби тоже „сел“. Что с ним впоследствии стало — не знаю. Я же, как было сказано выше, уселся за зубрежку. Досуги проводил на лыжах, в очередях и в разыскивании учебников.

С учебниками, как, впрочем, и со всем в СССР, кроме грибной икры и того, чего вам в данный момент как раз вовсе не нужно, дело обстояло из рук вон плохо. Учащиеся вузов еще кое как получали новенькие советские учебники по одному на пятерых, нашему же брату — самоучкам — приходилось откапывать по чердакам то, что на советском студенческом жаргоне называлось „лист-листок — скок-поскок“; всяких Иловайских, Хвольсонов и проч. Правда, эти „лист-листочки“ шли по одному за двадцать советских: в них все-таки физика была — физика, а история — история, а не сплошная классовая резня. Но кроме того, в них было нечто необычайно ценное: неисчислимые, незаменимые и иногда непревзойденные по своей мудрости изречения, заметки, ссылки и проч. Как сейчас помню — на одном старом издании истории французской революции, в месте, где говорилось о казни Робеспьера, стояла химическим карандашом заметочка: „См. жизнеописание Сталина, изд. 1950 г.“

Все эти заметки вносились предыдущими читателями и никогда не стирались и не уничтожались последующими. Своеобразное уважение к чужой мысли. К ним приписывались новые, вносились поправки вроде: „указанную книгу прочел: ничего подобного!“, или: „брешешь дядя, сказано не то-то, а то-то!“

Эти „лист-листочки“ были своеобразными подпольными университетами. Из библиотек они изымались, и достать их было можно лишь по блату или чисто случайно, да и то за большие деньги. Получивший такой учебник срочно сообщал об этом товарищам, устраивалась сходка, на которой назначались часы чтения, и затем „листок“ начинал ходить по рукам, сопровождаемый „контролем масс“: что-б не сперли и не зачитали.

Впрочем, зачитать книгу в советской России считается как бы признаком хорошего тона. Вроде того, как у американских биржевых акул признаком хорошего тона считается обдуть на какой нибудь сделке своего доброго знакомого. Зажилив у вас книгу, человек, примирительно осклабясь, оправдывается тем, что он-де передал ее для вас через Марью Ивановну, а та-де забыла ее в трамвае... Вы и машете рукой. Впрочем, обычно бывает так, что и вы уже успели зажилить пару книг у этого человека: если вы начнете настаивать, — он вам припомнит старые грешки — проще сразу замять этот вопрос.

Но в то время, как обязательные издания Ленина, Сталина, Горького и пр. служат в беспартийной среде целям, аналогичным подкладыванию под сидение, а у партийцев — в качестве декорации на полках, — к заграничным писателям и классикам, в особенности довоенных изданий, отношение сугубо бережное, можно сказать, почти нежное. Их берегут, как фамильные драгоценности, стараются никому не давать, но, конечно, все-таки дают. Там их зачитывают, но продолжают беречь, как свои собственные, пока они не перейдут дальше в такие же „хорошие руки“.

Разыскивая, покупая и зажиливая учебники, я, конечно, как и большинство такой „самоучащейся“ молодежи СССР, руководился не каким нибудь заранее предопределенным планом, а брался за то, для чего в данный момент находил пособия. Так я, например, досконально изучил историю французской революции, сильно подправил английский язык, в свое время мог считать себя специалистом по космическим ракетам, а также знал содержание всех дисскусий относительно каналов на Марсе.

После крушения своей авиационной деятельности, я еще никакой определенной профессии не избрал, да если бы и избрал, то не смог бы найти подходящих учебников, а уж о практике и говорить было нечего. Если бы в те времена мне кто-нибудь

сказал, что я года через 3-4 стану художником, я бы, как говорят в Одессе, „сделал на него большие глаза“. В той плеяде школ, через которые я успел пройти за свое недолгое пребывание в этом мире, учителя рисования старались меня по мере возможности не замечать. Я платил им тем же. Так оно и шло.

Единственным руководящим методом в избрании моей будущей проффессии был для меня метод исключения. Для меня было ясно, чем я никогда не стану или, по крайней мере, постараюсь не стать. Так, например, профессии бухгалтера, хирурга и балетмейстера внушали, да и до сих пор еще внушают мне настолько острое отвращение, что их я мог бы избрать только по принуждению, чего у меня все-таки, слава Богу, не было. Одного моего приятеля закатали таким образом на три года в Инфизкульт, хотя он и отбрыкивался всеми конечностями; заводская ком'ячейка вручила ему путевку, единственную пришедшую на завод путевку в Инфизкульт, по той простой причине, что он был лучшим спортсменом на заводе. Когда он попробовал заикнуться о своем пристрастии к электричеству и радио, ему просто сказали: „Это уж потом, там ваше дело хозяйское, получите перевод в МГУ — ваше счастье. А мы пока обязаны командировать вас в Инфизкульт, „без отрыва от производства“. Тогда мой приятель заартачился и заявил, что в случае чего—он просто уйдет с завода. На это его уже вызвали прямо в самую парт'ячейку: „Это, значит, мы вас два года ремеслу обучали (он стал на завод с единственной целью получить путевку на учебу), а вы теперь хвостом крутить собираетесь? Нет, дяденька, вы уж делайте, что вам говорят, а то, так и в летуны недолго заделаться!..“ Словом мой приятель остался и на заводе, и в Инфизкульте, только из заядлого спортсмена превратился в „чортов шкилет“, ненавидящий спорт всеми фибрами своей души.

Я стоял на рспутьи. Налево пойдешь — коня потеряешь. Точнее говоря — ни налево, ни направо

не пойдешь, ибо и слева, и справа, и вообще со всех сторон сидели всякие советские Змеи Горынычи и Соловьи Разбойники, не пущавшие классово-чуждого элемента.

Это состояние полной беспомощности доводило иногда до желания хоть кому нибудь перервать глотку, не в знак протеста, а так просто — для отвода души.

Приезжающего в Москву всегда в первую очередь удивляет необычайная озлобленность, придирчивость и эгоизм населения московских трамваев. Но если он вдумается в эту психологию полной беспомощности против одушевленных и неодушевленных Змеев Горынычей, — он поймет москвичей. А пожив недельку, две в тех же условиях, ассимилируется и станет таким же, как и другие, москвичом. Не тем старым москвичом, с „говором" и с прибаутками, а новым, теперешним „москвичом с бору, с сосенки" — хитрющим, как местечковый еврей, и зубастым, как щедринская щука.

Но иногда, ночью, когда уткнешь полную злости голову в подушку, лезли мысли о своей собственной бездарности и ненужности, о том, что ведь вот даже, если бы мне сейчас все пути были открыты, — я бы все равно не знал куда повернуть. На этажерке призваний я не нашел подходящей для себя полочки, а мой небольшой здравомыслящий советский стаж уже успел окончательно выбить из меня всякие остатки майнридовщины, выражавшиеся хотя бы в желании стать летчиком. Я копался в себе, пытаясь обнаружить хоть крупинку пристрастия к чему нибудь, и доходил порой до зависти к двум своим товарищам, из которых один стал с голодухи грузчиком, а другого немецких нравов папаша посадил изучать „ремесло" — отдал подмастерьем к нашему старому салтыковскому „иудею" (еврею-сапожнику), причем, „иудей" выдавал парнишку за собственного племянника, так как не имел права держать наемную рабочую силу.

Бывало так тошно, что временами пропадала вообще всякая тяга к учебе, и тогда я забрасывал свои общеобразовательные учебники и шел отводить душу в нашу полу-лыжную, полу-водочную компанию, называвшуюся почему то „Шарашкиной фабрикой". С ней мы устраивали „в ночь под выходной" trip'ы на лыжах Салтыковка — Люберцы. 40 километров туда и 40-обратно. Приходили утром вымотанные в мочалку и отсыпались, после чего вечером собирались „культурно тюкать водочку". Неделя, следующая за такой прочисткой мозгов, была снова ясна и проста, как весеннее утро, я снова садился за свою французскую революцию, пока ежедневные поездки в Москву, то за хлебом, то за керосином, не накопляли раздражения и злости. Тогда снова приходила черная полоса, обрывавшаяся где то по дороге из Люберцов в Салтыковку в ночь под следующий выходной день.

## Шарашкина фабрика

Если вы меня спросите, откуда у задерганных советских ребят брались силы для таких суворовских походов, я вам не отвечу. Сам не знаю. Я сам находился в тихом недоумении, глядя на то, как какой-нибудь Андрюшка, тощий, как чортов шкилет, живший только и исключительно на студенческом пайке, шутя отмахивал на лыжах положенные 80 километров и потом, вечером, вылакав с пол-литра жутчайшей сивухи, все-таки находил в себе силы для последующей советской шестидневки. А советская студенческая шестидневка — это похуже недели на нью-иоркской бирже!

Да что шестидневка! Опишу для примера средний студенческий день — такой, как он есть, без драматизирования и лирики. Помножьте это на шесть,

да прибавьте еще парочку непредвиденных случайностей—за шесть дней всегда случится что нибудь непредвиденное, вроде протокола в милиции—и вы получите советскую шестидневку.

Возьмем в качестве наиболее типичного примера вот этого самого Андрея Градецкого, студента первого МГУ, сына сельской учительницы, обучавшей всю нашу компанию в салтыковской школе первой ступени и теперь вышедшей „в отставку“ с пенсией—что то около сорока рублей в месяц. Андрей зверской учебой и неукоснительным исполнением всякого рода общественных нагрузок добился огромной стипендии в 90 рублей. От комсомола он умудрился отвертеться, что сильно затрудняло ему заработки на стороне. Таким образом, ему была предоставлена для питания студенческая столовка в подвале МГУ, где он изредка, по особо торжественным случаям своего серенького житья, позволял себе моссельпромовскую конфетку к кипятку. „Нигде кроме, как в Моссельпроме!“ — цитировал он при этом. Обычно же кипяток пился без буржуазных предрассудков.

Итак, начнем с утра. Вставая часов в пять (в расчете на то, что поезд опоздает), едет наш Андрюшка с одним из первых поездов в Москву.

Тут мне сразу придется отвлечься в сторону подмосковных поездов. (Хаотический характер настоящих заметок происходит, главным образом, от необходимости при описании советской действительности отвлекаться в сторону всяких „мелочей жизни“. Без таких отвлечений читателю не был бы понятен, например, самый термин — „первый поезд в Москву“).

В виду того, что условия подмосковного пригородного сообщения — вещь, никакому вдумчивому описанию не поддающаяся, приведу только следующий пример: даже зимой, в 30-градусные морозы, когда замерзают буксы и поезда волокутся двойной тягой, наиболее комфортабельными считаются места на крышах вагонов. Сюда, конечно, не могут

и не рискуют взобраться представители старшего поколения, но молодежь — народ забубенный, и она пристраивается там, плюя на стужу и на грозные оклики кондукторов. Холод собачий, и рыбий мех советской обмундировки на вылет пробивается встречным ветром, но зато не приходится балансировать на одной ноге, стоя на спинке сидения, или висеть, согнувшись в три погибели, в багажной сетке, емкостью в один советский деловой портфель. Кроме того, два часа такой поездки внутри вагона способны отправить в нервную санаторию всякого, даже самого здорового новичка. Здесь царит атмосфера погибающего судна, на котором решается вопрос: кому занять места в последней оставшейся шлюпке. На крышах же — атмосфера молодого задора, веселой издевки над едущими внутри, вездесущей „железки", а иногда даже и легкого мордобития — зрелища скрашивают скуку жизни!

Должен, впрочем, оговориться: такой степени набитости достигают только поезда от четырех до семи-восьми утра, и от семи-восьми до десяти-одиннадцати вечера, когда на многострадальную железную дорогу накатывается, так сказать, „девятый вал" всякого рабочего и служащего люда. Днем бывают даже такие невероятные факты, что еще в Никольском (пятая остановка от Москвы) удается получить сидячее место. Жителей же Реутова (четвертая станция) судьба обездолила: они так и не знают, что значит посидеть в поезде... Впрочем, может быть, даже хорошо, что не знают...

Одно из наиболее оригинальных качеств подмосковных поездов, однако, это то, что они соблюдают при своих рейсах полное инкогнито. Никто никогда не знает, что это за поезд в данный момент идет, куда он дойдет и дойдет ли вообще куда нибудь, и самое главное: сколько времени он пробудет в пути.

Идя как то раз со станции, встречаю одного своего знакомого. Знакомый шествует в развалочку,

но с явственным намерением попасть на какой то поезд. Спрашиваю:

— Вы куда?

— А я — на 7.20.

Дело было около десяти, по какому поводу я и делаю удивленное лицо:

— Какой же 7.20, когда сейчас уже 10?

— Ну, не на 7.20, так на 12.40, не все ли равно, как их называть?

А бывает и так: приходит в Салтыковку поезд. Все в него влезают и движутся с чувством полной удовлетворенности по направлению к Москве. Но на полдороге от Никольского к Реутову у поезда что-то лопается, и он тихо и мирно возвращается в Никольское, где его, вместе со всем его населением, переводят на запасный путь. Стреляная часть публики реагирует на такой маневр немедленной высадкой и организованным порядком прет по шпалам до Никольского перрона, где и поджидает следующего поезда.

Часть публики нестрелянная бросается на освободившиеся места и самодовольно пребывает в ожидании дальнейших событий. Однако, дальнейшие события медлят. Кто нибудь, выглянув в окно, заявляет, что только что прошел другой поезд на Москву. Но от запасного пути до перрона далеко, и попытавшиеся не успели во время добежать — поезд ушел без них. На втором часу ожидания намечается некоторая нервность в рядах пассажиров. Делаются попытки справиться о своей дальнейшей судьбе у поездного персонала, но персонал либо просто молчит (интересно отметить вообще странную молчаливость советских кондукторов), либо лениво отругивается. В лучшем случае, кто нибудь из официальных лиц все-таки сжалится и сообщит, что у паровоза лопнула какая-нибудь существенная часть организма и что поезд дальше не пойдет. Тогда начинается стремительное переселение народов из мертвого состава на перрон, что сразу увеличивает перонное население в два-три раза. В сле-

дующий (третий по счету) поезд половина публики не попадает и остается ждать уже четвертого, теряя, таким образом, три-четыре часа времени.

Я бы рассказал еще, что бывает, когда опаздывает знаменитая „Голубая Стрела“ (сверх-скорый Нижний—Москва) — а он опаздывает регулярно на два, на три часа,—но боюсь наскучить читателю своим грустным повествованием. Да и есть у каждого человека неприятные воспоминания, которые не следует шевелить. Вернемся лучше к нашему Андрюшке.

Одним словом, на крыше или на буферах, в восемь или в двенадцать часов, Андрей, наконец, попадает в Москву. В животе у Андрея до сего времени пусто, каковой факт заставляет его покрыть расстояние до МГУ в минимальный отрезок времени пешком или, если поезд опоздал больше обыкновенного—на трамвае. Гривенник по советским масштабам, даже для 90-рублевой стипендии — не деньги. Некоторые, побогаче, делают даже так: противозаконно и, вследствие этого, довольно свободно влезши в трамвай с передней площадки, остаются там стоять, предоставив дальнейшее ходу событий: если контроля не будет — проедут на шермачка; если контроль будет — попробуют поартачиться, в худшем случае заплатят рублевку штрафа и тот же гривенник за билет. По теории вероятности, такая система дает среднюю стоимость проезда в 25-30 копеек. Это — если не считать сохраненных пуговиц от пальто и нервов.

Но Андрюшка молод и увертлив, а кроме того, финансы не позволяют ему беречь свои нервы таким дорогим способом. Он едет за честный гривенник и берет с бою заднюю площадку трамвая. Не медля ни секунды, он начинает локтями пробиваться к передней с тем расчетом, чтобы к остановке МГУ оказаться у выхода.

Один мой знакомый немец, едучи на вокзал к отходу скорого поезда в Германию, по той же западно-европейской наивности, остался стоять на задней площадке в полной уверенности, что, когда на-

до будет, — его предупредят или, по крайней мере, пропустят. Когда ему подошло время высаживаться, его, несмотря на весь — правда, небольшой — запас русских ругательств, не выпустили. Он проехал еще восемь остановок и опоздал в Берлин на неделю, потому что его виза истекала как раз в этот день, а поезд, конечно, ушел без него.

По дороге у Андрюшки обычно происходит несколько крупных разговоров, но они не задевают его нервной системы. Если бы они ее задевали, — Андрюшка бы давно уже был в сумасшедшем доме.

Таким образом, уже несколько отряхнув с себя утреннюю сонливость, он, наконец, ныряет в мрачный подвал МГУ'ской столовки. Столовка не отапливается никогда, но здесь уже с раннего утра сотни галдящих тел успели создать атмосферу паровой прачешной. Здесь вкусно пахнет кипяточком, а у буфета ведутся перекопские бои за бутерброды с грибной икрой, воблу или нечто подобное по с'едобности.

Добившись парочки таких бутербродов и кружки кипятку, здесь можно посидеть с полчасика до начала занятий, погалдеть на разные темы, поймать и переговорить с кем нужно или, например, взыскать членские взносы общества „Друг Детей“ с какого нибудь там Сидорова. Этого Сидорова нигде иначе не поймаешь: встречи с Андреем в здании университета он тщательно избегает, но сюда все-таки приходит, влекомый пустотой желудка и кармана. Правда, здесь же некий сборщик членских взносов, скажем, Осоавиахима может поймать с той же целью и самого Андрюшку, но тут уже Андрюшка надеется на Миколу Угодника и на собственную изворотливость: авось, не поймает! Вообще же всяких таких „добровольных“ организаций так много, что одних только должностей сборщиков членских взносов хватает на половину университета: так друг у друга и собирают..

Затем следуют занятия. О них я много говорить не буду, так как сам на них никогда не при-

сутствовал. Для характеристики скажу только, что учебников почти нет и что лекции записывать и вовсе не на чем, что аудитории не отапливаются, а профессура, в большинстве своем, никакого почтения не внушает: все больще из выдвиженцев. Промежутки между лекциями заполнены всяческой мотней: за хлебом, за карандашом, в ком'ячейку, за ордером на штаны, в учебную часть, в ректорат, за лыжной мазью, за хлебными карточками и т. п., и т. п. Для того, чтобы понять все это, нужно иметь в виду, что в СССР ничто не покупается, а „достается“, ничто не делается, а „комбинируется“ или „халтурится“.

Где то между очередным заседанием и лекцией Андрей мельком обедает в том же мрачном подземельи. Эти обеды представляют интерес только с чисто кулинарной точки зрения: как можно, даже не обладая особенным поварским талантом, из картошки, воды и честных селедочных охвостьев создать такую невыразимую дрянь! Я всего два или три раза обедал в Андрюшкиной столовке, но эти переживания надолго остались в моей памяти. Только впоследствии лагерные щи несколько сгладили их.

С концом лекций, однако, рабочий день далеко еще не кончается. Если нет какого-нибудь очередного ударника или субботника, на которые Андрюшка, несмотря на всю свою стипендиатскую лояльность, все-таки старается не ходить, принимая на себя для этого преподавание политграмоты в, скажем, подшефном колхозе,—так будет какое-нибудь заседание, общее собрание или вообще что-нибудь достаточно длинное и утомительное, для того, чтобы промариновать Андрюшку в городе до позднего вечера и отпустить его обратно в Салтыковку в совершенно разбитом и угробленном состоянии. Вечерний поезд в Салтыковку настолько похож на утренний, что его не стоит и описывать. Разве что психическое состояние его пассажиров более близко к эпилептическому припадку: все-таки за каждым из них — день, проведенный в Москве.

* * *

Я не очень хорошо знаю советскую молодежь. Поэтому не буду брать на себя непосильной или, вернее, нестоящей задачи высасывания из пальца данных, которых у меня нет. Так, например, крестьянской молодежи я не знаю совершенно. Молодежь рабочую знаю, так сказать, „с птичьего д'уазо" — постольку, поскольку ездил с ней в трамваях и сталкивался с ней на почве своего очкастого происхождения: „эй, дядя, мол, надень себе очки на другое место".

Кроме того, крупное место в моей картотеке занимает еще молодежь лагерная, но она как-то слишком уж далека от данной темы, чтобы ее затрагивать. Да кроме того, лагерная молодежь — это совсем особь статья. Это, так сказать, „моральная элита" молодежи всех классов и поэтому — мало типична для средней массы.

Остается, значит, только „интеллигузия": студиозы, фабзайчики и — впоследствии — кино-артистическая молодежь, с которой я познакомился в бытность свою на 1-ой звуковой фабрике Союзкино. Об этой последней группе мне еще впоследствии придется кое-что порассказать, но для читателей с артистическим прошлым хочу только заметить, что мои описания не будут носить льстивого характера. Этот тип молодежи и во всем мире особенно рыцарскими качествами души не блещет, в советских же условиях, где гнусность характера не только поощряется самим режимом, но и культивируется властями предержащими, он распустился в такой буйный цветничек, что не дай-те, Господи!..

Так вот, значит — студенческая молодежь... Наша „Шарашкина фабрика" была, по счастливому стечению обстоятельств, очень дружным и для этой публики очень типичным ядром. Это были все дети интеллигентных родителей, грызшие, по выражению Троцкого, „молодыми зубами гранит науки". Гранит был здорово твердым, но и зубы были волчьими.

Иногда, правда, и они ломались и, ломаясь, ломали и всю жизнь человека. Сколько вот таких, живых и мертвых, с поломанными зубами оставались лежать под гранитной стеной безобиднейшего и гуманнейшего с виду учреждения — Народного Комиссариата Просвещения!.. Хорошо только, что советские газеты не ведут хроники самоубийств.

Но некоторые все-таки вгрызались в эту стену, прогрызали ее насквозь и выходили с другой стороны разболтанными физически, но морально закаленными до степени закала старого нью-иоркского биржевика. Поступая в какой нибудь ВУЗ, они предполагали, что их там научат какой то профессии. Кончая его, они видели, что он был, в сущности, только школой жизни, один только вступительный экзамен куда был бы под стать среднему сорокалетнему человеку. А профессия?.. Да какая уж там профессия! Разве советский инженер — инженер? Разве советский врач — врач?..

Конечно — можно поставить вопрос и так: зачем нужно двадцатилетнему парнишке знание жизни, если на это затрачивается его здоровье и если он в конечном результате, потеряв лучшие годы, не получает взамен даже мало-мальски толковой профессии? Но тогда, логически рассуждая дальше, нужно спросить, зачем вообще нужна система „гранитизирования“ науки. А катясь таким образом по дорожке логики, можно докатиться и до вопроса — зачем и кому нужен, например, и сам любимый Иосиф Виссарионович? Но таких вопросов в СССР ставить не полагается.

Впрочем — если удариться в философию и взяться сравнивать (да простится мне в этом случае смелость свое суждение иметь!) советскую систему воспитания с любой заграничной, кроме разве английской, то я все-таки отчасти предпочту советскую! В очень ограниченном числе своих преимуществ, она имеет одно, которое своим удельным весом способно задавить все или почти все ее недостатки: эта система, не давая, быть может, никаких

практических знаний, не наваливая на человека пресловутого „багажа“, **воленс-ноленс** учит его самому главному: умению оперировать своими мозгами.

Побывав некоторое время заграницей, я на опыте убедился в одном чрезвычайно странном факте: какому минимальному проценту человечества приходит в голову мысль о возможности во всех случаях жизни применить свои мозги в качестве главного и первостепенного орудия! Ведь людям просто не приходит в голову, что над каждым трудовым процессом и вообще над каждым поступком, который они собираются совершить, не только можно, но и просто необходимо в первую голову пошевелить мозгами! Эта система воспитания и вырабатывает народы, которые рады, когда за них думают другие. А когда потом приходит демократия, льстиво обязывающая или, вернее, дающая право каждому думать по своему, — то вот и получается кабак с 38-мью партиями, как было до прихода Гитлера в Германии.

В советской же России умение думать является как бы простым и необходимым техническим навыком каждого гражданина: без этого навыка не проживешь, как не проживешь без умения брать с бою трамвай, или „доставать“ продукты первой необходимости.

С другой стороны, умение думать — качество само по себе очень хорошее и может пригодиться во всех случаях жизни, но оно теряет половину своего смысла, если его разбазаривать на повседневные мелочи, и если оно не находит себе применения в более важных вещах. В самом деле: я берусь утверждать, что, сохраняя и облегчая жизнь каждого отдельного подсоветского человека, оно самой советской власти, например, приносит больше вреда, чем пользы. Ибо подсоветский человек применяет свое умение думать в первую голову, как умение изворачиваться. Он очень редко думает над той работой, которая дана ему государством. Ибо в огромном большинстве случаев он в этой работе не имеет никакой ни личной, ни национальной заинте-

ресованности, и все его попытки вложить в нее свои мозги разбивались о ту же гранитную стену советского бюрократизма. В большинстве случаев он смотрит на эту работу, только как на средство к существованию и делает ее как нибудь, лишь бы выколотить лишнюю сотню-другую рублей. Словом — халтурит. В жизни же он шевелит мозгами главным образом „в рассуждении, как бы извернуться". А когда гражданин государства начинает изворачиваться, это в большинстве случаев ничего, кроме вреда государству не приносит...

Вот если бы теперешнему подсоветскому человеку дать работу которую он бы делал с удовольствием, то есть предоставить ему самому выбрать поле деятельности и дать ему ощущение, что его работа нужна, другими словами — создать Национальную Россию, в которой каждый бы знал для кого и для чего он работает — тогда бы и русские доктора стали докторами и инженеры — инженерами.

Я не берусь утверждать (хотя и глубоко верю в это),что русский народ талантливее всех остальных. Но вот эта способность, самостоятельно думать, способность в любой ситуации находить свой собственный подход к каждому делу, короче говоря способность шевелить мозгами — она еще покажет себя! Что-то станет с бабушкой Европой, когда она себя покажет?.. Н-да...

„Виновны-ль мы, коль хрустнет ваш скелет
в тяжелых, мягких наших лапах"...

На свете есть много разочарованной публики, которая считает, что „в великой мудрости — много горечи", что лучше бы вообще ничего не знать и ни о чем не думать, тогда, мол, и жизнь как то легче до конца дотянуть... Споря съ такими людьми, я дохожу иногда до состояния тихой эпилепсии! Ведь с такой психологией просто не стоило на свет появляться! Такие люди тащут нас обратно в пещеру к троглодитам: лучше быть простым мужи-

ком, чем культурным человеком, троглодитом быть лучше, чем мужиком. еще лучше — обезьяной, а самое лучшее — просто протоплазмой, а то и вовсе не существовать!.. Это люди, которые по собственной глупости испортили себе жизнь, и считают теперь, что это произошло от их чрезмерного ума... Такой публике я всегда желаю этак на годик заскочить в хороший концлагерь: вот там бы они полюбили жизнь вместе со всеми ее потрохами! Там бы научились жить, чтобы шевелить мозгами, и шевелить мозгами, для того, чтобы жить!..

* * *

Эк, я расфилософствовался! Но, вернувшись к преимуществам советского воспитания перед иностранным, хочу только сказать несколько слов из собственной практики. Мои товарищи по немецкой школе в 15-16 лет еще все без исключения считали в высшей степени занимательной игру в диких индейцев. Были даже некоторые, не брезговавшие оловянными солдатиками. В России в 16 лет единственные две признаваемые игры — футбол и шахматы: для других не остается ни времени, ни наивности.

С другой стороны — верно: немецкие бурши в десять раз здоровее подсоветских. По крайней мере, среди них нет такого процента туберкулезных, а нервы их похожи на белые бабушкины нитки: чисты и не рвутся. В СССР я ни разу не видал ребят, напоминающих своим внешним видом воздушный шарик, накачанный кровью с молоком. Там они скорее похожи на вяленых вобл: худы и жилисты. Но спортом занимаются приблизительно все. Правда, Германия занимает по спорту одно из первых мест в мире, но одно дело заниматься спортом так, шутя, от явственного переизбытка бифштексов, а совсем другое — держаться в форме, сжавши зубы, все время оглядываясь на свои 600 грамм хлеба в день.

И все же, когда я в первый раз попал в Шарашкину Фабрику, меня, все-таки не совсем уж слабосильного, взялись, как и каждого новичка, „вы-

мотать" на лыжах. В результате я не пришел, а приполз домой, и потом отлеживался дня три, горько стеная и сетуя... Правда, впоследствии и я приспособился. Когда мы, например, принимали в компанию моего товарища Саньку Ульриха, то я еще взялся „доматывать" его до конца, когда остальные уже скисли. Санька испытание выдержал, даже не заметив, что его собирались испытывать: до того здоровенный был парнище.

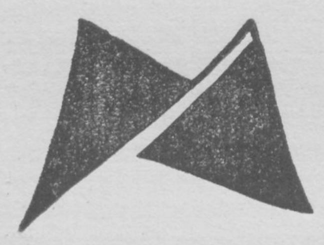
Потом, тоже в целях поступления в техникум, Санька, по большому, блату поступил на аэропланный завод № 1 (бывш. „Дукс") слесарем-лекальщиком. Когда он, через полгода после поступления, пробовал играть с нами в футбол, — он на пятнадцатой минуте задохся. Саньку нельзя было узнать: от него остались, в буквальном смысле слова, кожа, да кости. Дуксовская сдельщина и бригадный метод высосали нашего Саньку, как лимон.

А в Германии, Финляндии, Австрии, да даже и здесь, в Болгарии, я видал совсем еще молодых ребят, не бывших в состоянии пробежать стометровку: до того с них висело сало со всех боков. Если бы этим салом была куплена мудрость Конфуция, оно бы еще нашло себе оправдание. Но эти два качества, кажется, умеют соединять в себе только обитатели далекого ориента. Европейские мудрецы, насколько я знаю, никогда особой волюминозностью не отличались.

# II

# 1-ая Звуковая

## ГИК



ТАК — зима прошла, как говорят йоги — в медитациях и в самоусовершенствовании. К весне, накоплявшаяся в течение зимы мерихлюнидия, дошла до того предела, когда люди совершают нечто, чего „в этой жизни совершить не ново“, — единственный поступок в жизни человека, в котором впоследствии не удается раскаяться. Я целыми днями сидел дома, часами глядя в пустой, белый свет заиндевелых окон, чувствуя как от бесцельных „медитаций“ сморщиваются и трухлеют, точно осенний гриб, мозги.

Думать было, в сущности, больше не о чем. Всю зиму продумал, проковырялся в самом себе, и пришел к заключению, что жизнь — поезд, в который у меня просто не хватает ловкости вскочить на ходу. А если поезд летит на всех парах — так разве он в этом виноват?...

Словом — я был обуян мировой скорбью, которая в 17 лет бывает не менее трагической, чем в 90, с той только разницей, что в 17 — она проходит, как насморк, в 90 же рискует и вовсе не пройти.

В конечном результате — она и начала постепенно проходить. Ибо началась весна, а московская весна имеет то огромное преимущество, что она, почти без дождей, распускает потоки невероятной грязищи, поливая все сверху, как прованским маслом — задорным солнышком. В этой грязище, весело ругаясь, устревает и утопает все живое и неодушевленное, влючая сюда графики поездов, хозяйских кошек и статистику посевов.

Как-то раз, прыгая по Ленинградскому шоссе „с кочки на кочку", я проходил мимо огромного здания бывшего, блаженной памяти, ресторана „Яр". Архитектурой своей „Яр" еще напоминал о водоемах выпитого в нем шампанского и курганах с'еденной в нем икры. Но внешнее офомление уже перестало говорить о его героическом прошлом: штукатурка облезла, гранитные плиты были заляпаны известкой, зеркальные окна местами заменены мозаикой переливающихся, как пятна нефти на воде, квадратных пузыристых стеклышек.

Оторвав на секунду свой лоцманский взгляд от оккупировавших землю луж, я увидел двух, фабзаячьего*) вида, парнишек, прибивавших над гранитным порталом зеленую вывеску с желтыми буквами. Над буквами красовался какой-то странный, но довольно красивый герб: желто-зеленая кино-лента, а на ней то, что впоследствии, на жаргоне кинофабрики, называлось „пресекатором" — вращающаяся пластинка в форме мальтийского креста, пресекающая луч света, льющийся из киноаппарата. На вывеске большими буквами стояло: ГИК, а внизу — поменьше:Государственный Институт Кинематографии

Фабзайчики богохульствовали, прибивая вывеску, так как гранит был твердым, а гвозди были советскими — то есть гнулись чуть ли не между пальцами. Еще не отдав себе точного отчета в том, что я, собственно, собираюсь делать, я, с самым независимым видом, шагнул через валявшиеся на земле мотки проволоки, внутрь означенного учрежде-

*) „Фабзайчики"—ученики фабрично-заводских школ.

ния. За моей спиной фабзайчики недоуменно переглянулись, но ничего не сказали. Когда я, через две минуты, снова вышел, не обнаружив внутри ничего, кроме свежих фанерных перегородок и общей характерной для перезжающего советского учреждения, разрухи, один из них не удержался, чтобы не спросить меня:

— Вы, собственно, кого товарищ ищете?

Я не имел абсолютно никакого понятия о том, кого бы я мог в данный момент искать в совершенно незнакомом мне заведении, и поэтому не стал утруждать себя выдумыванием причин, а ответил контрвопросом:

— А чего это здесь такое будет?

— А вы еще одни рамы вставьте*) виднее будет!

Позанявшись некоторое время „матереологией“, мы расстались с фабзайчатами друзьями. Результат этого разговора, как рукой, снял все остатки зимней хандры и вдохновил меня так, что я плюнул на дело, по которому шел, и уже полным аллюром без разбора зашлепал по лужам домой делиться впечатлениями.

Выяснилось, что ГИК будет подготавливать кинорежиссеров, операторов и сценаристов. Начало занятий — осенью, но набор открыт уже и сейчас.

* * *

Итак — „полочка“ была найдена: если мечта о пилотском шлеме канула в вечность, если для бухгалтерии или черчения я не находил в себе достаточно душевних сил, если, наконец, на пути ко всем прочим профессиям, этакой китайской стеной стоял мой трижды проклятый и нетерпимый в социалистическом отечестве индивидуализм, то карьера кино-режиссера представилась мне теперь, как

*) Это насчет очков!

полоска земли, — матросу с колумбовской мачты. Это было как раз то, что я все время искал, искал, сам не зная — что мне, собственно, нужно. Мне нужно было что то, где был бы на месте мой индивидуализм, где была бы нужна, или по крайней мере не мешала бы моя фантазия (каковой у меня, кстати сказать, явственный переизбыток), нужна была какая то работа, пусть лучше не дающая ни отдыху, ни сроку, но которая не была бы связана с иссушающим „от 8-ми до 4-х".

Профессия режиссера давала все это. Но кроме этого, она давала еще нечто, о существовании чего, я как то попросту забыл в своих исканиях: художественное творчество на свой риск и страх и своими силами, творчество, результаты которого можно самому увидеть, оценить или забраковать по собственному усмотрению. Другими словами — полную независимость и самостоятельнось в работе.

Так мне, по крайней мере, по юности лет, в то время казалось. И я был бешено рад.

Правда — на пути еще высилось самое главное — сумрачные фигуры пресловутых Змеев Горынычей, но у меня было интуитивное чувство, что на этот раз мне их как то удастся обойти. Как именно — было еще совершенно неясно, но ведь какой-нибудь способ должен же существовать!

— Полочка найдена? — почти орал я, сигая через лужи.

— Полочка на-айдена! — ответил я ко всему привыкшему контроллеру на Курском вокзале, когда тот попробовал прицепиться ко мне насчет билета...

* * *

Сам по себе, факт „открытия" мною советской кино-промышленности не имел, конечно, мирового значения, в нее я имел так же мало шансов попасть, как и в любое другое место. Но в то время, как раньше я сам не знал, что мне, в сущности,

нужно — теперь я нашел точку приложения своих сил. Из потенциального состояния я перешел в кинетическое, и забегал, как таракан, в поисках щели в царство „Великого Немого“ (к тому времени уже, впрочем, заговорившего).

Как на грех, ни у меня, ни у моих предков, ни у наших общих знакомых — не нашлось ни одного человека, имевшего какое-нибудь, хотя бы мимолетное, отношение к кинопромышленности. Сей факт чуть было снова не привел меня в отчаяние, ибо соваться в ГИК, не имея абсолютно никакой заручки, — было бы с моей стороны чистейшим безумием. Уж если мне, имея хоть и небольшую, но все-таки заручку, не удалось просклизнуть даже в такое заваляшее заведение, каким был наш салтыковский метереологический техникум, то что уж было и говорить о таком предмете человеческих вожделений, как Государственный Кинематографический Институт! Сюда бы меня и на выстрел не подпустили. А наличие первого такого ассаже сильно затруднило бы вторичную попытку поступления, буде даже таковая велась бы во всеоружии самого планетарного блата.

Здесь нужен был именно блат, и блат не какой-нибудь, а именно планетарный. У меня же не было блата, не то что планетарного — а просто никакого; даже самого паршивенького блатишки не было: хучь плачь! Было от чего придти в уныние.

На тот самый крайний случай, если бы до последнего дня приема ничего (никакого „шпигеля“,*) как говорилось у нас в семье) не подвернулось — у меня все-таки была разработана одна небольшая военная хитрость, особых шансов на успех, впрочем, не сулившая. Видя, что на „поддержку общественности“ мне слишком рассчитывать не приходится, я взялся за дело собственными силами: выкопал где то штук пять более или менее популярных книжонок из области осветительной, декорационной и с'емочной техники, и стал их вдумчиво прожевывать. Расчет ставился на то, что, представ

*) О „шпигеле“ см. „Россия в конц.“ И. Солоневича.

пред грозные очи приемочной комиссии, я просто и нахально об'явлю себя практикантом с берлинской бабельсбергской кинофабрики УФА, учившимся там на советские деньги, с тем, чтобы вернувшись, обогатить своими заграничными познаниями родную кинопромышленность. Там я, мол, изучил все технические премудрости, а теперь хочу пройти еще и режиссерский курс, чтобы стать незаменимым и полезным социалистическому отечеству специалистом.

Выслушав такую ересь, мне могли не поверить и назначить испытание: — на него я, из застенчивости, просто не пошел бы. Но, при соответствующем количестве апломба, с моей стороны,—могли и поддаться на эту удочку: — все-таки им и самим небезинтересно было иметь у себя такую заморскую диковинку. Приняв меня, они, конечно, на первой же неделе, не замедлили бы горько во мне разочароваться. Но к тому времени, смягчить это разочарование, хоть частично, зависело бы от ловкости моих собственнных рук. Оглядевшись и развив бешеную общественную деятельность, заведя блат у секретаря учебной части, у ректора, у секретаря ячейки и т. п., и т. п., я получил бы хоть и маленькую, но все же роль в решении вопроса о моей злосчастной судьбе. Кроме того, существовала еще надежда на то, что в первозданном хаосе новоиспеченного института, либо просто забудут о моем самозванстве, либо не найдется человека, который взялся бы проверять наличие у меня инкриминируемых познаний. А если бы мне удалось оттянуть трагический момент постыдного разоблачения, скажем, на месяц-два — там бы я уже чувствовал себя уверенным, как клоп в соломенном тюфяке — там бы меня уже не так легко было выкурить!

Но, повторяю, этот проэкт особых шансов на успех не имел. Он был чем то вроде печатных предписаний для поведения пассажиров на случай кораблекрушения, какие вешаются в каждой кабине больших пароходов: прочтешь такое предписание —

и даже начинаешь удивляться, как это люди вообще умудряются тонуть. Из истории, однако известно, что люди все таки тонут, плюя на предписания.

По моему проэкту, все выходило замечательно, почти идеально, но зная по опыту человеческих поколений, что наиболее точно разработанные планы имеют обыкновение проваливаться вернее и скорее экспромтов, я не ставил на него большой ставки. Если не будет другого выхода — тогда... Тем более, что риска, в сущности, не было никакого.

Пока же, — за неимением лучшего, я ставил ставку на экспромт. На какого-нибудь „Шпигеля"— старого, доброго Шпигеля, бывшего в нашей семье чем-то вроде доброй феи-охранительницы, появляющейся на сцену как раз в тот момент, когда конвоируемое ею бэбэ ищет личного сближения с хозяйским котом. Кот уже загнан в угол, и вот-вот неминуемо вцепится в бэбэ всеми своими четырьмя конечностями. В этот-то момент фея и вступает во исполнение своих обязанностей. Другими словами, Шпигель был для нас тем, что люди с классическим образованием называют „деус экс махина".

В ожидании какого-нибудь такого „деуса" я и находился.

## Шпигель

Старые классики, вот вроде Брешко-Брешковского, когда их героям что нибудь явственно не удавалось, имели обыкновение говаривать: „увы, судьба хотела иначе..." Отличительная черта моей судьбы заключается в том, что она всегда в решительный момент „хочет иначе". Это у нее уже старая традиция. К этой традиции, как это ни трудно было по началу, я успел привыкнуть, и давно уже перестал удивляться выходкам моей уважаемой патронессы.

И вот, если бы в то время судьба хоть раз изменила сама себе, и не захотела бы иначе, т. е.,

если бы наша первая попытка драпежа*) не сорвала моего, совершенно уже налаженного, поступления в ГИК — и, через несколько лет, газетные журналисты спросили бы у меня, маститого режиссера, чему, собственно, родная кинопромышленность, обязана появлением такого, как я, светила на ее горизонте — я бы, сняв режиссерский картуз и вытерев платком облысевший от творческих мук череп, с достоинством ответил:

— Субтильной принадлежности дамского туалета!...

Выражаясь банальнее — это был заграничный дамский комбинезон, привезенный моей мамашей из Германии.

Уж я не знаю подробностей — как именно это случилось, но существование комбинезона обратило на себя благосклонное внимание одной мамашиной сослуживицы, которая при ближайшем рассмотрении оказалась чем то вроде тещи племянника режиссерши Союзкино — Владимирской.

Не буду вдаваться в значение в СССР роли седьмой воды на киселе. Не стану также заниматься историческими изысканиями на тему о том, каким именно образом мамаше удалось поместить капитал своего комбинезона в предприятие с такими дивидендами, каким было мое личное знакомство с самой товарищем Бертой Леонидовной Владимирской. Перескочу лучше сразу к тому моменту, когда в назначенный час, сдерживая постыдный дрожемент в коленках, я молотил обоими кулаками в железную дверь чердачного помещения, служившего обителью моей будущей патронессе.

Долгое время за дверью царило полное безмолвие, пока я в темноте дверной ниши не начал постепенно различать белые контуры какой-то записочки, приколотой к стене. Зажженая спичка

---

*) Подробности двух попыток нашей семьи к бегству и само бегство, детально изложены в книге моего отца „Россия в концлагере“.

раз'яснила мое недоумение. На записочке длинной вереницей стояло:

Стучать: такому-то — 1 раз,
такому-то — 2 раза,
такому-то — 3 раза и т. д.

Помню, что перед именем Владимирской значилось (мне впоследствии приходилось не раз у нее бывать, и я вызубрил эти позывные наизусть): „стучать: два раза медленно (но сильно) и три мелких". Следовательно — бум, бум, бум-бум-бум! и так повторять, пока не отзовется. Не мудрено, что при такой тщательно разработанной системе сигнализации моя безпорядочная молотьба просто на просто оскорбляла авторское самолюбие составителей этой системы, и что ни один жилец не отзывался. Да и кроме того — если московский уплотненный жилец не услышит сигнала, обращенного именно к нему, то-есть какой то, всеми его родными и знакомыми точно заученной формулы, — стучащий может проломить дверь или обрушить дверную арку, но жилец не выйдет из своего божественного спокойствия. Это я знал, и поэтому, спокойно подождав около двери минут пять, снова, на этот раз уже с полным сознанием своей посвященности, простучал: два раза медленно (но сильно) и три мелких.

Результат не замедлил сказаться. По коридору зашлепали чьи-то галоши, надетые, судя по звуку, на босу ногу, и дверь отворила фигура в японском кимоно.

— Вам что, товарищ? — спросила фигура.

— Я хотел бы поговорить с режиссером Владимирской — ответил я, собрав все запасы присущей мне корректности.

— Ну, так что? — парировала фигура.

— Д... да, ничего — сконфузился я.—Моя фамилия Солоневич!

— Ага! — был довольно неожиданный ответ, после чего дверь захлопнулась, оставив меня в недоуменном ожидании.

* * *

Когда меня через несколько минут снова впустили, чья то спина провела меня по темному коридорчику и впихнула в низенькую скрипучую дверь. Обладатель спины безмолвно исчез, даже не дав на себя посмотреть.

Небольшая, квадратная комнатка была обставлена с тем своеобразным советским комфортом, который достигается полным отсутствием щепетильности в применении посланных судьбою средств. Это тот неподражаемый вид меблировки, где, рядом с престарелым, но зверски шикарным буфетом из карельской березы, уживается трехногий стул с высаженным сиденьем, — в сиденье втиснут помятый медный таз, и все вместе представляет собой умывальник. На столе красуется химическая реторта с отбитым горлышком. Из горлышка торчит пара измятых бумажных цветов. По стенкам, подлепленные на стекло, несколько „фотогеничных“ портретов самой хозяйки: в режиссерском козырьке — с рупором, или крупным планом — ее лицо, просматривающее кинопленку, или — она же в режиссерском кресле с руками, „лепящими“ игру артиста, и т. п.

Но, в общем, — уютно. Широкие и низкие, над самым полом, окна освещают потолок узорным отражением весенних луж на мостовой. Подоконники запиханы книгами с обтрепанными корешками, а из-за стекла проглядывают бутылки с вишневкой. Видна, так сказать, хозяйственность.

Присев бочком за маленьким, бывшим туалетным, а теперь, видимо, письменным столиком, дама в кимоно дописывает последние строчки на клочке бумаги.

Я вошел и стал колом около двери. На меня она даже не взглянула. Потом, через минуту, окончив писать, встала и, перечитывая написанное, подошла к двери. Взялась за ручку, и тогда только удостоила меня, наконец, взглядом.

— Вот, нате, — ткнула она мне в руку бумаж-

ку. — Это для режиссера Роома. Рекомендация. Идите скорее он в двенадцать уходит на фабрику.

При этом она надавила на ручку, с явственным намерением аудиенции дальше не продолжать.

Видя, что на этом она считает свой долг по отношению ко мне законченным, я, не глядя на записку, изобразил на своем лице трудно формулируемое выражение: немножко удивления, немножко чего то, что можно было бы сформулировать словами: — „с чего это вы так?“ Так мы простояли секунды две, глядя друг на друга. Она с сердитым недоумением осматривала мою физиономию, а я продолжал ухмыляться. Потом постепенно выражение ее лица смягчилось,и она, уже в виде пояснения,добавила:

— Ему сейчас как раз нужен помреж, и он возьмет кого угодно. К нему с фабрики никто идти не хочет.

Чтобы выгадать время и получить более подробные данные, я сделал вид, что под наплывом чувств ничего не понял:

— П-простите, что ему нужно?..

Она недоуменно глянула на меня. — Помреж! Ему нужен помреж. И затем, с заботливым участием, с которым обращаются к буйно помешанным, спросила: — Вы не знаете, что такое помреж?

Советские сокращения — это нечто вроде секретного кода: если вы о нем не имеете никакого представления, — вы его никогда не разберете, сколько бы вы ни бились. Но если у вас в руках есть хоть какие-нибудь опорные пункты, хоть пять-шесть условных знаков — вы, при некотором навыке и небольшой настойчивости, вскроете его, как несложный ребус. Так, например, для словечка „пом“ в советской России имеется только одно значение: помощник. К этому корню могут затем привешиваться самые разнообразные, иногда даже требующие большой эрудиции, добавления, поясняющие дальнейшую социальную классификацию данного „пома“: помзав, помнач, помрук, и т. п., и т. п. В данном слу-

чае, это было „помреж“. При некотором напряжении фантазии, догадаться было не трудно.

— Ах, помреж! — воскликнул я. — Это что-же — помощник режиссера будет, что ли?

Ее взгляд потемнел. С секунду она смотрела на меня, видимо, обдумывая — не взять ли ей свою записку обратно. Но записка была уже у меня в руке, и я как раз собирался запихнуть ее во внутренний карман пиджака. Потом она строго посмотрела на меня:

— Мне кажется, что вы... вы, видимо, совсем еще младенец в этой работе?

— Что значит младенец! — отвечал я. — Если так говорить, так я, собственно, еще и не рождался для нее. Видите ли, я, в сущности говоря, хотел поступить в ГИК на режиссерский курс. Я давно уже интересовался этим делом, но у меня нет абсолютно никакого понятия, как туда влезть. Нет никакой зацепки. Вот я и думал, что вы мне что нибудь на эту тему посоветуете!

Ее реакция, как и все, что она делала, была довольно неожиданной:

— Батюшки! только тихо произнесла она, оставив в покое ручку двери, и с ужасом отошла обратно к столику. Потом посмотрела зачем то в окно, повернулась и снова уставилась на меня. Я смотрел на нее совсем уже бараном.

— Вам что — есть нечего?! — выпалила она наконец.

— Н-не совсем. А почему, собственно говоря?

— Так кто-ж вас гонит?! Я бы еще поняла, если бы вы захотели стать „звездой экрана“, но режиссером! Как можно добровольно идти на эту гнусную профессию?! Вы, я вижу, еще действительно абсолютно никакого понятия не имеете. Да вы знаете вообще, что такое работа режиссера!? Боже, Боже!.. Сколько вам лет?

— Восемнадцать — сбрехал я.

— Ну вот! — она помолчала в сокрушении. — У меня вот дочка есть семнадцати лет, так я ее

даже в кино ходить не пускаю, чтобы она этой манией не заразилась! Уж хватит, что мать себе жизнь испортила... А вы добровольно идете! Эх, бить вас некому! Она остановилась, глядя на меня с горькой укоризной. Потом, видимо, вспомнила свои первоначальные намерения в отношении меня и добавила с сокрушением:

— Ну, да впрочем, не мне вас, в конце концов, удерживать! Вот понюхаете у Роома пороху, сами сбежите. Если он сам вас до тех пор не выставит. У него помрежи, как из пулемета летят. А пока что — кройте скорее: он в двенадцать уходит. Только чтоб потом не претендовали, что я вас не предупредила!

Затворяя за мной двери, она еще бросила вдогонку:

— А если у вас, не дай Бог, дальше пороху хватит, — приходите как нибудь после десяти вечера — может быть, еще удастся вас отговорить!

* * *

Другими словами, режиссерша Владимирская отговаривала меня стать режиссером. Людей, „нашедших своо полочку", то есть таких, которые любят свою профессию, можно разделить на две категории: на тех, которые не находят в ней ничего особенного и считают, что заниматься ею может, да и должен, был бы всякий, и на тех, которые считают ее труднейшей и сложнейшей в мире, проклинают ее на чем свет стоит, но бросить ее все-таки не могут: вне ее они остались бы без цели, без призвания, без смысла жизни: Такие люди обычно считают своим долгом отговорить новичка, запугать его, сыграть из себя великомученика, несущего непосильный крест, потому что — „иначе кто же возьмет его на себя?"

Я лично принадлежу к первой группе. Мне почему то всегда хочется, чтобы все стали художни-

ками и всегда почему то стыдно показывать людям свои, даже самые лучшие рисунки; ведь это же так просто, ведь такую ерунду всякий мог бы сделать! И когда мне приходится философствовать с каким нибудь современником, не нашедшим еще своей полочки, меня всегда поводит совратить его с пути истинного на художественный: ведь это же так просто, и так много радости в этом! Само ведь напрашивается!

Под влиянием моих уговоров, современник решается, наконец, испробовать себя на поприще изобразительных искусств. На результат его тщетных попыток я смотрю впоследствии, хлопая глазами, и удивляюсь: ведь так, казалось бы, просто!

Режиссерша Владимирская принадлежала ко второй группе. Свою работу, в этом я мог убедиться впоследствии, она любила до самозабвения. Неделями просиживала на кинофабрике, ругаясь со власть имущими из-за каждого костюма, из-за каждого лишнего киловатта света, из-за каждого метра пленки. Артистов держала в черном теле, но когда готовила их к какой нибудь лирической сцене или акробатическому трюку, она окружала их буквально материнской заботливостью, доставала им сверхударные пайки, пропуска в кремлевскую столовую и т. п. Хозяйственники боялись ее, как поповна — жупела. Прочая, творческая публика любила, как любят человека, всей душой преданного общему делу.

Свою работу она „переживала". Портрет с „лепящими руками", висевший у нее на стене, был для нее необычайно характерен. Сидя вот так на своем складном режиссерском стульчике, среди тропической флоры осветительных проводов, декораций, „Юпитеров" и пр., она, действительно, буквально „лепила" игру своих артистов. Какой-то досужий оператор заснял как-то на пленку игру ее рук во время работы. Получился этюд такой дьявольской выразительности, что сам Пудовкин, искавший случая завести с Владимирской более интимные отношения,

сидел на просмотре, как ошарашенный, и потом подошел поздравить ее с „игрой“. Злые языки передавали, что она на это усмехнулась, протянула ему два кукиша и спросила:

— А вот это — видали? Что не выразительно разве?...

## Абрам Матвеевич Роом

К Роому я попал в без чего-то двенадцать Мой робкий стук в приоткрытую дверь был заглушен угрожающим гудением шести примусов в передней и чьими то, тоже заглушенными, визгливыми выкриками. Видя, что таким образом я могу стучать до конца второй пятилетки, я тихонько толкнул дверь и вошел. То, что представилось моим взорам, на минуту перенесло меня в атмосферу романов Эдгара По: мрачная, узкая комната с сырыми стенами и потолком, о близости которого можно было догадаться по седым космам паутины, тускло освещенным единственной, взвешенной в пространстве лампочкой без абажура. Посреди комнаты, в огненном кольце шести искалеченных ядовито шипящих примусов — пара: длинная, как жердь, весталка с двумя кастрюлями в руках, и перед ней, по кошачьи выгнув спину, маленький человечек с рожей Квазимодо из Одессы, потрясающий перед лицом весталки куском электрического провода.

— Я вам говорю — вы кто: вы ответственный с’емщик или вы не ответственный с’емщик? — визжал Квазимодо. — Я вам говорю — если сегодня в уборной, не будет света, так я...

Весталка замахнулась обоими кастрюлями сразу, и человечек, хищно скрючив пальцы, ретирнулся за ближайший примус. Этот момент я нашел подходящим, чтобы выступить на сцену:

— Алло! Тут живет режиссер Роом?

Оба мгновенно обернулись. Весталка опустила свои кастрюли и стала мирно подкачивать один из примусов. Человечек выпрямился из своей боевой стойки, оправил куриную грудь и, лавируя между кухонным оборудованием, направился ко мне.

— Это я. А что? Вы от Калюжного? Когда он, дурак, привыкнет, что меня в двенадцать нет дома.

У меня похолодело в зобу: со стороны своей судьбы я ожидал всяческих свинств, но ниспослать мне в качестве шефа этакого мандрилла, было с ее стороны просто издевательством. С секунду я был в некотором замешательстве, которое Роом, повидимому, принял за оскорбленное самолюбие.

— Ах, я вижу, вы не от Калюжного? Ну, тогда извиняюсь! Так чего же вам надо?

Я представился и подал ему записку Владимирской. Он взял ее обоими руками и направился с ней к ближайшему примусу с таким видом, как будто он ее собирается, не читая, сжечь. Я уже было бросился удерживать его от этого безумного поступка, но он нагнул голову к самому чайнику и стал, шевеля губами, читать.

— Ага! — произнес он через минуту. — А она вас знает? Она же дура! Она всех своих людей ставит не туда, куда надо. Ну, пойдемте, посмотрим, что вы такое из себя! — И он проследовал в свою комнату, помахав за спиной рукой, приглашая меня войти,

Комната была побольше жилья Владимирской, но имела вид гроба, забитого до краев рухлядью: тут был средневековый рояль без крышки и с повыбитыми клавишами, поверх него были положены доски, а на досках в живописном безпорядке были понаставлены какие-то закопченные чайники, банки из-под варенья, валялась картофельная шелуха и колбасные шкурки, окурки и мушиные трупики. На огромном, министерского происхождения, письменном столе возвышались кипы каких-то рукописей и журналов, переложенные и перевитые мотками ки-

нопленки, а посередке, на чем то вроде бювара лежал огромной величины, толщиной в среднюю ливерную колбасу, красный карандаш, которым Роом орудовал, как маршальским жезлом. Когда он уселся и своим скруджевским подбородком указал мне на огромный проватившийся диван, он сразу схватился за этот карандаш и прицелился им в меня, как из револьвера.

— Что вы знаете? Вы где работали? Вы языки знаете? — затараторил он, глядя на меня поверх своего карандаша.

— Немецкий, английский и немного французский — ухватился я за последний вопрос, предпочитая обойти предыдущие молчанием.

— Пшшш, не перебивайте! — зашипел он. — Если вы меня сразу начинаете перебивать, так какой же вы будете помощник? Я вам слово, а вы мне десять! Вы слушайте, когда я вам что говорю! Так вы, значит, немецкий знаете? Это значит — вот! — он, как лопнувшая пружина, метнулся через стол и ухватил кипу журналов. — Вот садитесь и переведите все, что отмечено красным карандашем. Я приду в три часа, чтобы все было переведено. Вон там на шкафу пишущая машинка. Пишите три экземпляра. А когда кончите — вы умеете проводку чинить? Спросите эту гражданку, что в кухне, она вам скажет — надо в уборной сеть исправить. А то прямо безобразие!

Он вскочил и, побесновавшись немного по комнате в поисках шляпы, вылетел за дверь. Я было вздохнул свободно, но ровно через секунду он снова влетел и, указывая на меня, за неимением карандаша, шляпой выпалил:

— У вас деньги есть?

— Есть — ответил я, ничтоже сумняшеся.

— Ну и хорошо! — был странный ответ, после чего он исчез, на сей раз уже окончательно.

* * *

Оставшись в комнате один, я, со свойственным каждому человеку любопытством, стал осматриваться. Снял со шкафа машинку. По этой исторической реликвии было видно, как тяжело досталось Эдиссону его изобретение.

Попутно заглянул на шкаф. Там, под пылью веков, обнаружил целую библиотеку пикантной литературы, чуть было не увлекшей моего внимания, но во время сообразил, что, занявшись изящной словесностью, я провороню свой перевод. Поэтому слез со стула и обратился к кипе оставленных Ромом журналов.

Ожидая увидеть в этой кипе какую-нибудь специальную литературу, что-нибудь вроде технических проспектов или специальных изданий кинопромышленности, я был немного шокирован, не найдя во всей кипе ничего, кроме старых, затрепанных номеров „Die Woche“ и юмористического журнала „Simplicissimus“.

Это было уже само по себе достаточно удивительно, но решив, что начальство руководствуется какими то высшими соображениями, я подавил в себе недостойные сомнения и стал перелистывать. В первом журнале не нашел ни одной красной пометки. Во втором, в отделе юмора, был отчеркнут какой то традиционно-безмозглый анекдот и такая же безмозглая, хотя и неплохо сделанная, каррикатура. Затаенный смысл этого странного „комюнике“ ускользал от меня.

Но потом вдруг, поле деятельности прояснилось: я набрел на огромную статью под заглавием: „Как Папст стал Папстом“. Статья была вдоль и поперек отчеркнута жирными красными линиями, выдававшими своей толщиной свое происхождение от вышеупомянутого карандаша.

Среди сорокаэтажных дифирамбов красному солнышку кинопромышленности, автор, в сильно облагороженном виде, демонстрировал технику восхождения к высотам славы и популярности.

Из своего небольшого, но, по правде сказать, здорово концентрированного жизненного опыта, я вынес одно убеждение, которое, если и не является переворотом в современной психологии, то во всяком случае достаточно крепко и обоснованно: такие вещи, как слава, известность и, тем более, популярность, вовсе не достаются человеку за те качества, которыми он славен, известен или популярен. Мне в своей жизни не приходилось видать совсем уж великих людей; но те здезды второй, третьей и двадцать пятой величины, которых мне удалось разглядеть невооруженным глазом, выгребали на поверхность человеческого моря стилем, весьма похожим на вольноамериканскую борьбу: хватай и бей кого попало, чем и по чему попало!

Поэтому я не склонен слепо верить дифирамбам. В статье о Папсте дифирамбы, как блины с вареньем, чередовались с благородными деталями из жизни великого режиссера. Относительно этих деталей многое можно было бы прочесть между строк, если бы промежутки между этими строками не были сплошь и рядом заполнены жирными красными штрихами. Очевидно, мой будущий патрон не разделял моего мнения относительно суетной славы. Что-ж, не мне было сметь свое суждение иметь. Оставалось сесть за машинку и перевести.

Я стал оглядываться в поисках бумаги и копирки. Перерыл весь, наваленный на столе, склад рукописей, пошарил по шкафу, обыскал все пространство под и на рояли, словом, обнюхал каждый уголок роомовского саркофага, но ничего могущего послужить для перевода (да еще в трех экземплярах) не обнаружил. Листы рукописей были мелко исписаны с обоих сторон, а копирки, как говорят химики, не было даже и „следов“. Ящики стола и щкаф были заперты.

В недоумении я стал посреди комнаты, морща нос от взметенной поисками пыли и принялся обмозговывать свое дурацкое положение. Посмотрел на часы. Было уже около часу. В три придет Роом.

Правда, не моя вина в том, что для полноты „невиданного благосостояния широких трудящихся масс“ советская власть оставила в стороне бумажный вопрос. Чем меньше люди пишут, тем легче живется на свете! Но какое дело до этого Роому? Я попробовал поставить себя на его место, взяв поправку на его бурный темперамент. Как бы я посмотрел на человека, которому я в первый раз дал какую то работу, а тот просидел три часа сложа руки только потому, что не нашел бумаги! Я-то еще, может быть, вошел бы в его положение, но насколько я мог судить по первому впечатлению, Роом не умел входить в чье бы то ни было положение вообще... Вспомнились слова Владимирской о том, что „у него помрежи, как из пулемета, летят“. Подумал о том, что при таких условиях и мне, пожалуй, трудно будет составить исключение...

Потом, вернувшись к будням, вспомнил, что „с пустего сам мондри Салямон ниц не налие“, и пошел разыскивать ответственную весталку на предмет починки проводки в уборной.

Выйдя в переднюю, я увидал ее в позе нимфы у родника, с хулой на устах прочищающей примус. Примус испускал клубы ядовитых газов, а накопившийся на полу слой спичек красноречиво говорил о качестве советской спичечной продукции. „Спички шведские, головки советские — пять минут воняют, потом потухают...“

Я галантно щелкнул привезенной из Германии зажигалкой. Примус моментально изменил ядовитое шипение на радостный гул и осветил потное и изумленное нежданным спасением лицо своей укротительницы.

— Чем это вы? — удивленно спросила она.

— Зажигалкой... — пояснил я. — А где у вас эта самая уборная и что там такое случилось?

Ее лицо еще больше расцвело: на нем отобразилась радость человека, который может отблагодарить за услугу.

— А вы ничего, не стесняйтесь! Пойдемте, я вам посвечу.

И нежным жестом, как кота под живот, подхватив свой примус, она устремилась вперед, в сумрачное устье одного из корридоров, с трех сторон вливавшихся в этот примусный отдел преисподней. Врожденная любовь к сильным ощущениям повела меня за ней.

Крутые, обрывистые берега из корзин, железных кроватей, шкафов и бутылок образовывали в этом корридоре узкий фарватер, миновав который, весталка вдруг остановилась перед высокой и сильно пошарпанной дверью. В верхней части двери зияло четыреугольное отверстие, по краям которого еще торчали белые зубы бывшего когда-то матового стекла.

Приоткрыв дверь, весталка пригласительно изогнулась. Мистическое освещение угрожающе гудящего примуса придавало сказочные очертания окружающей обстановке и пробуждало в душе какой-то безотчетный, неандертальский страх.

На мгновение я был охвачен нерешительностью. Мне почему-то показалось, что как только я перешагну порог этой черной неизвестности, дверь за мной безшумно закроется, и я останусь догнивать в сыром подземельи.

Мои худшие опасения оправдались: когда, взяв себя в руки, я шагнул на мокрый цементный пол вышеуказанного помещения, до моего слуха вдруг донесся саркастический, как хохот тюремщика, скрип закрывающейся двери...

Движением тигра, попавшего в западню, я рванулся обратно. Но от того, чтобы высадить дверь плечом, меня удержал вид примуса, медленно, как солнце над горизонтом, поднимающегося в зубатый вырез дверного окошка, и сладкий голос моей весталки:

— Вот так, я подержу. Вам так видно? Там немножко мокро...

Я не сразу оценил обстановку. Потом, оценив

ее, с минуту я не знал, как реагировать на такую переоценку моих возможностей. Наконец, отчаявшись найти выход из положения, я совсем было уже решился заняться выполнением возложенной на меня обязаности, но меня выручил примус, который в этот момент снова задохся и в одну секунду наполнил всю комнатку ядовитыми парами. Весталка за дверью, ахая, засуетилась, и я воспользовался переполохом, чтобы выскочить в коридор и спастись от смерти неизвестного солдата, после германской газовой атаки.

— Я только хотел починить проводку... — об'яснил я, освещая место происшествия своей зажигалкой.

— У-у, проклятущий! — шипела весталка, бешено скобля коробок целым букетом спичек сразу. С таким же успехом она могла бы пытаться выкресить огонь кремнем об морскую волну. Зажигалка снова спасла положение.

Присев на корточках над своим, стоящим на полу, анфан-террибл'ем, она снова взглянула на меня глазами, полными подобострастного удивления, грозящего перейти в верность и обожание. Так, наверное, смотрела на моего святого тезку красавица-принцесса, когда тот из'явил желание пришпилить дракона своим копьем.

— Вы... вы хотите починить проводку?!—спросила, наконец, она, не веря в возможность такой самоотверженности со стороны, казалось бы, совершенно постороннего человека.

— Ну да, проводку! Мне почему то показалось, что Роом мешает вам жить со своей проводкой?

— Миленький! — весталка вскинулась таким резким движением, что чуть было снова не задула своего примуса. — Да я вам сейчас... Да вы... Родненький! Вам, наверное, клещи нужны? Я вам сию секунду... — и она вихрем помчалась по коридору.

В представлении домохозяек всех стран и всех народов клещи почему то фигурируют в ка-

честве некоего универсального инструмента, этакого философского камня, способного излечить болезни всех предметов домашнего обихода, в особенности те, где сложность современной техники мешает самой домохозяйке поставить диагноз.

— Принесите отвертку! — крикнул я ей вдогонку, поставил примус на какое то возвышение в куче хлама и занялся осмотром болезней проводки. После двухминутного осмотра выяснилось, что в выключателе сломалась контактная пружинка. Сообразив, что, занятая постройкой Дворцов Советов, Днепростроев и прочих аттрибутов своей слоновой болезни, советская власть на такие мелочи быта, как контактные пружинки к выключателям, не разбазаривается, — я стал рыться в куче бутылок, матрацных пружин и прочего утиль-сырья, в поисках какой-нибудь консервной коробки. Таковую я вскоре обнаружил и послал пришедшую с отверткой весталку за ножницами.

Пока я огромными, но тупыми портняжными ножницами вырезывал из жестянки нужную мне форму пружинки, весталка, видимо, долгое время удерживавшая естественное женское любопытство, наконец не сдержалась и, запинаясь, спросила:

— Вы, э-э... Вы не сынком ли Абрам Матвеевичу приходитесь?..

— Нет, — ответил я,—а что у него сын есть?

— Дык... — сконфузилась она. — У кого нонеча сыновей нетути? У него их почитай штук пять будет... Однех жен то сколько!..

— Жен?... Ишь — ты! — удивился я.—А комната у него как-будто холостяцкая.

— Так, комната известно — холостяцкая: еще бы он попробовал сюда кого-нибудь вселить! Его и так со дня на день выпрут отседова! А вы — что? В первый раз, видать, у него тут?

— Да я-то в первый, — согласился я, — вот не знаю — не в последний ли?

— А-а, значит, видно, с кинофабрики пригнали!

Он их, сердешных, так и гоняет, так и гоняет!... Вообще — подлюга человек. По всему видно!

Дальнейшая информация оставляла еще меньше места для розовых мечтаний. Выяснилось, что Роом, уходя, оставляет своих секретарей под замком до своего прихода, а приходит он иногда часам к девяти, а иногда и в полночь. Тот факт, что он меня сегодня не запер, моя собеседница об'яснила необходимостью починить проводку. Я подумал о том, что будет, если он попробует запереть меня... Потом подумал, что не может же он запирать своих помощников — помощников режиссера, — работа которых проходит, главным образом, на фабрике. Хотя, может быть, это только так говорится — „помреж", а кто знает, каковы функции такого помрежа на советской кино-фабрике.

Весталка со сладострастием смаковала детали личной жизни своего ненавистного соседа. Особенно характерными были описания прощальных сценок Роома с его подневольными сотрудниками.

Из восьми таких сценок, пережитых ею на своем веку, три включали в себя программным номером мордобой, при одной из них Роом был спущен со своей же собственной лестницы, а филиппики, произнесенные в пылу остальных четырех, женственная стыдливость моей весталки не позволяла ей передать даже в самых завуалированных выражениях.

Одним словом, мое теперешнее положение, равно как и перспективы на мою творческую будущность, можно было бы блестяще сформулировать излюбленным в советской России выражением: кругом шишнадцать!

За прошедшие с тех пор пять с лишним лет я успел в сильной степени отнивеллировать неудобообтекаемый профиль моего характера, но, если положить руку на сердце, я и сейчас еще не одна сплошная „штромлиние", и овечьего непротивленчества во мне меньше всего. По тогдашним же временам люди, имевшие в своем характере авто-

ритарные черточки, не считали мое существование на свете благодатью Божией и предпочитали со мной никакого дела не иметь. Я знал за ними эту странность и, с полным основанием причисляя Роома к людям с авторитарными наклонностями, стал разглядывать наш дальнейший симбиоз сквозь дымчато-темные очки пессимизма.

К моменту, когда „лампочка Ильича“, наконец, тускло озарила больное место всякой уплотненной квартиры, мы с весталкой, как говорят в высокой политике, стояли на пути к тесному сближению. То-есть, я хочу сказать, что мы нашли друг в друге определенное сродство душ, и когда я, кончив с проводкой, закрывал за собой дверь в Роомовскую комнату, — она едва удержалась, чтобы не перекрестить меня, и пожелала мне силы, мужества и удачи в моей дальнейшей жизненной борьбе.

— Ну, давай вам Бог! — сказала она. — Может, вы его и обойдете как нибудь! Он хучь и подлюга, но дурак в общем-то! Вы его — того!

Кивком головы я обещал ей Роома „того“ и снова остался один в его пыльном саркофаге. Походив по саркофагу взад-назад, постоял безцельно перед окном, потом бухнулся на диван, от которого так и несло бессонницей, клопами и непожатыми лаврами, и предался мрачным размышлениям.

Что то будет?...

Успею ли я уцепиться на фабрике прежде, чем дело дойдет до международного конфликта? Каковы там вообще отношения, на этой самой фабрике? Попаду ли я вообще туда, или Роом засадит меня за переводы чужих лавров за неимением собственных? Как вообще все это получится?... Неужели все-таки мне тоже придется пойти по стопам моих предшественников?... Интересно — куда эти предшественники направили свои стопы, разойдясь с Роомом на жизненном пути? Хотя... они были присланы с фабрики — очевидно, на фабрику же и ушли. А как будет обстоять дело с моими стопами?

В результате вынесенных впечатлений, я почему-то примирился с мыслью о неизбежности конфликта, и жалел только об одном: окажись Роом хорошим парнем и посади он меня сразу хотя бы даже на самую что ни на есть кровососную работу, — у меня, накопившегося за последние недели энтузиазма хватило бы, чтобы поднять родную кинопромышленность на недосягаемую высоту! Но Роом оказался гнусом, который угробил мое святое горение одним взмахом своего двенадцатидюймового карандаша и дал мне смутно сообразить, что даже в братстве трудящихся жрецов искусства — человек человеку не тетка...

Я не знал еще всех видов творческого сотрудничества на кино-фабрике, но за десять минут нашего знакомства с Роомом, трепещущие ноздри моей души успели уловить этакий тонкий, едва уловимый, мускусный запашок великой всесоюзной халтуры, который пропитывает даже самые ароматичные стороны советского бытия и производит усугубленно-нафталинное действие на все мало-мальски возвышенные человеческие импульсы. Интересно — чем занимается Роом на кино-фабрике?... Неужели ему поручают фильмы крутить! Ведь, отвлекшись на секунду от генеральнолинейности советской кинопродукции, она, в конце концов, не так уж плоха! По крайней мере, с точки зрения художественной. Мне что-то не верилось, чтобы из тайников Роомовской души могло произрасти что нибудь гениальное. Или, может быть, я просто еще недостаточно знаю душу артиста? От людей, имевщих к святому искусству только весьма зрительное отношение, мне, правда, и раньше приходилось слыхивать, что великие мастера не расточают своих талантов в суетной обыденной жизни и что такие звезды, как Микель Анжело или Шаляпин, лучше всего рассматривать из большого далека, чтобы не портить впечатления...

„Ч-чорт его знает — думал я, развалившись на рыхлом, как рокфор, и дырявом, как швейцар-

ский сыр диване. — А может быть, эта старая калоша и в самом деле гений?.. Тогда придется, пожалуй, попрятать свои амбиции по карманам".

Словом, я ждал прихода Роома, как старый прожженый скептик ждет очередного лоттерейного тиража: разминая в руках билет до состояния приятной телу бархатистости и, вместе с тем, достаточно осторожно, чтобы не стереть номера: а вдруг, все-таки выиграет!

Ждал долго. Час, два, три... На моих упокоившихся впоследствии где-то в ленинградском ГПУ, ручных часиках было уже без четверти шесть, когда до моего сознания, сквозь полог победившего мою немощную плоть Морфея, дошел какой то пронзительный свист, доносившийся, повидимому, с улицы. Долго время я не придавал ему должного значения, принося свистуну мои самые изысканные комплименты. Но когда свист достиг того предела, который в механике принято называть критическим моментом, я все-таки не выдержал, и выглянул в окно. На глубине пяти этажей, среди снующей по троттуару толпы, вбитым в землю колышком стоял Абрам Матвеевич Роом и, заложив руки в карманы, извлекал из вытянутых кверху в трубочку губ пронзительный языческий свист.

Увидав меня высунувшимся из окна, он сорвал с головы свою не по сезону соломенную шляпу и бешено ею засемафорил.

— Иди-ите сюда-а!.. — донеслось до моего слуха.

Захлопнув окно, я бомбой вылетел из комнаты. Пребывающая на посту весталка проводила меня широко открытым взглядом до дверей и потом вдруг вдогонку крикнула:

— А дверь-то? Дверь-то забыли запереть!

— Заприте сами! Будьте до-обреньки!.. — проорал я ей, минуя ступеньки пачками.

## Работа начинает разворачиваться

Чтобы отвлечься от того дотошно-хронологического тона мемуаров губернской гимназистки, который овладел моим пером, или, вернее — пишмашинкой за последнее время, — позволю себе перенести внимание читателя в столовую Дома Писателей на Тверском бульваре, куда меня завлек Роом после двухчасового исполнения мною служебных обязанностей, не имеющих прямого отношения к ходу событий.

Таверна братьев писателей имела свои отличительные черты по сравнению с другими ресторанами, столовыми и просто столовками Москвы. Она была живописно разбросана в нескольких маленьких комнатках и пропитана этаким духом монмартрского писательского кабачка: на цветных клеенках ее столиков разводил в свое время пальцем пивные лужи сам Есенин, и монументальная фигура Маяковского набивала себе неоднократно шишки на лбу об низкие ее косяки. Здесь же своими круглыми очками отсверкал свой недолгий век Бабель. Но с тех пор Есенин, рассуждая, что бы такое выкинуть „поновее“, вскрыл себе вены, и даже Маяковский, из которого жизнерадостность перла, как из брандсбойта, пустил себе пулю в лоб...

„В этой жизни умереть не трудно,
Сделать жизнь — значительно трудней“...

—переправил он когда то своего не по большевицки декаденствующего коллегу. „Сделать жизнь“ оказалось в советских условиях предприятием действительно здорово трудным. Говоря воровским жаргоном, можно сказать, что не он жизнь, а скорее всего жизнь его „сделала“.*)

Монмартрский дух держался теперь уже не на тех людях, что раньше. Создавшие и поддержи-

---

*) „Сделать“ — обдурить, околпачить, довести до белого каления.

вавшие его кариатиды разбрелись в разные стороны: большинство увели лабиринтно-путанные стези халтуры, кое-кто заехал и подальше, чем могла завести простая халтура, а кое-кто, исходя из того соображения, что хуже, чем в Москве, вряд ли будет, отправился, по стопам Есенина, в лучший мир.

Из китов здесь еще иногда показывались: Эренбург, Киш, Сейфуллина, Алексей Толстой, иногда, приводя в раболепный трепет советско-писательские массы, появлялся сам, незабвенной памяти, Алексей Максимович. Но Алексей Максимович не опускался до плебейских клеенок и глиняных горшков с бумажными цветами, хотя и они, по тем временам, говорили о силе, мощи и славе писательского сословия. Алексею Максимовичу давались банкеты в зале заседаний Дома Писателей, на которых бывал сам Сталин и на которых даже „киты" занимали только лишь чисто „совещательные" места на нижнем конце стола.

Как выяснилось лишь в далеком последствии, этот самый Алексей Максимович и был главной, затаенной целью того пышного ужина, который закатил в этот вечер Абрам Матвеевич Роом, взяв на него, в качестве высшего выражения люксуса, и своего новоиспеченного секретаря.

Ибо, если висячие усы самого Горького и не часто радовали своим видом служебный, не служебный и просто околачивающийся персонал Дома Писателей, то кое кто из его секретарей заходил иногда, с видом великого визиря выпить кружку пива и пожать пропущенные своим патроном лавры.

— Вы сядете за соседним столиком, — говорил мне Роом по дороге, — и закажете себе там что-нибудь. А когда я вас позову, вы подойдете, сядете и будете записывать на блокнот, что я вам там буду говорить. У вас блокнот есть? Вы стенографию знаете?

С Роомом было в том отношении легко управляться, что он никогда не задавал один вопрос, а всегда несколько сразу. Можно было ответить толь-

ко на тот, который вам больше всего нравился (если вообще удавалось ответить), и он этим удовлетворялся. Иногда начинал нести громы и молнии, что его перебивают. Если ответ не соответствовал его желаниям и чаяниям, — возмущался, почему все всегда делается не так, как он этого требует. Во всяком случае — к остальным заданным им вопросам он больше не имел случая вернуться.

— Насчет блокнота у меня... — извиняющимся тоном начал я.

— Что-о!... У вас блокнота нет?! — сразу взорвался он. — Какой же вы помреж после этого?!

Я было хотел ему сказать, что я и до этого ни разу в своей жизни помрежем не бывал, но из дипломатических соображений удержался. И тут же решил испробовать старые, как мир, приемы лисы по отношению к вороне.

— Но неужели же вам, Абрам Матвеевич, в Доме Писателей не дадут какого то блокнота?! Ведь у них есть же какой то там завхоз!

Пилюлька в интонации слова „вам“ подействовала с быстротой и верностью пули в лоб. Я даже опешил от такого успеха.

— А, да, мне? Мне, конечно, дадут! Только... ведь вы же секретарь, ведь вы же тоже должны о чем-нибудь заботиться! У вас деньги есть? Как вас, между прочим, звать?

— Юрий Иванович, — ответил я.

— Иванович? Почему Иванович?.. — он посмотрел на меня, как если бы меня звали чем-нибудь вроде Елпидифора Анимподистовича.

— То-есть... Как почему? — опешил я. — А как бы вы хотели... что-б меня звали?

— Никогда не слыхал такого имени... — пробормотал Роом.

Тут я уже остановился посреди улицы и воззрился на него, как на полоумнаго. Признайся он мне, что никогда в жизни не слыхал имени Абрам, — я бы, пожалуй не так удивился: бывает же с

человеком, что он забывает собственное имя. Но чтобы не слыхать имени Иван... В течение минуты мы молча смотрели друг на друга. Я — в диком изумлении, а тот — в удивлении по поводу моего изумления.

— Так вы же Солонович?!! — выпалил он, наконец.

— Солонович?.. Солоневич, а не Солонович! — ответил я, только под конец фразы раскусывая самую соль маленькой опечатки.

— То-есть, как? Вы хотите сказать, что вы русский?..

Я хотел ему ответить, что я „таки-да“, русский. Вообще в этот момент я многое хотел ему ответить. Но его последующая фраза удержала меня от безумных речей.

— Вот странно... — произнес он. — Мне кажется, — вы теперь будете первым русским на кино-фабрике...

* * *

Когда мы вошли в столовую Дома Писателей, Роом, в мгновение ока принявший боевую павлинью осанку, указал мне место у свободного столика, а сам сел за соседний, и сразу стал щелкать во все стороны пальцами, ловя пролетающих мимо подавальщиц. Когда он, наконец, преуспел в этом предприятии, поймав одну из них за фалду, он заказал чуть ли не все наличное меню столовой сразу. Меню, впрочем, особым ассортиментом не отличалось: я и до, и после этого не раз обедал в Доме Писателей, и морковные котлеты, бывшие там в программе 1932-го года, стоят и по сей день, как живые, перед моими глазами.

Перемигнувшись с беспомощно озирающейся по сторонам подавальщицей, я всучил ей еще один заказ на кружку пива, за что сразу же получил начальственный выговор:

— Подождите пока она мне принесет! Она за вашим пивом будет два часа бегать!

После этого между нами воцарилось молчание, во время которого Роом барабанил себя ногтями по зубам, а я предавался голубым мечтам о том, чтобы он себе таким манером выбил хоть один зуб или по крайней мере, откусил бы палец. Однако, ни того, ни другого не случилось, а вместо этого минут через десять появился некий, франтовато, почти с европейским лоском одетый молодой человек, каковой впоследствии оказался третьим или пятым секретарем Максима Горького. Фамилии его я, конечно, не помню, но будем называть его, скажем, Сидоровым для того, чтобы не спутаться в терминологии. Мне еще предстоит представить читателю целую орду всякой публики и, если бы я был в состоянии запомнить все их имена, я бы занимался сегодня чем нибудь более производительным, чем писательство или художество.

На лице у молодого человека был горделивый ноншаланс лорда, из чисто этнографического любопытства зашедшего в лондонский портовой вертеп. Он подошел к Роомовскому столику и, уперев кончики пальцев в его поверхность, скучным взглядом посмотрел в лицо вскочившему ему навстречу Роому.

— Вот видите, товарищ Сидоров, — затараторил сразу Роом. — Вот видите, как хорошо, как замечательно получилось, что вы сейчас пришли! У меня есть для вас такая масса нового! Вы знаете я выяснил... Ну, подождите, вы сначала присядьте, мы с вами сначала закусим, чтобы легче было разговаривать, а то вы знаете, я прямо таки чертовски голоден! Эй, гражданка! — заорал он под руку несущейся с подносом подавальщице, причем, та чуть не вывернула подноса от испуга. — Что это такое значит?! Я, час тому назад, заказал суп жульен и макароны с котлетами, и компот, и пиво — и ничего этого до сих пор нет! Я буду жаловаться товарищу заведующему столовой! Что это за безобразие!..

Но подавальщица, подобно сверхскоростному самолету, чудом выровнявшись после воздушной ямы, скользнула на крыло и исчезла в кухонном ан-

гаре. Сидоров брезгливо поморщился, показывая этим, что вращаясь в высшем обществе, он не привык к необходимости такого обращения с прислугой. Не то, чтобы к самому обращению, а именно к необходимости его: на Роома он в этот момент посмотрел скорее соболезнующе. Из этого я заключил, что Абрам Матвеевич чего то от Сидорова хочет и что он это „что-то“ по всей вероятности „таки“ получит.

Тот неприятный промежуток времени, когда, в предвкушении грядущих явств, накопляющаяся во рту слюна. мешает человеку спокойно разговаривать, Роом заполнил своему собеседнику литературной дисскусией по поводу творчества его великого патрона. Роомовская эрудиция в этой области была изумительна: некоторое время до моего появления на его горизонте и еще недели три после него, он жертвовал все свои культурные интересы в угоду изучению горьковских произведений вообще и его позднейшей и невыносимейшей халтуры в частности.

Когда же на столе появились суп „жульен“ и пиво (остальные ингридиенты этого блестящего супэ опоздали по крайней мере на полчаса), он, заложив за воротник грязнющий носовой платок, с бокалом в руке перегнулся через стол к своему собеседнику с таким видом, будто намеревался ткнуть его бокалом в физиономию.

— Ну, стукнемся, дорогой Иван Иванович — произнес он таким тоном, каким человеку говорят, что у него не все исправно в туалете. — Стукнемся за здоровье нашего изумительного Алексея Максимовича и за наше... я надеюсь наше будущее общее дело!

— Видите ли, — независимо процедил Сидоров. — Мое сотрудничество.. — он деликатно стянул губами пену с поверхности пива. — Мое сотрудничество в этом деле... далеко не обязательно и, если хотите... только чисто косвенно...

— О, — перебил его Роом, -— я, конечно. понимаю вас, дорогой Иван Иванович, очень даже хо-

рошо вас понимаю, но зачем же вам, вам, такому крупному сценическому таланту, уклоняться от такого большого, я бы даже сказал, такого эпохального дела, как сценарий Алексея Максимовича?! Ведь вы же понимаете, я — как режиссер... я говорю, если бы я, например, был на месте режиссера этого сценария, — ведь я же не мог бы не оценить того факта, что вы Алексея Максимовича знаете как родного отца, что вы в курсе всех его идей, всех его творческих замыслов, что кто же, как не вы, сможете стопроцентно передать всю гигантичность его главной роли, например...

— Главной роли... — Сидоров вытянул нижнюю губу. — Видите ли... Я лично... Я, повторяю, думаю иметь ко всему этому делу лишь только совсем косвенное отношение. Если будущему режиссеру этого сценария понадобятся люди, тоже хорошо знающие замыслы Алексея Максимовича, я не говорю — на главные роли, а скажем, на какие нибудь там технические или хозяйственные должности, — я готов найти и предоставить ему таковых и при том так, чтобы это не шло в разрез с желаниями самого автора, конечно.., Что же касается главной роли, то... — он видимо, обдумывал и обсасывал каждое слово, прежде чем спустить его с языка, — то тут еще неизвестны взгляды и намерения самого Алексея Максимовича. Может быть, у него уже есть кто нибудь на примете для главной роли.

При словах „хозяйственные должности“ Роом, видимо, несколько воспрял духом: он, наконец, увидал, чего, собственно, хочется его собеседнику.

— О, это было бы прямо-таки замечательно! Я говорю — если бы вы смогли найти мне такого человека! Вы знаете — я как раз только что внес Бассу (это наш директор — Исаак Евгеньевич Басс), так я ему внес предложение, чтобы при каждой с'емочной группе был бы теперь свой завхоз. Потому что, я говорю, нет никакой больше возможности: на фабрике один завхоз, он разрывается на кусочки,

от него ничего не добьешься, и вообще — какая же это работа, когда даже некому смотреть за взятым с фабрики инвентарем! Ах, если бы вы смогли быть так любезным, чтобы нашли мне такого человека! Вы знаете, я даже сразу запишу себе его адрес и фамилию, если вы, конечно, ничего не будете иметь против! Юрий Иванович! — заорал он в воздух с таким видом, будто он не знал где именно я нахожусь, но был уверен в моем незримом присутствии.

Я бесшумно отделился от своей недопитой кружки с пивом и с готовностью вышколенного секретаря „вырос“ за его плечом.

— Запишите! — отрезал он тоном цезаря, собирающегося диктовать очередное мероприятие в Галлии.

Я немедленно вытащил свой бумажник (блокнота Роом мне так и не достал) и отвинтил ручку. Но, напуганный вмешательством непрошенного свидетеля, Сидоров жестом бобби на посту поднял руку:

— Н-нет, видите ли, я бы хотел припасти этого человека для того режиссера, которому придется обрабатывать этот сценарий. Потому что ведь знание творчества Алексея Максимовича необходимо только в этом частном случае, не правда ли? И потом, мне кажется, Абрам Матвеевич, мы с вами еще недостаточно обсудили все возможности и вариации... Я думаю... Мне думается, что... — он посмотрел на часы... — Видите ли, Абрам Матвеевич, мне, через двадцать минут, нужно быть у режиссера Балабановского, так, может быть, вы меня проводите кусочек — мы с вами по дороге и поговорим. Как вы? Располагаете временем?

Роом растерянно посмотрел на меня. Ему в данный момент не стоило щеголять наличием у него личного секретаря.

— Дак... Ну, хорошо! Так вы, Юрий Иванович, оставайтесь здесь, подождите, пока принесут макароны с котлетами, а потом заплатите и придете ко мне наверх.

Оба поднялись, и когда были уже около дверей, Роом будто вспомнил, что ему еще

нужно что то важное мне сказать, вернулся и, глядя на меня взглядом гангстера, требующего кошелек или жизнь, промычал:

— Котлеты завернете и принесете ко мне! И хлеб тоже захватите.

## Укрепленный турникет

Исполнив свои котлетно-макаронные функции и переспав ночь, полную страшных сновидений, я на утро с тяжелым сердцем снова отправился к дверям Роомовской квартиры. С таким ощущением, наверное, являются духи на то место, где лежит их непогребенная и неотпетая бренная оболочка.

Но Роома дома не оказалось. Наведя у какого то заспанного типа справку о его местонахождении, я из ряда высказанных типом предположений заключил, что Роом уже с раннего утра обретается на кинофабрике.

Характерным показателем степени моей неосведомленности в делах родной кинопромышленности может служить тот факт, что, выбравшись на улицу, я потратил около полутора часов на поиски своего собственного места службы. Не то, что его адреса, но я даже толком не знал его оффициального названия. Кроме меня, этого поочередно не знали: постовые милиционеры на углах различных улиц, три справочных киоска, телефонное справочное бюро восемь извозчиков и еще энное количество сердобольных аматёров из гражданского населения.

Как всегда в таких случаях, меня выручил „шпигель“: когда, игриво помахав крылышками, улетела от меня последняя надежда, Микола Угодник направил мои стопы навстречу одному моему старому приятелю Тоське Балуеву, который, помимо прочих своих несомненных достоинств, был живым Бэдекером для города Москвы. Вникнув в суть моего пикового положения, Тоська моментально с'ориен-

тировался по солнцу и, решив, что в его распряжении еще найдется свободных минут пять, взял курс на Триумфальную арку. Дойдя до нее, он указал мне улицу, оказавшуюся при ближайшем рассмотрении, если мне не изменяет память, Смоленской, и с твердостью немецкого шуцмана заявил:

— Пятый или шестой забор налево. Зеленый такой. Только там тебя без пропуска не впустят!

— Так я им скажу, чтобы они Роома спросили — отвечал я с легкомыслием нансениста перед райскими вратами, но без визы.

— Ну-ну! — сомнительно отозвался Тоська.— Попробуй! — После чего он повернулся на каблуках и нырнул в тротуарный поток, намекая этим на окончание своих самаритянских обязанностей.

Тоська оказался прав. Я уже упоминал о странном пристрастии советских заводов и фабрик к контрольным будкам. Даже наш микроскопический Салтиковский мыловаренный заводишко имел свою гордую контрольную будку, построенную по архитектурным замыслам башенных ворот Шильонского замка. Не хватало только откидного моста.

Первая звуковая фабрика Союзкино была обнесена высоким зеленым забором, увенчанным колючей проволокой, а такой контрольной будки не имели даже самые укрепленные лагпункты Беломорско-Балтийского комбината*).

Сам по себе факт наличия на советских заводах контрольных будок не представляет собой отрицательного явления, и скорее был бы даже явлением положительным, если бы гарнизон их не состоял обычно из пары до последний степени бестолковых красноармейцев, преисполненных к тому же горым сознанием своего вооруженного доминирования над штатскими массами. Винтовка, попадая в руки даже самого наиштатского, геммороидальнейшего человечишки, делает его гордым и непри-

*) Один из крупных советских концентрационных лагерей, в котором мне впоследствии пришлось посидеть.

ступным, как Ричард Львиное Сердце, закованный, во все свои боевые доспехи вместе взятые. Быть может, слишком частые, в нежном возрасте, столкновения с вооруженной частью человечества и сделали из меня гнилого антимилитариста... Не ко времени, должен сознаться, не ко времени!.. С такими замашками мне следовало родиться в блаженные времена царствования королевы Виктории и не в России, а где нибудь в тихеньком Типперери. Впрочем, кто поручится, что в этом случае меня не прельстили бы медвежьи шапки или шотландские юбочки, и я не стал бы вдохновенным поклонником Марса?..

Но вернемся к контрольным будкам. Контрольную будку Первой Звуковой населяли два вот таких служителя Марса, отделенные от постороннего мира широким окном с маленьким отверстием, величина которого была рассчитана только на то, чтобы в него могла пройти рука, пред'являющая пропуск. Посторонние звуки, в частности такие, которые могли бы смягчить сердца служителей, в это отверстие уже не проникали. Да, на тот случай если бы они и проникли, Марс, а с ним и социалистическая законность, были застрахованы от каких бы то ни было неприятностей, связанных с неподобающим мягкосердечием служителей: сердца своих людей Марс облекает в броню из пробки и мрамора, а социалистическая законность добавляет к ней черную мантию вечной и неусыпной подозрительности ко всему живому.

Воспоминание о бесплодно проведенных мною перед будкой сорока минутах настолько горько и болезненно, что я не стану будить его в своей памяти. Не стоит будоражить старые раны. Возьму из этой краткой трагедии только единственный отрадный солнечный блик: когда дело шло уже к одиннадцати часам, на другом конце улицы появилась стремительно передвигающаяся фигура Берты Леонидовны Владимирской.

— Ну?! (Должен вообще сказать, что никогда в моей жизни меня это словечко так не преследовало, как за период моей кино-деятельности).

— Да вот, тов. Владимирская . . . не пущають меня!

— Аа-га! — и Берта Леонидовна, не уменьшая скорости, пролетела сквозь контрольный турникет так, что он еще минут пять после этого вращался, назойливо и иронически, напоминая мне пресловутый „пресекатор“. Впоследствии я привык к тому, что если Берта Леонидовна говорит „Аа-га!“ — то нужно спокойно оставаться ждать дальнейших событий: вопрос будет разрешен ко всеобщему удовлетворению. И наоборот: когда она говорит „Тэ-э, тэк'с!... — то лучше и проще сразу махнуть на него рукой, и даже не браться решать его самостоятельно: все равно ничего не выйдет. В то время, однако, я этого еще не знал, и даже попробовал было снова вознести свои мольбы к филиальному алтарю Марса.

Но, минут через пять, в алтаре зазвонил телефон, после чего в вышеупомянутом отверстии появились кончик носа и глаз одного из служителей· Глаз имел пытливо-разыскивающее выражение. Радостное предчувствие птицей забилось в моей груди и, в виду того, что на улице, кроме меня, никого не было, я с готовностью услужливого царедворца придвинулся к окошку.

— Вас как? — прогудел заглушенный стеклом бас.

— Солоневич! — радостно взвизгнул я.

За эти сорок минут служитель имел, в сущности говоря, полную возможность зазубрить мое имя на всю оставшуюся ему половину жизни. Но законность и оффициальность суть законность и оффициальность: а вдруг я в самый последний момент обменялся с кем нибудь личностью! Потом иди — доказывай!

— Имяотчество? — осведомился бас.

— Юрий Иванович!

— До кого хотите пройтить?

— До режиссера Роома, Абрама Матвеевича, сорока пяти лет, низенького, без очков... — затараторил я с нескрываемым нетерпением, но окошечко уже захлопнулось и минуты через три мне был выдан пропуск, представлявший собою клочек бумажки с треугольной печатью и корявой надписью: Роом.

Думаю, что после моего прохода, турникет вращался бы еще и до сих пор, если бы тому не помешали обстоятельства!

## Первое поручение

Итак, я был во дворе кинофабрики, на, так сказать, опушке, с которой начиналось поле моей будущей деятельности. Дворик был маленький, окруженный со всех стором тремя барачного типа и одним трехэтажным зданием. Из всего, что мне в тот момент бросилось в глаза, стоит упомянуть только об огромном плакате, на котором желтыми буквами стояло:

„За курение
Увольнение!“

и о фигуре Абрама Матвеевича в желтой соломенной кепке, торчавшей из верхнего окна вышеупомянутого небоскреба.

— И где это вы пропадаете?!! — на верхней ноте встретил Абрам Матвеевич своего блудного помрежа.

— Так меня не пускали!.. — с тоской завопил я в ответ.

Роом, быть может невольно, применил самый наилучший способ представить меня всему штатному и нештатному населению кинофабрики сразу: через несколько секунд наших пререканий — я снизу, а он из окна третьего этажа, — остальные окна главного здания распахнулись, и в них, по три, по четыре, стали появляться головы моих будущих сослуживцев. Происходи это в Америке, среди них наверное стали бы заключаться пари на то, кто из

нас первый запустит в другого тяжелым предметом. Но, если верить поговорке, я снова оказался мудрейшим, который уступает, и нырнул в дверь, ведущую по всем признакам в непосредственную близость к моему патрону. На лестнице меня провожали взгляды, какие провожают карманного воришку, драпающего по улице от ущемленных им собственнических инстинктов.

К тому времени, когда непосредственная близость с патроном была достигнута, гнев последнего уже успел простыть, и он встретил меня на площадке лестницы следующей тирадой:

— Вы сейчас же идите к Калюжному! Вы знаете, где живет Калюжный? Тверская, 35. Это мой оператор. Так вы ему скажите, чтобы он брал коньяк и нес его к Бассу. И чтобы он ему сказал, что Музей Истории Революции у меня в кармане и что я достал Махно, и что Горман сам знает Буденного, так что мы достанем фотографии, и, может быть, сам Буденный будет на себя смотреть, как он получается. И что если всего этого мало, так пускай Басс задержит „Пять Восходов“ до завтра утром, потому что я, может быть, устрою Зальцману командировку в Крым, так он, может быть, сам откажется! И пусть Калюжный возьмет пока пленку у Кержа, я с ним сговорился, и даст Ясновскому. Потому что иначе Ясновскому нечем крутить „Толмача из Грэхме“, он плюнет и пойдет к Бассу, а тот ему даст „Тихий Дон“. Ну, да он сам знает! Во всяком случае, скажите, что я его жду в три в технической столовой, и пусть приведет с собой этого сопляка, как его там... ну этого.. он знает, в общем!..

Тут только я понял всю настоятельную и насущную в отношениях с Роомом необходимость блокнота и знания на-ять парламентской стенографии: все вышеизложенное было сказано одним залпом, почти безо всяких знаков препинания, и, повидимому. в расчете на беспрекословное исполнение. Это было тем, что накопилось в душе Роома

за длительное мое отсутствие. Впрочем, впоследствии, бывало и так, что за пять минут моего отсутствия накоплялось столько же, если не вдвое больше.

— П-ростите, Абрам Матвеевич... — перебил я.

— Не перебивайте!!! — заорал он на меня. Когда я вас научу не перебивать?! Вы чего от меня хотите?! Я вас спрашиваю, чего вы от меня хотите?!!

Я сообразил, что либо вчерашние котлеты плохо отозвались на его печенках, либо положение его кровати не позволяло ему вставать с правой ноги.

— Разрешите, я все это запишу, Абрам Матвеевич. Потому что ведь, знаете сами — точное исполнение зависит...

— А, да! Записать?! Да это вы совсем правильно! — Запишите обязательно!

Ко всякого рода записям, картотекам, гроссбухам и прочим аттрибутам аптекарской точности Роом относился с любовью уэльсовского начальника станции к своей землянике, что, однако, не мешало ему перевирать и путать самые ясные вопросы его режиссерского бытия.

## Ося (Остап) Калюжный

Я не знаю, почему, но я сразу, с первого взгляда почувствовал нежную привязанность к этому странному и необычному для кинофабричного населения индивидууму. Может быть, в его огромных серо-водянистых глазах я прочел то же выражение, которое ловил впоследствии и у себя, заглядывая, в пылу бешенной суетни на Потылихе, в огромные зеркальные стекла никогда спокойно не стоявших фабричных дверей... Пролетая из пятого этажа во второй подвал за реквизитом, или из шестого ателье в гараж за нарядом на машину, на

четверть секунды встретишься со своим собственным отображением в холодном, безучастном стекле.

Потом в памяти надолго остается этот странный, немножко, чужой взгляд. Такой взгляд был наверное у Маугли-Лягушенка в плену у Бандарлогов. В нем, я бы сказал, застывшее изумление перед многочисленностью и многообразием человеческих характеров, темпераментов и здравых смыслов, совсем не похожих на твой и на те, которые ты привык считать нормальными. Взгляд, в котором последние остатки сознания собственной нормальности борются с тысячью других людей, считающих себя тоже нормальными.

Когда я постучал в невысокую желтую дверь, на которой висел фотографический отпечаток имени Калюжный, мне сначала, секунд пять, никто не отвечал. Потом из гробовой тишины за дверью раздался тяжелый, бархатистый бас:

— Входите.

Я вошел. В небольшой, сравнительно чистенькой комнатке, разбросанные в разных положениях по мебели, сидели или лежали четыре молчаливых и ко всему безразлично настроенных человек. На первый взгляд можно было подумать, что вы попали в тайную курильню опиума: люди не тронулись с места при моем приходе, и выражение их лиц было такое, что если они вообще смотрят куда-нибудь, то только потому, что не хотят держать глаза закрытыми.

— Я от Роома, — произнес я, оглядев удивленным взглядом странную компанию. Однако, при этой новости никто из них не проявил ни малейшего признака ажиотажа. Либо они, застыв в этих позах с прошлого столетия, ничего не слышали о великом режиссере, либо слишком хорошо его знали, чтобы волноваться при звуке его имени.

— ...Мне нужно товарища Калюжного, — продолжал я.

Фигура, сидевшая в позе Роденовского „Мыслителя“ у окна, склонила на бок голову, с заро-

дившимся любопытством оглядывая меня с ног до головы. Это был огромнейший дядище, имевший вид хорошо откормленного слоника, прошедшего курс красоты у Элизабет Арден. Со снобистской старательностью подстриженная белобрысая шевелюра не то, что бы элегантно, но с какой-то особенно нежной заботливостью обрамляла его мясистые буддистские уши, а пухлый, величиною с ананас, кулак сжимал в мягкие сладки подпираемые им щеку и нос. Нос же, сам по себе, был чем то совсем особенным: столько мудрости, благодушия и знания человеческой души светилось из его глянцевито-необ'ятной поверхности, что все кругом как бы таяло и расплывалось в его лучах.

— Сочувствую! — произнесла фигура через несколько секунд.

— Г-м... — сказал я, усталым жестом поддернул брюки, сел на стоявший у стенки диван и, откинувшись назад, медленно закрыл веки. Из под них я все же почувствовал легкое движение в комнате. Это переглядывалась выведенная из своего анабиоза компания.

В пояснение вышеизложенного, надо сказать, что ни в одной стране мира так не любят и не умеют разыгрывать новичков, как в России. Разыграть человека — одно из немногих развлечений, оставленных на долю интеллектуальной части подсоветского населения пуританскими замашками советской власти. Дансингов нет (в то время, по крайней мере, не было), варьете нет, кафе, игорных домов и рулеток тоже нет. В такой атмосфере не удивительно, что разыгрывание публики превратилось в тонкое и высокостоящее искусство саморазвлечения.

Когда я вошел в обитель Калюжного, мой натренированный по этой части нюх сразу же учуял готовящееся на меня покушение. Мрачное — „сочувствую!" — укрепило меня в моем подозрении, и я моментально сообразил, что поддаваться на удочку нельзя.

Через некоторый промежуток времени, достаточный для созревания общественного интереса, за-

рожденного моим поведением в умах четырех молчаливых суб'ектов, я с сонной восточной ленью приоткрыл один глаз. Преисполненное того же безучастного любопытства, надо мною склонилось лицо с трубкой, торчавшей из середины губ.

— Бедный! Он голоден!.. — с состраданием произнесло лицо. — Вы с Украины?

— Нет, я от Роома! — устало ответил я.

— Ах, от Роома! Он вас не кормит?!. Сукин сын Абрашка! Уже пять человек уморил!

— Штосс? Дай чоловичку кильку! — раздался где то вблизи тот же бархатный бас. Человек с трубкой отвернулся и принял переданную ему вилку с нанизанной на нее килькой.

— Вот, нате! Это вас укрепит.

Я открыл второй глаз, выпрямился, и с легким страхом посмотрел на склизкий, серенький комочек, торчавший на единственном зубе заржавленной вилки. Происхождение и качество этого комочка было мне очень хорошо знакомо. Это была самая обыкновенная килька, такая, какими периодически заболевает московская кооперативная сеть и половина московского населения, Во время таких килечных припадков это маленькое животное забивает собой весь живой организм московских кооперативов, а Институт Склифасовского*) лихорадочно выводит новую противокилечную вакцину. Через некоторое время, когда у населения уже вырабатывается соответствующий иммунитет, Наркомвнуторг обычно успевает справиться с килечным наводнением. Но население должно же все таки чем-нибудь питаться, и вот, на место кильки появляется что нибудь, вроде грибной икры, дальневосточных омаров или консервированной баранины с горохом. Омары были знамениты дезинтерией, а баранина, за полным своим отсутствием в консервных банках, — горохом, от которого животы московского обывателя принимали буржуазную округленность, свидетель-

*) Московский институт скорой помощи.

ствуя тем самым о нарождающейся зажиточности. Впрочем, у баранины было еще одно свойство, которым, быть может, в значительной степени об'яснялась ее феерическая популярность: на бумажных оклейках жестянок была изображена баранья голова, до смешного напоминавшая горделивый профиль нашего общего любимого вождя. Не знаю, куда и на сколько поехал портретист — автор шедевра, но баранина скоро исчезла с московского рынка, уступив место какому то очередному кулинарному достижению.

Долг вежливости заставил меня принять вилку из рук человека с трубкой. Но мысль о необходимости „подкрепиться" этой килькой как то не вмещалась в мою голову. Под всеобщее напряженное молчание. я смущенно вертел вилку в руках, виновато поглядывая на своих благодетелей. Благодетели переглянулись и по своему истолковали мое замешательство: огромный белобрысый детина вышел из своей позы роденовского „Мыслителя" и, нырнув за диван, извлек оттуда надпитую литровочку.

— Видно, что человек знает толк в гастрономии! — пробасил он, наливая мне рюмку. — Вам какой годок идет, молодой человек?

— Ух, не спрашивайте!,. — ответил я, предпочитая не навязываться на комплименты.

Через полчаса того сорта пустопорожних разговоров, которые, по отзывам компетентных романистов. предшествуют заключению крупных сделок между акулами капитализма, Калюжный (он же Оська, он же человек в позе „Мыслителя") ловким маневром перешел, наконец, к непосредственной цели моего посещения.

— Ну-с, — пробасил он, жестом крупного экскаватора, опуская на стол крохотную в его ручище рюмку. — Так значит, твой патрончик (меня он, как, впрочем, и всех окружающих, сразу стал называть на ты, больше всего в жизни не терпя оффициальностей) имеет какие то притязания? Ин-

тересно узнать, что теперь опять понадобилось старикашке! Ты не справлялся — сколько будет стоить сжечь его в крематории? Живьем, конечно; ждать, пока эта сволочь сдохнет...

Я извлек из кармана скрижаль, со вписанными в нее „притязаниями“ Роома. За неимением блокнота я записал их огрызком карандаша на старом конверте, прижав его к шершавой, облупленной стене фабричной лестницы.

Тут необходимо сказать, что все то, что продиктовал мне Роом, было в то время для меня хуже, чем китайская грамота. Это не было даже простым жаргоном специалиста. Для меня это было эссенцией какой то огромной и, повидимому, чрезвычайно важной работы, ведомой моим грозным патроном и его сателлитами, и не мне, малому мира сего, было обрашаться к нему за раз'яснениями. Извлекая из кармана скрижаль, я подумал о том, что Калюжный, быть может, окажется тем толкователем, который откроет мне глаза на смысл ее содержания.

Но на пути к толкованию, стояла еще одна небольшая загвоздка, затормозившая на некоторое время ход торжественной читки скрижали. Дело было в том, что мой почерк немного смахивает на тот непревзойденный вид каллиграфии, который практиковался, если я не ошибаюсь, у Ацтеков, задолго до прибытия на место действия Христофора Колумба: разной величины и сорта узелками, ввязанными в клубок ниток.

Я долго корпел над первой фразой. Но специалисты утверждают, что нет больше на свете такого шифра, который бы не поддавался анализу человеческого разума.

— Коньяк! — радостно вскричал я, разобрав смысл первого узелка, и, по ассоциации, востановил утерянные слова фразы. — Он говорит, чтобы вы брали коньяк и везли его к Бассу!

— Гм... Коньяк?.. — произнес Калюжный таким тоном, как будто относительно судьбы коньяка

он знал что то, чего он никому на свете не скажет.

— М-дэ'с... Коньяк-с?.. — повторил Штосс (человек с трубкой). Штосс был первым помощником оператора роомовской группы, и по своей должности делил с Калюжным все радости, равно как и невзгоды жизни. Видно было, что коньяк, добытый где то Роомом для умасливания сильных мира сего, они выпили вместе.

Укоризна была в моем взоре, когда я взглянул в ясные, как рюмка водки, глаза Калюжного. Но у меня не хватило сил превознести ведомственный эгоизм над уважением к этому человеку. Он был огромен, этот хохол, огромен физически и морально! Это все, что я могу про него сказать. Отведя свои взоры от его глаз, честных той честностью, которую дает мудрость, и которая на наш суетный, мелочной и обыденный взгляд, быть может, уже за честность и не считается, я снова погрузился в разбор своих записей.

— Муз... Муз... Рев... Ага! Он хочет сказать, что Музей Истории Революции у него в кармане.

Своим слабым умишком я не понимал, что может означать на языке посвященных такой оборот речи, и с надеждой уставился на Калюжного.

— В кармане? — строго спросил тот. — В каком кармане? Если в жилетном, то жилетки у него нет! Это я знаю совершенно точно. А остальные у него дырявые! Вообще, голубок, я тебе скажу, если Абрашка тебе что нибудь говорит, так ты плюнь ему в рожу! Я уже с ним восемь лет работаю! Страдаю, так сказать, в качестве седьмого колена за грехи первого! А Музей Революции будет в том кармане, в котором уже лежат „Пять Восходов". И, без наряда на сценарий, Абрашку в архив никто и не пустит!

Ситуация немного прояснилась. Вопрос, очевидно, шел о каком то фильме, для постановки которого необходимо было проникнуть за кулисы Музея Революции. И столь же очевидно было, что Роом собирается заполучить этот фильм для себя,

но либо еще не заполучил, либо не заполучит вообще. Впрочем, нечто в этом роде я подозревал и раньше, но, в свете такой интерпретации вопроса, вчерашний разговор Роома с Сидоровым стал облекаться в более плотские формы: там тоже фигурировал какой то сценарий...

— Кроме того, Роом просит передать Бассу,— продолжал я, — что он достал Махно и что Горман лично знает Буденного, так что тот сможет присутствовать на с'емках. И фотографии Роом тоже достанет. А если на Басса такое embarras не подействует, то он просит, чтобы Басс оставил „Пять Восходов“ до завтра, — он думает устроить Золь... Золь... Зольцману! Значит, он думает устроить Зольцману командировку в Крым, тогда, быть может, Зольцман от „Пяти Восходов“ сам откажется.

Я взглянул на Калюжного, ожидая от него какого нибудь жеста или замечания, которое раз'яснило бы мне всю эту белиберду. Но Оська сидел, как Будда, и таинственная усмешка кривила его губы, напоминающие пару буржуйских сосисок. Не найдя в них ответа, я снова принялся читать.

— А кроме того, Роом говорит, что вы можете взять пленку у Кержа, он с ним сговорился, и отдали бы ее Ясновскому. Он сказал, что вы сами знаете в чем там дело. И еще—чтобы вы были в три часа в технической столовке, и привели с собой какого-то „этого сопляка“. Он не сказал кого именно. Вы, якобы, сами знаете. Он вас там будет ждать... Так, как будто бы — все! Что вы имеете ко всему этому добавить?

— Ишь, гадюка!—медленно выговорил Оська, когда я кончил. Слово „гадюка“ он произнес с тем неподражаемым хохлацким „г“, которое придает такой изысканный смак всем начинающимся на эту букву словам. — Это значит—у Балды-Бановского*) он хочет перехватить Горького, у Зольцмана „Пять

---

*) Оськина интерпретация имени Балабановского.

Восходов", а теперь еще, видимо, у Ясновского — „Толмача из Грэхмэ"! Ну и жлоб! Ну и ловчила! Это-ж прямо Господи-ж Боже-ж мой! — Оська жестом призвал Бога в свидетели своим словам.

— А что значит „он с ним сговорился!?" — вмешался Штосс. Это Роом сговаривался с Кержем, когда Керж ему руки не подает?! Это я доставал Кержу макеты для его мультипликаций, и он мне теперь дает двести метров пленки! Так Абрашка хочет, чтобы Оська их теперь отдал Ясновскому?!

— Да, он что то говорил насчет того, что Ясновскому не на чем иначе крутить какой то...

— Да, это то понятно! „Толмача из Грэхмэ!" Так он хочет откупить „Толмача" за двести метров пленки?

— Нет, он говорил, что, если Ясновскому нечем будет крутить этого самого „Толмача", так тот пойдет к Бассу и попросит у него какой то другой фильм. Не помню, какой именно он называл.

— Ах, так это „Тихий Дон"! — произнес Калюжный таким тоном, будто он узнал, что Роом собирается устраивать покушение на самого Сталина. Ишь ты, куда, собака, метит!

— Ну, это шалишь!—возмутился Штосс.—Это значит, он нам опять, как в прошлый сезон, навалит пять фильмов, а потом мы не скрутим ни одного, и Оська снова сядет за срыв плана! Это уж дудки-с! Пленки я ему не дам, пусть, мерзавец лопнет, не дам! Это пусть он мне сначала вернет мундиры с „Железного Потока"! Они до сих пор на моем имени числятся! Того и гляди докопаются — кто мне будет передачи носить? Абрашка что-ли?!

— Передачи пусть тебе Пудовкин носит — успокоительным тоном заявил Калюжный. Ты своих мундиров можешь еще до конца пятой пятилетки ждать. Абрашка отдал их Пудовкину для „Потомка Чингисхана", а тот кормился на них со всей труппой целый месяц в Туркестане. Им жрать было нечего—вот они и меняли их у чебуреков на брынзу и на баранину. А Пудовкин устроил за них Абрашке

эту самую американскую аппаратуру, из за которой я теперь скоро за вредительство сяду. Аппараты выписал Киршон, а когда увидел, что с ними его выдвиженцы не справятся, так он их мне перепихнул. А у меня с ними уже восемь аварий было: откуда мне знать как с ними справляться? А Абрашка гоголем ходит; у него, дескать, американская аппаратура, ему и ток вне очереди, и юпитера самые лучшие! Я ему эту аппаратуру на пятую свадьбу подарю: пусть дети радуются! Бисово отродье!

— А, сопляк?! Вы знаете кто такое этот „сопляк"? — неожиданно тихо и пискливо по сравнению с Калюжным произнес Агафий — небольшой тихенький человечек с гнусненькими, будто плешивыми усиками.

До самого постигшего его трагического конца я так и не сумел выяснить роли этого „Агафия". Что он делал в этой компании, чем он вообще занимался, даже имел ли он вообще какое-нибудь отношение к кино — осталось для меня тайной, которую он, повидимому, унес с собой на Лубянку, куда в одну тихую осеннюю ночь, перед нашим первым побегом перекочевали они с Калюжным. Или, может быть, перекочевал один только Калюжный, а Агафий пошел добывать себе следующие тридцать сребренников где-нибудь в другом месте? Аллах его ведает!..

— Вы знаете, кто такой этот „сопляк"? Вот вам Роом. Живой Роом! Алексея Толстого он называет сопляком! Толстого хорошо знает моя сестра, а он в хороших отношениях с Горьким. Так Роом просил, чтобы Оська как-нибудь нашел пути к Горькому — вот я и обещал свести его с Толстым. Ха! Сопляк! Да, если Роом сам придет к этому сопляку, так тот его и не примет совсем. А он что — хочет, чтобы Оська его в техстоловку привел?! Ха-ха-ха!.. — Агафий залился этаким робко-сатирическим смехом. Видно были, что он, с одной стороны, чувствовал, что и ему не мешало-бы лягнуть Роома в pendant к общему настроению. Но, с дру-

той стороны, Роом был все-таки начальником почти всех, за исключением его самого, присутствующих, и малость недоразвитое чувство такта не позволяло Агафию слишком уж явно глумиться над общим патроном.

Четвертый член компании угрюмо молчал, жуя одну за другой мятные лепешки, и поминутно отплевываясь. При плевке щеки у него надувались до размеров четвертого номера футбольного мяча, так что почти заслоняли маленькие щелевидные глазки. Желтый вихор при этом взметался протуберанцем вверх и шея вытягивалась, как у марабу, долбящего клювом по лягушке в болоте.

Четвертого члена звали Терентием, происхождение какового псевдонима терялось, если можно так выразиться, в догадках. Настоящее его имя было чем-то вроде Армана Кадифовича, а фамилия его была Хаджанов и род свой он вел откуда то из далекого, знойного Туркестана, чему, однако, совершенно противоречил его чуб, цвета свежеразрезанной дыни. Терентий был светотехником и по русски в совершенстве владел только необходимым в его профессии набором ругательств. Когда Роом перешел на производство звуковых фильмов, Терентия пришлось по началу удалять из ателье на время непосредственной с'емки. Он никак не мог постичь того, что его тирады запечатлеваются на синхронной полосе пленки, даже в то время, когда аппарат направлен вовсе не на него. Потом Терентий свыкся и ругался уже одними только жестами, но запрещение ругаться вслух сделало его молчаливым, каким был тот „Великий Немой, которому он верно служил в течение, кажется, пятнадцати лет...

С момента моего прихода Терентий не произнес ни одного слова. Он только жевал свои лепешки, плевался и время от времени прополаскивал рот водкой. Но теперь его уста разверзлись.

— Абрашка стэрьва. Она ходыль к Басса, говориль Зайберман рвач, Зайберман браль две фильмы и теперь хотель получиль еще культурка „Под-

водный мир“. Абрашка раскрываль классовый враг. Мне Димка говориль — Бассовый шоффер.

— Матка Боска ченстоховска! — возопил Калюжный — так это, значит, Абрашка хочет оттяпать у Зейбермана еще „Подводный мир“!.. Что он — окончательно рехнулся, что-ли?! Нет, его надо в крематорий! Юрка, беги скорей, спроси, сколько будет стоить, Басс заплатит! А нет, так вскладчину соберем! Нет, ты, Терентюга, наверное знаешь?

— Как не навэрное? — обиделся Терентий. — Раз Димка сказал, значит, навэрное! Я ему пятьсот ватт лампу украль! Как может быть не навэрное?

И Терентий с ожесточением плюнул в угол липкими остатками мятной лепешки. Лепешка приклеилась аккурат в центре висевшей в углу карикатуры на хозяина дома. Почти в тот же момент, когда она долетела до места своего назначения, на голову Терентия опустился, как медицин-болл на таракана, кулачище Калюжного. Терентий издал предсмертную икоту и разразился всем своим, оказавшимся довольно обильным, запасом слов „великого, могучего“...

## Мозаика фабричной кутерьмы

— Юноша! — говорил Роому Калюжный в тот момент, когда я подходил к этой нежной парочке во дворе Первой Звуковой Фабрики Союзкино. — Если у тебя до сих пор все зубы, кроме пломбированных, в порядке, то за эту счастливую случайность ты должен благодарить моих покойных родителей; они были добрыми людьми и воспитали своего сына в любви к ближнему своему. Но, имей в виду: ближний — понятие относительное! И определять это понятие...

— И чего тебе от меня хочется?! — визжал Роом, не вслушиваясь и не вдаваясь в архитектонику Оськиных фраз. Он простирал вперед обе руки таким жестом, как будто хотел упереться в грудь надвигающейся на него глыбы и тем самым хоть на миг приостановить неотвратимость ее движения.—И чего ты мне жизни не даешь?! Ведь ты же идиот, ты же кретин, хохлацкая твоя морда!..

... И определять это понятие, — продолжал Оська громовым басом без интонаций, будет не папа римский, а буду я! — при этом он продолжал медленно надвигаться на тщедушную фигурку Абрама Матвеевича, немного расставив руки в стороны и наклонившись вперед. Фигура получалась в высшей степени динамическая.

Динамичность ее почувствовал видимо и сам Роом, потому что, когда он, по крысьи, мельком, оглянувшись через плечо узрел меня, он в три прыжка очутился за моей спиной и продолжал уже оттуда:

— Ты-ж пойми, мешугене: ведь если мы будем иметь Горького, так нам же ГПУ даст... Что ты думаешь нам ГПУ не даст?

— То, что ГПУ имеет обыкновение давать, я как добрый христианин, предпочитаю оставить всецело в твое пользование! —рокотал Оська.—Пусть это оно перед тобой рассыпает свои дары, и пусть для тебя раскроются врата его сокровищниц! Годиков этак на пяток! Шрейб открыткес!

* * *

Я стою у фабричного коммутатора в ожидании звонка с Лубянки. Если Лубянка будет требовать Роома, я должен с быстротой верного пса разыскать его, где бы он ни был. Если Лубянка будет требовать не Роома, а кого нибудь другого. — это не меняет моей задачи: данный случай составляет редкое исключение, когда разговор с Лубянкой представляется Роому его приятной и неот'емлемой частной собственностью, на которую никто из посторонних никакого права не имеет.

В каждом отделе фабрики, у каждого директора и помдиректора, в каждом ателье, в контрольной будке, в гримёрной и даже, наконец, у некоторых (немногих правда), особо высокопоставленных режиссеров, имеется свой телефон. Вся эта масса телефонов, как ручьи в озеро, вливается в коммутатор. В коммутаторе царит и главенствует Нин-Павловна — девица со вздернутым, веснущатым носиком и всеми прочими аттрибутами телефонистки.

— Б-ззз... бззз... — поминутно трещит сторотое чудовище-коммутатор, и Нин-Пална с усталой заботливостью опытной няньки, затыкает взывающую глотку соской — контактом.

Но у Роома телефона нет. У него нет даже собственного кабинета, если не считать кабинетом крохотную закуту, „а ту фер" в одном из досчатых бараков на фабричном дворе. На дверях такой закуты прибивается обычно бумажка с номером той с'емочной группы, которая оказалась энергичнее, сплоченнее и оборотистее других, и завладела данной закутой в свое безконтрольное, хотя и временное пользование. Каждый, даже самый заурядный член группы, считает себя полноправным жильцом такой закуты: в ней происходят читки ролей и сценариев, в ней гримируются статисты, в ней же постоянно „перекуривает" и толчется всякого рода посторонняя публика. Тут же помреж (в данном случае — я) сваливает на пол привезенные с Потылихи костюмы и бутафорию и тут же помощник оператора (в данном случае — Штосс) перематывает и просматривает архивную пленку в поисках какого нибудь самума или извержения Везувия. Одним словом — такая закута представляет собою котел, в котором варятся и из которого медленно, метр за метром, отцеживаются шедевры родной кинопродукции.

Но телефона у Роома нет. Все, что у него есть — это право послать своего помрежа к коммутатору, если предвидится какой либо особо важный вызов. Впрочем, и это право в значительной

степени обуславливается личными качествами и способностями помрежа: Нин-Пална развела на коммутаторе почти средневековую автократию, и в свои царственные покои допускает лишь своих непосредственных фаворитов.

Я — человек новый и для фаворита еще явственно слишком юн. В покои я был допущен скорее благодаря, хотя и царственному, но все же женскому любопытству. чем по каким нибудь другим соображениям. Теперь я стою, прислонившись к коммутаторному шкафчику, и всем своим видом стараюсь „не мешать“. Как и всегда бывает с женским любопытством, у Нин-Палны оно выражается в том, что говорит, главным образом, она, а я все больше отмалчиваюсь. Говорит она прерывисто, пересыпая свою речь специальной терминологией, относящейся, впрочем, не ко мне, а в трубку к неизвестным собеседникам.

— Ишь-ты, вон оно как! Значит Роомчик (в трубку: Да-а! Даю, шестнадцать!) обзавелся. значит (в трубку: Алло шестнадцать? Говорите!), так сказать новым человечком!? И как это вы решились? Вы. говорят, из загра... (в трубку. Алло, звуковая!)... из заграницы приехали? (в трубку: Да-а, 19—22—40, да-а, даю!) Вы случайно шелковых чу... (в трубку — Да! куда вы лезете?! Повесьте трубку, тут и без вас еще очередь стоит)... чулочек шелковых не привезли, случайно?

Я стою здесь уже около полутора часов, и до сих пор Нин-Пална ни на одну секунду не закрыла рта. Она бодро продолжает в том же духе, и так с обеда и до полуночи, когда ее сменяет некто Дуся — особа от Нин-Палны ничем существенным не отличающаяся. К концу рабочего дня главная нагрузка Нин-Палны заключается в сложном выборе между приглашающими пойти поужинать. Ибо — кому не лестно завести блат у всеведущей и вездесущей директриссы спинного мозга кинофабрики? Время от времени Нин-Пална, соединив два номера, производит какую то таинственную манипуляцию с

контактами и потом с минуту напряженно слушает Эти промежутки затишья в ее деятельности долгое время были для меня загадкой, но потом я сообразил: в эти минуты Нин-Пална прикладывала ухо к нервным токам кинофабрики, следила за биением ее сердца и обогащалась теми знаниями, за которые так ценилось ее благоволение.

После одной из таких пауз Нин-Пална еще на секунду задержала продолжение своей бурной служебной деятельности и взглянула на меня этаким лукаво-испытующим глазом. Не, знаю, в чем она хотела убедиться. Быть может, в рентабельности заведения со мною блата...

— Послушайте, мальчик! — сказала она (в то время я уже находился на той ступени умственного развития, когда наименование „мальчик“ еще, правда, не перестало быть обидным, но уже не носило характера смертельного оскорбления). — Если я вам одну штуку скажу, по хорошему, так вы не будете болтать, как сорока, направо и налево?

— Ммм... постараюсь!.. — ответил я таким тоном, как будто считал ниже своего достоинства доказывать мои, и без того всякому ясные, добродетели.

— Постараетесь? Да, да, Господи!! Алло? Да, Даю! Ну, если постараетесь, так скажите вашему Калюжному, чтобы он не валял дурака! Сценарий Горького самая большая работа в году, и для нее Басс ничего не пожалеет! Вчера Басс два часа говорил с самим Ягодой, а это что нибудь да значит! Сценарий получит Роом, и если Оська от него уйдет, так он дураком будет! Скажите ему это от меня, только смотрите, чтобы об этом никто — ничего! Поняли?

* * *

— Алло, Юрий Иванович! — поймал меня Роом на перебежке из одной двери в другую. — Куда вас черти носят?! Почему я вас каждый раз дол-

жен пять часов искать, когда мне чего нибудь нужно?! Вот, нате вам командировку, бегите к Натальману, пусть он вам выпишет путевку для получения литера, а потом поезжайте на Курский вокзал и возьмите Зольцману без очереди билет на Севастополь, третьим классом с плацкартой. Если он захочет первым ехать, так пускай сам доплачивает! Я ему не перекупщик! А потом, до восьми часов вечера я вас отдаю под распоряжение Зольцману: вы ему делайте все, как для меня! А после восьми, чтобы вы были у меня на квартире, мне еще нужно с вами кое чего поговорить! Ну, бегите, айда, айда!

Я посмотрел на командировочное удостоверение, сунутое мне в руку: „Дано сие режиссеру тов. Зольцману А. М. в том, что он командируется Гупр. Союзкино на южное побережье Крыма для подыскания типажа и предварительной разведки местности, для постановки национально-татарского фильма...“ и т. д., и т. д...

В восемь двадцать я погрузил Зольцмана — анемичного еврейчика, с тремя чемоданами и тюком подушек, в поезд Москва—Севастополь. Он долго ругался, что Роом, против договоренности, достал ему не первый, а всего лишь третий класс, но вскоре забылся в счастливом предвкушении „разведки местности“ на южном берегу...

„Пять Восходов“ остались, таким образом, в наследство Роому.

* * *

Поздно вечером, часов около одиннадцати, я сижу у Роома наверху. Роом только что вернулся с какого-то важного делового свидания, на каковом свидании дело, видимо, обошлось не без легкого вспрыскивания. Он явственно навеселе, и в этом состоянии больше всего напоминает пьяную ворону: тыкается повсеместно своим неарийским клювом, с блаженной бессмысленностью ухмыляется, и ру-

ками, как крыльями, пытается удержать свое весьма условное равновесие.

— Й-й-юрий Иваныч-ч... — начинает он, жестами механического робота, в самоуглубленном молчании, снимая пиджак.—Хе-хе-хе... Так и не могу никак понять — почему это вы — и вдруг Иванович? Ну, оставим, оставим!.. Я ведь понимаю, — вы ведь совсем не „вдруг", а уже целых... сколько? Семнадцать, кажется, лет — Иванович!.. Хе-хе-хе..

Он продергался марионеткой взад-вперед по комнате, потом подошел и стал прямо передо мной. Я сидел на диване, на котором проспал часик до его прихода, и сонными непонимающими глазами глядел на происходящее. Повидимому, не все доходило до моего сознания.

Он стоял, широко, но шатко, расставив ноги, и заложив большие пальцы рук под мышки, глядел на меня маслянистыми глазами. Что то демоническое светилось в них. Потом он самодовольно ухмыльнулся.

— Смотрите, смотрите, дорогой мой!—произнес он, поикивая на запятых. Запечатлейте себе эту картину на носу! Вы смотрите теперь на Абрама Матвеевича Роома — величайшего драматического гения всех времен и всех народов! Завтра, быть может, за то, чтобы на меня посмотреть, нужно будет платить деньги, или быть по крайней мере самим... ик... гениальным товарищем... ик... неподражаемым Алексеем Максимовичем!.. Вы теперь большой человек, Юрий Иванович! Вы даже сами не понимаете! Вы ведь теперь мой помощник! Вы знаете, что это значит?!.

# III

# Потылиха

## Междуцарствие



ЭТОГО момета я начал познавать, что значит быть секретарем и первым помощником, правой, так сказать, рукой великого человека. Это было одним из немногих моментов в моей жизни, когда я пожалел о том, что судьба свела когда то вместе моих отца и мать, организовав, таким образом, мое появление на свет.

Правда—страдная пора началась не сразу. Некоторое время — дней, приблизительно, пять—Абрам Матвеевич провел в экзальтированном самовосхищении. Он уже не носился шутихой по кинофабрике, не тараторил и даже почти перестал изливаться грозными ливнями на головы своих несчастных вассалов. Он медленно, походкой китайского бонзы во время священнослужения, прохаживался по фабричным коридорам, заглядывая без какой либо определенной цели в различные отделы, иногда пританцовывал под какой то, низливавшийся на него с небеси мотив, и даже не конфузился, когда кто-нибудь заставал его врасплох при этом странном занятии. Со слюнявых уст его не сходила блаженная улыбка, а в пивных его глазках отражалась вся глубина и синева олимпийских небес. Иногда, встре-

тив в коридоре кого-нибудь из своих благожелателей (каковых у него к этому времени развелось неожиданно много), он принимал позу игрока на биллиарде, у которого вся душа ушла в кончик кия, и, жуликовато подмигивая, говорил:

— От четырьех бортов в угол... э?!.. Вот это я называю—комбинация! — при этом он делал правой рукой удар невидимым кием и начинал пританцовывать. Благожелатель улыбался ему восторженной улыбкой, такой, какой улыбается человек своему партнеру по выигравшему лотерейному билету, долго обеими руками тряс его мохнатую конечность и говорил:

— Поздравляю, Абрам Матвеевич, от всей души поздравляю! Именно в ваших руках я и надеялся видеть такую грандиозную работу и т. д., и т. д.—Обычно такие излияния кончались тонким намеком на полную готовность со стороны намекавшего лечь костьми у ног Абрама Матвеевича, если тот, конечно, соблаговолит принять такую мизерную жертву...

Впрочем, в эти дни Абрам Матвеевич не слушал, что ему говорили другие. Он пребывал в состоянии какого то транса, и чувствовалось по всему его поведению, что если его бренная оболочка и привязана к серому и обыденному praesens, то мозг его порвал тенета времени, в которых копошатся простые смертные, и витает где то в сияющем и славном будущем.

Это были дни, немногие светлые окна в темном корридоре моей кинематографической деятельности, когда я был предоставлен самому себе и, втягивая носом весну, шатался по разбухшим салтыковским лесам. Отдавая Богово — Богови, а кесарево — кесареви, я вдруг потерял всякий вкус к одиночеству, и стал извлекать из своих шестнадцати с половиной лет то небольшое количество пользы, которое они приносят человеку.

Впрочем и это мирное занятие не отличалось тургеневской чистотой и бездумностью. Над голо-

вой, дамокловым кирпичем, висела перспектива нашего побега заграницу, который представлялся мне чем то вроде полета на Марс в новоизобретенной ракете: бис его знает — а вдруг в астрономические вычисления вкралась какая нибудь ошибка!.. Потом иди, доказывай, что ты не верблюд. Впрочем — я не был против побега. Я только считал, что шансов на его успех еще меньше, чем в рулетке.

Я шил рюкзаки и прочее походное снаряжение, ездил на Сухаревку добывать всякими неправдами порох, пистоны' и свинцовый лом, из которого можно было бы нарубить сечку,*) и старался по мере возможности не философствовать на тему о том, что дано знать одним лишь хиромантам и звездочетам.

* * *

Калюжный в эти дни находился в состоянии мрачного раздумья. Зайдя к нему как то от полноты весенней лени, я застал его лежащим на диване в одних штанах и лимонно-желтом войлочном сомбреро, таком, какие носят американские кинозвезды, околачивая груши на Пальм-Бич. В левой руке Калюжный держал прошлогодний отрывной календарь и обрывая листок за листком, мрачным басом бормотал:

— Плевать—не плевать, плевать—не плевать... — и т. д.

При моем входе он предостерегающе поднял палец в знак того, чтобы я его как нибудь не сбил со счета. На календаре еще оставалось сантиметра два необорванных листиков, так что мне пришлось прождать минут около десяти, пока не подошла очередь к тридцать первому декабря.

*) Свинцовые обрезки, заменяющие картечь.

— Плевать! — вскричал Оська, и с той неожиданной ловкостью, с которой толстые и огромные люди поворачиваются вокруг собственного центра, выпрямился на кровати. — Плевать! — он посмотрел на меня взором сумасшедшего, который заподозрил своего собеседника в недоверии. — Плевать!... Ты что думаешь мне не плевать? — угрожающе спросил он.

— М-м... Почему бы и нет? — произнес я, начиная догадываться о смысле происходящего.—Все, конечно, зависит от того, куда плевать и по какому поводу. Ежели, например, в потолок.

— Бэ э, в потолок! — Оська скривился в маску китайского демона. — Абрашке в рожу! Так, чтоб ему дух вышибло! Штоб он к стенке прилип и не мог отлипнуть! Штоб его!..

— Пшшш!—прервал я,—п-шшш! Куда это вы так разбежались?! И чего это вы теперь вдруг вздумали, когда у Роома уже все на мази?..

Оська, все с той же сумасшедчинкой в глазах, отпрянул к стенке. Потом он вскочил и, заложив руки по самые локти в бездонные карманы своих штанов, напоминавших внешним видом пустую оболочку воздушного шара, забегал из угла в угол по комнате.

— Плевать—не плевать, плевать—не плевать, — забормотал он, все повышая голос до почти истерической нотки,—плевать—не плевать... Куды-ж мне деваться, Господи! — и он со стоном снова бросился на диван.

— Юрка, сукин сын,—начал он через минуту, не слыша от меня даже сочувственных реплик, — скажи ты! Устами младенцев глаголет истина! Скажи хоть ты, вражья душа! Пусть другие — грешные сволочи! Им не дано! Но ведь тебе Бог верит! Ты-ж чистая бэбэшка, говори, что тебе твое невинное сердце бормочет! Ну!?

## Советский Холивуд

Деятельность началась внезапно и бурно, как извержение Везувия. На пятый или шестой день вынужденного бездействия, когда я, после нескольких бесплодных попыток добиться от Роома хоть какого нибудь вразумительного поручения, остался, наконец, просто сидеть дома — я вдруг поздно вечером получаю в Салтыковку телеграмму, вызывающую меня немедленно, да еще не куда нибудь, а прямо на Потылиху.

* * *

Потылиха — небольшое село немного выше Москвы по течению Москва-реки — это, так сказать, — советский Холливуд. Там, на огромном участке земли, расположено или, точнее говоря, раскидалось здание главной кино-фабрики Союзкино, с пристройками, ангарами, напорными башнями и, конечно, тоже со своей контрольной будкой. Участок, как лагерь военнопленных, обнесен колючей проволокой и представляет собою какой то неравномерный пяти- или шестиугольник, метров около восьмисот по диагонали. Если посмотреть на фабрику со стороны и невооруженным взглядом, то она производит впечатление одного из тех бесформенных морских чудовищ, которые пекутся, как пирожки, жаждущими мира державами. Какое то серое. распластавшееся по горизонту, нагромождение переходящих один в другого прямоугольников, кубов и полуцилиндров, местами окутанное клубами дыма и пара, оплетенное антеннами и как бы всем своим видом скандирующее одно единственное грозное слово: „Ж-железобетон!“...

Человек, строивший Потылихинскую кино-фабрику, был, если не архитектурным, то во всяком случае архитектурно-трюковым гением. Говорят, что гении все немножко свихнувшись...

На Потылихе нет этажей. Вы никогда не знаете—нужно ли вам для того, чтобы попасть из комнаты № 149 в комнату № 556 подняться на несколько ступенек или спуститься на несколько саженей. Если вы не принимали непосредственного участия в постройке фабрики или в вычерчивании ее чертежей, вы никогда не будете знать уровня, на котором вы находитесь по отношению к другим частям здания, и никогда не найдете дороги туда, куда вам нужно, даже если вы движимы наивластным из всех природных инстинктов; пройдя по узенькому корридорчику и нырнув в маленькую невзрачную дверку, вы вдруг оказываетесь в цепелинном эллинге, купол которого теряется в сумрачном сплетении осветительной подвесной и декорационной арматуры. Здесь ад вольтовых дуг и гудящих „юпитеров“, джунгли проводов и лесов декораций, здесь языческий свист техперсонала прожигает охрипший, надрывной бас режиссерских рупоров, здесь гогочут орды аляповато загримированных статистов и, как души в загробном мире, слоняются смертельно бледные „проминенты“ с тем, чтобы на минуту ожить перед неумолимо-черным глазом общего божества — кино-аппарата и потом разбитыми уйти в свою уборную до следующей с'емки. Этот эллинг — тот мартен, который переплавляет в общую бесформенную массу человеческую фантазию, человеческие пот и честолюбие, волю и проклятия, жадность и страх и в котором такие летучие тела, как честность или сочувствие, привязанность или жалость, взрывоподобно испаряются, унося иногда с собой и жизни тех, кто их сюда принес. Сатана тут правит бал. Это — ателье кино-фабрики.

## Так называемые пути сообщения

Я не знаю точной статистики, но смею думать, что на Потылихе ежедневно работало, бегало по делам и просто околачивалось не менее двух тысяч

человек. Когда я приезжал на Потылиху, мне всегда казалось, что здесь где нибудь, в каком нибудь внутреннем храме, хранится какая-то чудотворная святыня, и мой приезд случайно совпал с праздником, на который стекаются паломники из половины христианского мира.

Но чего я никогда не мог постигнуть, это были те пути, по которым вся эта масса святых пиллигримов сюда попадала. Потылиха была отделена от остального цивилизованного мира Москва-рекой с единственным в этом месте железнодорожным мостом, по которому пешее хождение не рекомендовалось властями предержащими. Со стороны Воробьевых гор сюда вела одинокая и пустынная дорога, оживлявшаяся только редкими и шумными появлениями автобуса номер девять, отходившего с Тверского бульвара по строго конспиративному расписанию и не всегда, за качеством советской продукции, до Потылихи доходившего. Кроме этого бензинно-конного средства сообщения, в периоды открытой навигации, связь Потылихи с центрами населения поддерживалась еще, так сказать, морским путем: по Москва-реке с медленной неуклонностью черепашьего аллюра вверх и вниз ползал так называемый „речной трамвай". Это редкостное завоевание человеческого гения имело такой успех среди населения, что молва стала связывать с ним мрачные легенды о русалках, утопленниках и летучих голландцах. Его называли „Ладьей Харона", говорили, что вдохновение к своей балладе „В синем и далеком океане" Вертинский нашел именно в этом московском речном трамвае:

— „Плавают в сиреневом тумане
старые, седые корабли...

или:

— „Утром их слепые караваны
Тихо опускаются на дно..."

Si non è vero... Я во всяком случае не знаю лучшего поэтического описания этого вида тран-

спорта, не имеющего прецедентов в истории мирового судоходства...

Ибо нужно принять во внимание, что, кроме кинофабричного гарнизона, Потылиха обладала еще и штатским населением, каждой душе которого предоставлялось удовлетворять свои человеческие потребности в Москве.

В связи с этим, утренние экземпляры речного трамвая редко доходили до Москвы, а вечерние — до Потылихи. Они либо предпочитали обслуживать более краткие и более перенаселенные отрезки своего маршрута, либо выходили из строя, либо, „вследствие чрезмерного скопления пассажиров на бакборте", выворачивались вместе со всем своим содержимым в хладные струи Москва-реки...

* * *

Телеграмму Роома я получил около восьми вечера. Крестный путь до Тверского Бульвара занял у меня часа полтора-два. Автобус номер девять не имел строго определенного места стоянки: было только известно, что он приходит на Тверской Бульвар, куда то в окрестности памятника Пушкину, где его и подстерегали пассажиры, раскиданные цепью, как бушмены при охоте на слона.

Моросил косой дождь, капли которого, попадая на очки, придавали калейдоскопические очертания тусклым московским фонарям и заволакивали автобусные перспективы пеленой непроглядного тумана. Но на душе у меня была та решимость отчаяния, которая, должно быть, охватывает человека, когда он, осеняя себя крестным знамением, сигает в седые валы океана с мачты уже погрузившегося в воду судна.

Я не знаю, сколько времени я провел в ожидании. Не возлагая излишних надежд на свой охотничий опыт, я не расчитывал самостоятельно различить, при данных атмосферных условиях, силуэт

приближающегося автобуса и больше наблюдал за действиями других моих конкуррентов-загонщиков. Несколько раз ложная тревога срывала кого-нибудь из них с места, и тогда другие, ревнивым оком охранявшие каждое его движение, бросались вслед за ним, попадая на пути под каскады брызг, взрывавшиеся под колесами автомобилей, или опрокидывая в грязь Божьих старушек, буде таковые попадались под ноги.

В конце концов, часов около одиннадцати вечера, после краткой, но отчаянной схватки у поручней подошедшего все-таки автобуса, я был втиснут человеческим потоком в узкое пространство между чьей-то спиной и снопом из трех киноаппаратов со штативами. Заполняя собой все свободные от человеческих тел промежутки, в воздухе нависал густой мат вперемежку с махорочным дымом и бензиновой вонью.

Когда автобус подвергался особо тяжким превратностям мостовой и содержимое его, как коктейль в шэйкере, переваливалось от одной стенки к другой, из-за связки аппаратов доносился душераздирающий вопль о спасении. Случайно заглянув в узкую щель между ножками одного из штативов, я увидел в ней странно знакомые очертания чьего-то носа и подбородка. На одной из особо свирепых колдобин, когда аппараты качнуло влево, а меня вправо—занавес поднялся и ситуация прояснилась.

— Мачере-ет!... — вскричал я с той радостной интонацией, которая звучит в голосах немецких старых дев при обращении их к своим бесценным четвероногим спутникам жизни: Aber Pupsi!. .

Ибо это был Мачерет, мой старый знакомый (для кого он впрочем не был старым знакомым), бывший заведующий „Красной Звездой“ — клубом советской колонии в Берлине.

С Мачеретом нас связывало то странное чувство взаимного тяготения, которое должно, быть, связывает магометанских хаджей, побывавших в Мекке: оба мы, несмотря на разницу в возрасте, лет

этак в двадцать пять, чувствовали какую то товарищескую спайку, ибо принадлежали к клану бывших членов советской колонии в Берлине. Мы приехали в Берлин почти одновременно и также одновременно были оттуда из'яты. Моя мать служила тогда в самом торгпредстве, а Мачерет состоял на хлопотливой и неблагодарной должности заведующего советским клубом на Дессауерштрассе. Клуб назывался „Красной Звездой" и в славные мачеретовские времена умудрялся как то оградиться от той специфической сухотки спинного мозга, которой хронически страдают прочие советские клубы.

Во времена Мачерета в „Красной Звезде" можно было поиграть в шахматы или постукать в пинг-понг, минуя обычные в таких случаях обрядности — „пяти минут политграмоты", можно было стрельнуть в читальне какой нибудь буржуазный романчик, не взваливая на свои плечи „принудительного ассортимента" из пяти томов Марксо-Ленино-Сталинской жвачки. Даже в тех случаях, когда на вечер назначался какой нибудь спектакль, не обязательно было являться на предшествующее ему собрание. Двери в зал оставались открытыми, так что собрание можно было переждать где нибудь внизу, в буфете или в спортивном зале.

Не знаю, что стало с клубом после ухода Мачерета. Но думаю, что о его демократическом образе правления с благодарностью и сожалением вспоминаю не я один.

Мачерет принадлежал к той одесской разновидности homo sapiens'а, которая сама живет, дает жить другим, никаких законов и предписаний всерьез не принимает и вообще считает, что жизнь дана человеку для извлечения из нее максимума собственного удовольствия. Для выступлений своих синеблузников*) он сочинял и компонировал несложные, но веселые и задорные песенки и с ними, го-

*) Передвижные вокально-акробатические труппы, составлявшиеся из любителей — рабочих и служащих.

воря словами советского шлагера, „шагал по жизни“. Для оживления клубного Betrieb'а он устраивал всякие, самые разнообразные, кружки и дошел до такой смелости, что приглашал в них немецких преподавателей, лекторов и инструкторов. Кружки эти, вопреки советской традиции, охотно посещались торгпредской публикой и даже нередко приносили посещавшим практическую пользу: в одном из таких кружков я, например, сравнительно неплохо выучился писать на машинке и даже собирался изучать стенографию. За неосведомленностью я умолчу о тех сливках, которые слизывались Мачеретом с ассигнованных на содержание клуба сумм: не мне вести счет советским денежкам. Но должен все же сказать, что недолизанный остаток он использовал толково и без стремления нажить себе на нем карьерный капиталец. А для советских нравов — и за это спасибо!

Факт встречи мною Мачерета со связкой кино-аппаратов в руках не поверг меня в изумление: будь у него в руках китобойный гарпун или скипетр готтентотского царька, я бы также, не сморгнув глазом, приветствовал в его лице минувшие золотые денечки, которым он был свидетелем. Ибо, поскольку я знал Мачерета, не было в мире такой профессии, за которую у него не хватило бы совести взяться, с тем, чтобы выколачивать из нее средства к поддержанию своего бренного существования. Остапа Бендера*) я знавал издавна, только мы его тогда почему то называли Мачеретом.

— Солоневиченок! — раздался ответный клич в том же тоне, что и мой приветственный возглас.

— Не говори мне,
какие ветры
сюда пригнали
твой рваный парус!.. — стал он тут же цитировать свое собственное произведение.

— Если я еду на Потылиху, то почему на ту же Потылиху не могут ехать и другие люди?! Впро-

*) Герой известной книги Ильфа и Петрова „Двенадцать стульев“.

чем — неужели я сам себя не ошибаю и вы... как вас теперь... для тыкания вы как будто переросли предельный возраст? Так неужели и вы теперь... — он ухватился за свои аппараты как раз в тот момент, когда они проявили намерение выскочить в разбитое окно автобуса, — неужели загребла экранная лихорадка?!.. Вы—что теперь: советский Эмиль Яннингс или так себе?..

— Так себе... — ответил я. — У Роома помрежем. А вы?

— У Роома... — протянул Мачерет. —М-м-да... Это действительно — так себе... Я? — Я, ничего... Я так — кручу, верчу, накручиваю! — Вот, скоро фильмчик будем крутить. Но как же вы? Вы ведь, насколько я понимаю, — ни бельмеса... Впрочем — если я ни бельмеса, то почему бы вам понимать не ни бельмеса?

— Оператором? — перебил я.

— Какой — оператором! — отмахнулся Мачерет с таким видом, будто я его принял за американского президента. — Режиссером! Вы знаете, что такое режиссер? Режиссер — это собака в кегельбане! Режиссер — это хуже, чем собака; собака с Бассом дела не имеет. А вы знаете, кто такое— Басс? Басс — это человек, которого волки загнали на дерево. А я к нему за ордерами бегаю: так он мне оттедова по гишпански. Вы знаете, что такое по гишпански? Впрочем вы — еще молодой человек, неоткуда вам знать такие вещи...

— Разрешите мне принести вам мои соболезнования! — ответил я.—А вы знаете кто такое Роом?

— Зна...

— *Не* знаете! Если бы вы знали — вы бы сейчас рыдали надо мной, как мать над погибшим сыном! Вот он меня сейчас гонит в полночь на Потылиху, так, вы думаете, к тому времени, когда я туда попаду, — я его еще там застану? Чорта-с! Эта зануда гоняет меня взад-назад, как лошадь в манеже!.. Интересно, как *вы* обращаетесь с *вашими* помощниками, буде таковые у вас имеются?

— Ох, имеются!.. — вздохнул Мачерет. —

Только обращаюсь с ними не я, а они со мной обращаются...

Через некоторое, довольно продолжительное время, пока задумавшийся автобус завернул в подорожную деревеньку набирать бензину и пока шоффер выяснял в ночной темноте свои отношения с каким то мимохожим мильтоном, картина настоящей и будущей деятельности Мачерета выяснилась для меня, как контрастный негатив при проявлении. Выяснилось, что он получил для постановки боевой полнометражный фильм „Дела и люди“ из рабоче-спецовской жизни, но, не страдая болезненным оптимизмом, сохранял за собой на всякий случай свою старую работу по классификации почтовых марок в филателистическом музее при Наркомпочтеле. Тот факт, что ко времени начала непосредственной с'емки (а начаться она должна была со дня на день) ему, повидимому, придется оставить свои марки, приводил его в удрученное состояние.

— Видите ли, — говорил он, морщась от дыма сидевшей где-то в усах папироски, — марки — штука хорошая. Почти, можно сказать, идеальная штука: наклеишь три марки в день, а с четвертой обратишься к компетенции зава музеем. Зав музеем сам в марках — ни бельмеса, даже латинского шрифта не знает, вот он и пошлет вас в публичную библиотеку или к кому нибудь из московских крупных знатоков. А знатоки сами марки собирают, так что я для них — полезнейшая личность! Кто там проверит — были ли выброшенные в корзину марки дублями в коллекции и стоили ли они вообще чего нибудь?.. А один знаток, Мерягин тут такой есть, в Моссельпроме работает контролером, — так он мне такие ордерочки на всякие там костюмчики и прочее достает, что я, знаете ли, совсем таки бешеным филателистом стал! Да-а... — добавил он в таком тоне, в каком сентиментальные люди говорят об усопшем друге. — Жаль мне марочек!..

Он снял предохранительный колпачек с об'ектива одного из аппаратов и заглянул в его черную

глубину, как персидский гадатель — в хрустальный шар, как бы пытаясь увидеть там отображение своего будущего.

— А это, — он заботливо отер рукавом забрызганную грязью никеллированную ручку аппарата, — это... Нет, люблю я искусство, Солоневич, люблю искусство!.. Ведь что мои синеблузники — что, плохая была команда? Не дай Бог Мейерхольду такую команду сколотить — он, как жаба на болоте, зазнается! А с вами мы еше что нибудь выдумаем! — неожиданно закончил он в ответ на мои стенания и жалобы на горькую свою судьбу. — Вот начнем фильмчик крутить — как пить дать, выдумаем!

* * *

Ночью фабрика представляла собой, если не феерическое, то, по советским масштабам, во всяком случае занимательное зрелище. Незаметные днем стеклянные крыши ателье, каким то невиданным самоцветом в оправе из мелких брилльянтиков лучились голубым, розовым, желтым, зеленым светом, вырезая из темноты клубы фабричного дыма и подергивая низкие облака мигающим заревом. Проседь дождя над крышами казалась искорками над бокалом шампанского, а внизу черно-лиловые силуэты деревьев метались по ветру, как жрицы в экстазе священного танца...

Впрочем — это лирика. В резко освещенной и до ста атмосфер накуренной комнате, где-то между какими то этажами, я, после часовых поисков, к немалому своему удивлению, все же обнаружил Роома в кругу каких то неведомых мне, смертному, богов и полубогов советской кино-индустрии. Здесь, с неподражаемой комфортабельностью разместив в кожаном кресле свои телеса, глодал свои пухлые пальцы сам Басс, здесь же пристроился на краешке стола Киршон — идеологический

воротила советской кино-промышленности и, угрожающе сверкая лысинами, блокировались в бездонном диване братья Васильевы с Авербахом из ГУК'а (Главного Управления Кинопромышленностью). Несколько менее крупнокалиберных типов стояли, сидели и перемещались по диагоналям.

Судя по накуренности пейзажа и стоном стоявшему в корридоре гвалту, я определил, что разговор здесь шел по меньшей мере „всерьез".

Открыв дверь, я на секунду задержался, отчасти испуганный деловой обстановкой этого высокого собрания, отчасти, чтобы убедиться в присутствии здесь моего покровителя. Покровитель не замедлил дать о себе знать:

— Пшшш!!! — зашипел он на меня, как будто я своим бестелесным появлением мог хоть на иоту заглушить иерихонские вопли присутствующих. В позе римского боевого орла он вцепился руками в сидение слишком для него высокого стула и, поджав под сидение ноги, с очумелым видом вертел во все стороны головой. Повидимому, я был единственным из всей компании, на кого он чувствовал себя вправе более или менее безвозмездно пошипеть, что, очевидно, сильно облегчило его душевное состояние. Он потряс в моем направлении рукой в знак того, что момент публичного растерзания меня в клочки он, за неимением в данную минуту времени, откладывает на потом, и чтобы я пока расплылся в воздухе или сморщился до минимальных размеров, дабы не смущать своим плебейским видом высокого собрания.

Устроившись в уголке, на каком то ящике с иностранными клеймами и приняв защитную окраску, я стал вслушиваться в происходящее, как заядлые радиолюбители вслушиваются в пять разом галдящих станций.

— Пятьсот шестдесят тысяч, иначе мы зарежем весь производственный план! — орал фыркая Киршон. — Кого тогда ГПУ сажать будет?! Если ГПУ хочет Горького — нате вам Горького, только

пусть дают ассигновки, или мы будем пересматривать план!

— Чего там пересматривать, когда план уже утвержден ГУК'ом и половина денег уже распределена! — вторили ему хором братья Васильевы. — Если мы заплатим миллион — так это значит закрывать лавочку и распускать все постановки на лето и осень!

Зажатый между братскими силами, Авербах беспомощно ворочал растопыренными ладонями:

— Если того требует генеральная линия нашей партии, — стрекотал он фальцетом, — ГУК может пересмотреть что угодно! Если мы получим соответствующее предписание...

— Да и пятьсот шестьдесят тысяч — это значит зарезать минимум восемь мелких постановок, — колыхался чей то незнакомый бас. — Ведь дело не в рублях, а в метрах пленки, в аппаратуре, в инвентаре! Ведь вы не будете крутить Горького на советской пленке А заграничную вы что — рожать что ли будете? Пускай ГПУ возьмет у Совкино, или у Ленгоскино, или у крымских лодырей, пускай оно возьмет у них на собственные нужды пятьдесят тысяч метров! Тогда хватит!

— Чорта с два у Роома хватит! — вмешался какой то человечек, по интонации которого я заподозрил в нем пресловутого Балду Бановского. — У него отбросы продукции девяносто процентов. Он вам на тысячу метров десять тысяч в макулатуру сдаст! Копировать-то на чем будете!

Тут уже взвился, пребывавший все это время в относительном молчании, Роом. В течение всего этого времени он судорожно извивался на своем шестке, ежесекундно порываясь вскочить и время от времени издавая какие то глухие гортанные звуки. Диверсия Балды-Бановского произвела короткое замыкание, и он вылетел на арену, как мексиканский бычок после соответствующей подготовки красными тряпками.

Захлебываясь, визжа и обдавая присутствующих слюной, как в странах капиталистического гнета пожарный автомобиль — рабочих демонстрантов, он стал изрыгать полу беспредметную хулу на голову своего соперника. Я почувствовал, что равновесие роомовской души было нарушено еще задолго до моего появления, а замечание относительно процентной нормы брака в его творчестве было лишь последней шпагой, вонзившейся в его плешивую мексиканскую шею. Хула, за полной своей невнятностью, не содержала каких либо конкретных обвинений, но она явилась тем кризисом в общем все нароставшем и углублявшемся гвалте, после которого разговор втекает в зеркальные воды озера Молчания.

— М-м... Хорошо!.. — произнес Басс, перестав питаться собственными пальцами, когда Роом, обессилев, опустился обратно на свой насест. — А не считают ли товарищи, что было бы целесообразно выслушать мнение по всему этому вопросу самого товарища Лодыженского? Мне кажется, что мы тогда скорее придем к какому нибудь конкретному решению!

Все головы, подобно головам зрителей на теннисном матче, обратились в противоположный угол комнаты, где я впервые за все время моего присутствия обнаружил низенького, но плотного человека в гороховой форме с двумя ромбами на красных уголках его кардинальски-скромного френча.

— Товарищ Лодыженский, вы как считаете? Вы, по всей вероятности, располагаете какими-нибудь более или менее определенными инструкциями?

Секунд пять царило молчание, во время которого Лодыженский, скривив бровь, оглядывал присутствующих, как бы убеждаясь в том, что меркантильные разговорчики закончены и что время для произнесения высочайшего вердикта, наконец, наступило. Секунд пять молчания — которые были даны присутствующим, чтобы оценить всю суетность и мелочность их собственных желаний и чаяний.

Потом Лодыженский встал и, подойдя к письменному столу, мучительно-долго тушил папироску в осколке гранаты.

— В-видите ли, товарищи, — начал он, морщась от предсмертного дыма папиросы. — Должен прежде всего несколько выправить общие положения нашего сегодняшнего разговора... — он, щурясь, посмотрел на двухсотсвечную лампу, висящую с потолка, как бы концентрируя в ней свои мысли. — Должен прежде всего заметить, что все вы, товарищи, и тов. Басс в том числе, сильно недооцениваете политическое значение сценария № 63 Алексея Максимовича Горького. Из слов некоторых высказывавшихся товарищей я вынес заключение, что вы совершенно правильно видите в этом сценарии новый шедевр нашего кино-драматического искусства, новое творение нашего великого пролетарского писателя, Алексея Максимовича, которое должно, конечно, подвергнуться обработке всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Я полагал, однако, что ознакомившись с содержанием сценария, вы должны были бы оценить также и всю важность трактуемого социального заказа, для которого финансовые затруднения не представляют собой столь крупной преграды. . .

— П-простите, товарищ Лодыженский, — перебил его Басс, поддерживаемый сдержанным ропотом заседающих масс. — Нам... Мы очень не хотели обращаться к вам по именно этому вопросу, но мы еще до сих пор не получили даже конспекта будущего сценария, так что... откровенно говоря...

— Не получили?! — опешил Лодыженский. — Значит, вы даже еще не знаете содержания сценария?!

— Понятия не имеем! — ответило хором почти все собрание.

— Это как кто не имеет понятия! — вмешался Роом, — Я имею! Я знаю, что сценарий будет из детской жизни. Это будет большой детский фильм о том, как растет наша молодая смена. Ко-

нечно, это имеет огромное политическое значение! Я не понимаю, как это...

— Из чего? Из детской жизни? — раздраженно переспросил Лодыженский. — Ну да, если хотите, это можно назвать детской жизнью. Сценарий будет говорить о перековке воров и беспризорников в честных советских граждан. Это будет вторая „Путевка в жизнь“, только больше, колоритней и вообще значително лучше „Путевки“! Этот фильм должен будет показать, как ГПУ заботится о своем наследии от проклятого царского режима, как оно перевоспитывает свихнувшихся людей, делая из них...

Лодыженский зарядил... В те времена я еще не успел на собственном эпидермисе почувствовать и оценить отеческой ласки и заботы этого трогательного учреждения, но чтобы человек так нагло врал прямо в лицо десятку других советских пройдох — это я переживал в первый раз в моей жизни и, признаться, немного обалдел.

Посыпались вопросы, возгласы восторга, внушенного раскрытой перед слушателями панорамой Большевской коммуны райского филиала на земле, предназначенной для так называемого „социально-близкого“ элемента“. У Роома от неожиданного счастья в зобу дыханье сперло, и первое время он только сидел и торжествующе-бессмысленно ухмылялся. Потом и он стал галдеть, соперничая с другими.

Однако, когда возбуждение улеглось, и перед высоким собранием с достаточной степенью ясности выявилась заинтересованность во всей этой афере самого ГПУ, Лодыженский наморщил брови и заявил, что ГПУ предлагает Союзкино выделить из своих фондов для постановки сценария № 63 миллион рублей. Остальные расходы в случае, если они превысят эту сумму, ГПУ берет на себя.

Это мне немного напомнило строфу из Сельвинского:

..."Теперича наш анархицкий сход,
который есть за вас в боях закаленный,
вынес: просить от вас миллиона,
а то — очень масса пойдет в расход!..."

На этот раз миллион не вызвал никаких возражений или протестов. Киршон даже весело хлопнул в ладоши и заявил, что для такой чести, как постановка сценария Горького, Союзкино не поскупится зарезать несколько там пустяковых фильмишек. Поднялся было вопрос о том, каким именно "фильмишкам" предстояло быть зарезанными, но Басс поднял свою отрезвляющую десницу, заявив, что этот вопрос может быть решен только на особом заседании с участием фин-, хоз- и планового отделов.

Дождавшись этого момента, Роом, вертевшийся на своем стуле со все нароставшей нервозностью чорта перед заутреней, вскочил и, произведя несколько обходных маневров, никем не замеченный, скользнул за дверь. Повидимому эта его акция была зарегистрирована только мной и товарищем Лодыженским. У товарища Лодыженского не было ни стальных глаз, ни квадратной челюсти, но по узкому его крысьему лицу чувствовалось как то, что икни кто нибудь из присутствующих, или упади у кого нибудь волос с головы, он бы и это заметил, сделав соответствующую отметку в своем кондуите. Собирая со стола бумаги в небольшой сафьяновый портфельчик, он о чем то спросил подошедшего к нему Басса. При этом он указал глазами на пустой роомовский стул, а выражение лица у него было удивленно-вопросительное. Стоя спиной ко мне, Басс пожал плечами и повертел в воздухе рукой как бы ссылаясь на Всевышнего. Потом он наклонился к уху Лодыженского и, судя по движению его губ, губ пожилого и видавшего виды херувимчика, стал ему что-то быстро-быстро бормотать. По игре бегающих Бассовских глазок чувствовалось, что предметом разговора является личность Абрама Матвеевича. На лице Басса было написано то трагическое недоумение, которое бывает на лице содержателя захолу-

стной мексиканской таверны, когда придирчивый гость проклинает его за качество поданной ему малаги.

Чувствовалось, что Роом не произвел на Лодыженского чарущего впечатления.

Наступило нечто вроде небольшого перерыва. Нечто вроде перерыва, когда депутаты разбредаются парочками по кулуарам, чтобы обсудить мировые вопросы в частном порядке.

Лодыженский, в почтительном сопровождении Басса, застегнул на все крючки свою кавалерийскую шинель и вышел. Басс скоро вернулся и был сразу оккупирован Киршоном. Братья Васильевы „взяли в серединку" какого то неизвестного мне типа с глазами профессионального растратчика и, ухватив его, каждый за одну пуговицу его рыжей кожанки, стали ему с обоих сторон что то яростно нашептывать. Впоследствии я узнал, что этот тип был помзавом финотдела. Помзав лукаво косил глазами то в одну, то в другую сторону, потом поднес руку к подбородку и с оттяжкой щелкнул себя по адамову яблоку. При этом он указал большим пальцем куда то в пространство, следуя по каковому направлению человек с обостренным чувством стереометрии набрел бы на фабричный буфет Имея блат у зава буфетом, там с десяти часов вечера, т. е. с того времени, когда разбредался по домам завистливый фабричный плебс, можно было „раздавить мерзавчика" и закусить фаршированными баклажанами в соусе из серной кислоты. Братья Васильевы не заставили себя уговаривать.

Я сидел на своем ящике, чувствуя себя Одиссеем среди циклопов. Что будет, если кто нибудь из них, случайно повернувшись, наступит на мою тщедушную фигурку?.. Это было причиной того безотчетного страха, который овладел мною, когда с мыслящим видом сидевший Балабановский внезапно заинтересовался моей персоной.

Подойдя ко мне на расстояние, с которого знатоки рассматривают картины в музеях, он рас-

ставил ноги и, скривив на бок голову, оглядел меня, как петух — жемчужное зерно. Я подавил в себе рефлекторное желание смыться и, сконфузившись, как дева, ответил ему долгим, томным взглядом из под полу-опущенных ресниц.

— А вы, собственно, кем являетесь, молодой человек? — проскрипел он тоном запасного генерала, собирающегося распечь юного корнета за неотдание ему чести на улице.

— Я?.. М-м-м... Я, так сказать... нечто вроде помощника у режиссера Роома, — с робкой непринужденностью ответил я.

— Что значит „так сказать, нечто вроде?!“ — взмылился он. — Или вы помощник, или вы не помощник! „Так сказать, нечто вроде“ не бывает!

Он повернулся ко мне спиной, но потом, отойдя шага на два, снова, прищурившись, глянул на меня как бы взвешивая — стоит ли потратить на меня еще несколько своих драгоценных слов.

— Это про вас мне говорила тов. Владимирская, что вы собираетесь поступить в ГИК? —

— Должно быть' про меня, — ответил я.

Лицо Балабановского расплылось в кривенькую улыбочку.

— Г-м... Так значит, мой, так сказать, будущий ученик?

Большим минусом в моем характере является способность попадать, в погоне за красным словцом, в самые отчаянные комбинации...

— „Так сказать, учеников“ не бывает, товарищ Балабановский! — ответил я, лишь под конец фразы соображая, что я, собственно, делаю. Ибо, если Балабановский был профессором в ГИК'е... Циклопий недоросток сразу вырос в моих глазах до величины нормального, хорошо развитого циклопа.

К моему удивлению, однако, циклоп в ответ на мою наглость не проявил желания растереть меня пяткой в порошок. Наоборот.

— Хе-хе! — ответил он, мило осклаыбившись. — Да, но вы, пока что, не более, как только „так сказать“ ученик, насколько я понимаю! Э?

— А, да! В этом отношении, конечно! Вы там разве преподаете в ГИК'е? — глупо улыбаясь, не нашел я сказать ничего лучшего.

— Да-а... Можно сказать, преподаю! — с игривой гордостью ответил Балабановский. — Вы на какой курс метите?

— Думал — на режиссерский, или на сценаристский.

— Тэк-тэк... он — посмотрел на меня с тем соболезнующим любопытством, с каким смотрит человек на муравья, пытающегося выбраться из банки с чернилом. Мне на секунду даже показалось, что он что-то обдумывает. — Ну, когда будете подавать — загляните ко мне! Может, я вам еще пригожусь! — и Балабановский, отвернувшись, оставил меня вариться в собственном недоумении.

Роом вернулся, когда публика уже расходилась. В руке он держал пачку развевавшихся по ветру заполненных печатных бланков, на верхнем из которых я успел прочесть слово „Наряд". Вид у Роома был рыскающий, как у шакала на поле брани.

Узрев Басса, запиравшего в этот момент ящики своего стола, он подлетел к нему, как галантный хлыщ подлетает по паркету к даме, и с ловкостью привычного секретаря расположил свои бумажки перед ним на столе.

— Вот, Исаак Евгеньевич, будьте такой любезный, у меня уже все выписано — вам только подмахнуть! У меня уже, собственно, неделю тому назад все было готово, но вы знаете, я никогда не люблю начинать с официальностей! Я всегда сделаю сначала дело, а потом только, когда уже без этого не обойдешься...

— „Пять Восходов"... Ателье, Гардеробная, Токоснабжение... — недоуменно прочел Басс, перелистывая наряды. — „Тихий Дон"... Ателье, Гардеробная... — он взглянул он Роома. На лице его было написано замешательство младенца, у которого вырвали соску изо рта. — Но вы-ж не собираетесь уже начинать?

— Э-э, да я уж давным уже давно начал! — хвастливо хихикнув, отвечал Роом. — Чего-ж я буду канителить?! Разве-ж в наше время можно канителить? В наше время нужны дела, а не слова, как совершенно правильно сказал товарищ Сталин! И потом, вы же, Исаак Евгеньевич, сами говорили, что с этим делом нужно как можно скорее!..

— Да, да... Так то оно так! — замялся Басс. Только вот... в связи с сегодняшним решением... Может быть нам придется. И потом, ведь вы уже берете на себя три фильма, Абрам Матвеевич! Зачем вам так много? Ведь вы же не справитесь! Ведь, если вы...

— Ну, нет в этом-то отношении, я готов за Абрам Матвеевича поручиться! — внезапно раздался скрипучий голос Балабановского. — Справиться то он с чем угодно справится! — Он прошел мимо меня, направляясь к Бассу, и по дороге мне бросилось в глаза странное выражение его лица. Он как бы увидел на лбу у Басса страшное чумное пятнышко и глаза его остекленели от ужаса. Тон его речи был в то же время весело-непринужденный, как бывает у человека, только что хорошо отобедавшего.

— Если я говорю, что творчество Абрама Матвеевича сопряжено с огромными расходами, то я за то совершенно признаю за ним его поистине большевицкую энергию и способнось наладить любые темпы производства! Нет, я даже считаю, что это даже лучше будет, если ко времени выхода сценария Горького Абрам Матвеевич приобретет уже, так сказать, некоторую известность на более мелких произвецениях!

Балабановский в упор смотрел на Басса, Басс — на Балабановского, а голова Роома вертелась от одного к другому, как у кота, на которого напали два пса сразу. В глазах Басса было выражение какое бывает у матроса, следящего за семафорами флагманского судна. Выражение глаз Роома меня-

лось в зависимости от того, на кого из них обоих он их в данный момент направлял.

— М-ммэ... — Басс медленно опустил глаза вниз на разостланные перед ним наряды.

— Абрам Матвеевич,—произнес он наконец.— Я вам подпишу эти наряды. Но имейте в виду, что производство трех фильмов одновременно, да еще если среди них есть такой, каким будет горьковский, я считаю для одного человека совершенно непосильным! Поэтому — предлагаю вам закончить хотя бы один из этих двух еще до начала работы над сценарием № 63, иначе нам придется пересмотреть вопрос о его режиссуре!.. — Басс нагнулся и жестом хорошо выверенного автомата подписал все восемь или десять нарядов.

Роом стоял, приобретая постепенно окраску суренамской сухопутной жабы. . .

## Меня берут в работу

В эту ночь мне не довелось вернуться к родным пенатам. Я вернулся домой лишь к трем часам следующего дня, в состоянии близком к измочаленности. Работа марсового на гибнущем бриге в тайфуне Желтого моря была санаторным отдыхом в сравнении с этой ночью. Разбушевавшийся Роом играл мной, как щепкой, швыряя меня то вниз, то вверх по фабричным лестницам и корридорам, и сам, с пеной у рта, напоминавшей седые валы океана, смерчем носился из отдела в отдел, от зава к заву, назначая мне встречи на площадках лестниц для отдачи дальнейших директив.

Иногда мы встречались с ним где нибудь на лестнице или в корридоре. Он, вихрясь зулусским шаманом, сшибая с ног гражданское население кинофабрики, летел куда нибудь в отдел кадров, а я,—

спасающей свою маленькую, но суб'ективно драгоценную жизнь, ящерицей скользил между прохожими и вертящимися дверьми куда нибудь в шрифтовой отдел, за нарядом на заголовки.

— Комната 132, Гуйзерман, фотографии Григорково-ой! — истошно вопил Роом, удаляясь в винтовую нарезку полуосвещенного корридора, и я уже знал, что к общей каше пятнадцати других заданий мне еще прибавилась обязанность раскопать актерский альбом с фотографиями какой-то Григорковой, которая по художественному замыслу Роома подходила к роли колхозницы Маяны из „Пяти Восходов“. Впрочем, граница между художественными замыслами и бывшими брачными отношениями не была у Роома точно маркирована. Жен у него было столько, сколько женских ролей было в фильмах, скрученных им за его долгую режиссерскую деятельность. Соединяя полезное с приятным, он приносил свое жаркое сердце в жертву режиссерской кассе и в подарок какой нибудь хорошенькой, преуспевающей, но еще мало известной артисточке. Не у всякой жены подымется рука требовать гонорар с собственного мужа, и Роом тщательно калькулировал возможные расходы на алименты с остающейся таким образом чистой прибылью.

В отделах, в три часа ночи, атмосфера была, что называется „разреженная“. Был секретарь, но не было зава, или был зав, но не было машинистки, чтобы выписать наряд. Тогда мне приходилось бежать в соседний отдел и тренировать на его машинистке свои донжуанские таланты в целях заполучения у нее машинки на десять минут, пока я сам выпишу наряд. Машинистка, по основному принципу своей профессии, своего орудия производства никому не доверяла, так что, останься я на должности помрежа еще с полгода я бы выработал в себе такое знание женских сердец какое не снилось самому Казанове...

Запыхавшись от восьми лестниц вверх, трех вниз и полукилометра кросс-коунтри по корридо-

рам, влетаю в макетную мастерскую заказывать макеты для первого акта „Пяти Восходов". О самой макетной мастерской, о порядке произведения заказа, о реально возможных (не эфемерно роомовских) сроках его выполнения, да и, наконец, о самом макете я имею столь же смутное представление, как допустим, о церемонии посвящения далай-ламы. Но полчаса тому назад, ткнувшись головой в живот Роому на перебежке из транспортного отдела в кадровый, я получил, прослоенное неслыханным бердичевским матом, распоряжение „заказать у Рибкина, так его и так, этот, такой-то и такой-то, макет, с домиками, с полем, с железной дорогой, и чтобы был дым от бомбардировки, и чтобы я, так меня и так, не перезабыл половины из сказанного, и чтобы эти сволочи сделали макет к „послезавтра утром", потому что послезавтра вечером нужно будет показать Бассу первый кадр, а у Калюжного, так его и так, болит живот, и чтобы я, когда кончу все дела, забрал фабричного врача скорой помощи и завез его, так его и так, к Оське, и чтобы Оська был „у меня" к завтра здоров, а макет пускай сделают восемь метров на два с половиной, и двести солдат чтобы двигали руками и ногами на макете, они там сами знают!..."

— Товарищ Рибкович тут?! — оглушаю я флегматично слесаря, перепутав в длинной связке незнакомых имен имя товарища Рибкина.

— Какой еще там Рибкович? — лениво отзывается слесарь, в одиночестве ковыряющийся напильником в каком то сверхурочном заказе.

— Ну, не Рибкович, а как его там — ваш макетный зав, или кем он вам приходится?!

Слесарь явно оскорблен такой нечуткостью к имени его уважаемого патрона.

— Какой вам еще Рибкович! Нет тут никакого Рибковича! А если вам нужен товарищ заведующий, так вы так и говорите — мне, мол, нужен товарищ заведующий, товарищ Рибкин! Такой у нас действительно имеется, вон они даже сидять! — при

этом слесарь указывает напильником через плечо на спрятавшийся за каким то огромным бумажным львом столик. На столике, тихонько, в такт напильнику, попискивая ноздрей, распростерлась, как жертва уличного движения, фигура заведующего, товарища Рибкина. Я ловлю себя на том, что бердичевский мат становится постепенно моей дурной привычкой и подхожу к столику. Слесарь недоброжелательно смотрит мне вслед.

— А вы его ткните! — советует он, видя мою нерешительность в действиях.

— Товарищ Рибкин? — говорю я жертве движения, когда та, моргая глазами, приподнимается, и, совершив плавный поворот на своем пухленьком седалище, поворачивается ко мне лицом. — Я от режиссера Роома, вот тут у меня наряд на три макета. Первый должен быть готов к „послезавтра утром", на нем должно быть поле...

— Завтра выходной, никаких послезавтра! — говорит Рибкин с досадой зря разбуженного человека, и делает попытку снова вернуться в горизонтальное положение.

— Но, простите, товарищ Рибкин! — восклицаю я с отчаянием человека, на которого фиаско сыпятся за фиаско, — Роому обязательно нужен макет, у него послезавтра с'емка!

— А я — что? — вз'ерепенился внезапно Рибкин. — А я что — собака? Что я — каторжник?! Чем я хуже вашего Роома?! Пусть он, сукин сын, за три недели ни разу дома не поспит, тогда я к нему приду, пусть он мне макеты делает! У меня тоже жена и дети! (Гм!.. „тоже" — думаю я).

— Товарищ Рибкин, дорогой! — слезно взмаливаюсь я. — Он мне голову оторвет, если послезавтра макета не будет! Ведь вы же его знаете, мне в ГИК нужно попасть, если он меня выкинет, так мне-ж никакого ходу не будет! Товариш Рибкин! Ведь вы же не сами будете делать этот макет, вам ведь только распорядиться!..

После четверти часа жалостливого клянченья,

с одной стороны, и суровой каменносердечности — с другой, было, наконец, достигнуто следующее соглашение: макет будет готов, только не послезавтра, а через восемь дней, для каковой цели я обязуюсь освободить Рибкина от обязанности доставать у завхоза гипс и стружки для макета, взяв эту нагрузку на себя. За эту сверхсрочную работу роомовская группа обязуется заплатить Рибкинскому мастеру Чуклемову двести пятьдесят рублей из собственных ассигновок лично и притом так, чтобы об этом, не дай Бог, не пронюхал финотдел. Для того, чтобы можно было скорее приступить к работе, я должен немедленно отнести наряд в финансово-контрольную кассу, где мне проставят ассигнованную на макет сумму. Для добычи гипса и стружек я должен получит ордер в склад материалов и заверить его у завхоза. Рибкин даст мне соответствующую служебную записку, в которой он будет ходатайствовать о выдаче мне сорока килограммов гипса и энного количества стружек. Получив ордер я должен буду достать в транспортном отделе наряд на грузовик или ордер на „оказию" — т. е. на право присобачиться к первому едущему со складов на фабрику грузовику, и доставить гипс и стружки к нему, Рибкину.

Кроме этого, существует еще одна возможность: в складочном ангаре макетной мастерской есть старые, использованные уже для других фильмов, макеты. Их надо просмотреть, быть может среди них найдется какой нибудь, из которого, после некоторой переделки, может получиться то, что нужно. Для этого нужно сходить в ангар, но ключ от него не у Рибкина, а у ангарского сторожа, каковой сторож ушел уже домой, и будет только послезавтра. Так что раньше, чем послезавтра, работа все равно начата быть не может. Максимум, если я проявлю сизифову энергию и сегодня же проведу весь процесс добычи гипса. Если мне это, однако, удастся, Рибкин советует мне сразу же ехать в Монте-Карло и выигрывать, используя свою

счастливую звезду, миллионы. В финансово-контрольную кассу я должен, однако, во всяком случае забежать еще сегодня же, ибо кассир сдает дела какому то Либерману, а Либермана Рибкин знает еще по работе в Нарпите: сукин сын, каких мало, и на новом месте, конечно, зазнается и будет придираться ко всякой ерунде.

Под конец Рибкин, человек самаритянского образа мышления, проникся все-таки сочувствием к моей беспомощной юности, и дал мне практический наглядный урок прокладывания себе жизненного пути в кинофабричных дебрях. Рибкин был тертым калачем и старым советским служащим. Входы и выходы он знал даже там, где для постороннего глаза стояла глухая стена гранитной кладки.

— Эх, молодой человек, молодой человек!—говорил он мне, после того, как мы уже кончили чисто деловую часть разговора. — И я тоже был когда-то в вашем положении. Только тогда был шестнадцатый год, и люди были другие. Правда, я тогда был евреем — это была маленькая разница! Ну, а теперь я больше не еврей, или, скажем, хотя бы не жид... Ну, я не буду говорить, чтобы я за это на месте прыгал от радости — сейчас все жидами стали. Только тогда у меня дырки были, чтоб влезть, а где они ваши дырки? У вас дырки такие, что вы с одного боку влезли, а с другого обратно вылезли. Или, если вы не вылезли, так вас вылезут! Вы знаете, сколько у меня есть вот таких вот профессий? — он указал подбородком на недоделанный макет, над которым, с медленной уверенностью механического робота, копошился, мастер Чуклемов. — Вот таких вот тоже дырок? Я знаете, из одной в другую, из одной в другую! Я не здесь, так я в Утильсырье, я не в Утильсырье, так я в Моссельпроме, не в Моссельпроме, так я у чорта на рогах? А вы где? Можно вас спросить — где вы?

Я покачал головой. — Я — у Роома...

— Дэ-э... — произнес он с таким видом, с каким Лермонтов печально глядел „на наше поко-

ленье“ ... — Дэ-с... Вы вот именно „у Роома“... Можно себе сказать — „положение!“ Вы даже не в Союзкино, а именно „у Роома“. Меня, если выкинут из макетной, так я еще попробую пристроиться в гараж, или в хозотдел, или в лабораторию. А вы? Вы, я вижу, можете идти начинать жизнь сначала! Я вам скажу, молодой человек: вы, там, на роомовский макет плюньте! Что вам роомовский макет? Что вам: — роомовский макет дороже своего будущего? Вы говорите — вы хотите в ГИК влезть. Так вы смотрите на ГИК, а не на Роома! Что вы: вы уже пристроились так, что если Роом вас выкинет, так вы куда нибудь в другое место? А ведь он вас выкинет! Он же сука такая, что обязательно выкинет! А вы себе за его макеты ноги ломаете! Вы думаете — он вам спасибо скажет?

Я подумал о том „спасибо“, которое мне Роом скажет, когда я приду к нему и заявлю, что макет будет готов не послезавтра, а только через восемь дней, и что за это ему, Роому, придется заплатить из групповой кассы двести пятьдесят рублей... В этот момент я совершенно ясно почувствовал толщину того волоска, на котором я висел над бортом кинофабрики. Оборвись он — и я полечу вниз, обратно в черную пучину домашней бесперспективности, в хождение по мукам новых ВУЗ'ов, техникумов и заводов, в безвылазность своего социального происхождения...

На секунду мне стало жутко, как бывало впоследствии жутко думать о „шлепке“, о „вышке“, о „поездке на луну“.*) Еще можно жить в дыре, завидуя порхающим в поднебесьи пташкам, но вернуться в дыру обратно из поднебесья... Нет, надо что то предпринимать! Как говорят венцы: „g'scheh'n muass was!“ Что нибудь должно случиться!

*) Синонимы расстрела на советском языке.

* * *

До двенадцати часов следующего дня я успел, с перемежающимся успехом, „провернуть“ еще штук восемь, аналогичных макетному, Роомовских заказов. Успел выслушать от Роома проклятия, которых бы хватило на содержание в преисподней всех моих предков и потомков по крайней мере на двенадцать колен в ту и в другую сторону. В конце концов, случилось то, чего я опасался, еще лежа на Роомовском диване и вслушиваясь в тихие причитания весталки над примусами в передней: я покрыл Роома матом.

Не сильно, и даже не особенно изысканно, но когда человек провел ночь без сна, производя эксперименты над собственной нервной системой в угоду другому человеку, и когда в результате, этот другой, еще пытается усумниться в добропорядочности и здравом уме его родителей, тогда у этого человека появляется определенная нотка в голосе, которая не оставляет места для двусмысленного понимания его слов.

Но, не знаю: было ли это дипломатией со стороны Роома, нашептала ли ему это его жизненная мудрость, или же он просто сам обалдел до состояния, когда человеку все становится все равно, но только, того извержения, которого я ожидал, договаривая до конца последние слоги своего заклинания, и которое должно было стереть меня с лица земли — не последовало. Он только посмотрел на меня глазами, похожими на две, измазанные горчицей, сливы, похлопал ими, отвернулся, как если бы ему на глаза навернулись слезы, и произнес:

— Идите спать ко всем чертям! Завтра в семь будете у меня.

* * *

Стояло яркое солнечное утро, когда я, наконец, шатаясь, добирался до нашей салтыковской голубятни. Но в глазах была еще мгла бессонной но-

чи, черным тюлем висевшая между мной и миром. Замершее на небе солнце казалось близким и огромным, но как будто остывшим, как солнце какого то сто-миллионного века. Оно, быть может, еще грело кого то, но только не меня, и меня знобило в его дымчатых холодных лучах.

Предвидя близость момента блаженного растворения в простынях своей коротенькой и жесткой, но какой то обжитой и уютной кровати, я начал засыпать еще на улице. В полусне ткнул плечом скрипучую калитку и потом, совсем уже посапывая, носком облипшей грязью калоши отдал три традиционных пинка нашей толстой, обитой войлоком двери.

— Ну, ты, блудный поросенок! — встретил меня батька, откидывая, тяжелый, как в старинном замке, крюк, охранявший нашу частную территорию от непрошенных интервенций. Этот крюк внушал какое то нелогичное спокойствие за свою судьбу. Казалось, что, пока он запирает дверь, ни одна шальная волна не хлестнет сюда из этого мира бурь и ураганов. В батькином голосе чуть чувствовалось беспокойство за судьбу своего запропавшего потомка, беспокойство, которое у нас в семье не было принято демонстрировать и прощалось только мамаше, из снисхождения к ее женским слабостям.

— Где это тебя носило? Ну, катись, катись наверх, там у тебя на кровати баран стоит!

На кровати действительно стоял баран, добытый какими то неисповедимыми путями на Сухаревке, жареный в печке по системе „а ля Солоневич" и завернутый, для сохранения живительного тепла, в одеяло.

Баран этот был первой ласточкой наступившей в нашем доме передышки. За последние три-четыре недели ничего не варилось, не жарилось, не мылось и не подметалось — в нем стояла атмосфера работы сверхурочной и сверхударной стахановской бригады.

Три или четыре недели тому назад мамаша заполучила от профсоюзного издательства заказ на

перевод последней книги Герберта Уэллься „Meanwhile“ с английского на русский язык. В виду того, что профиздат опасался возможной конкурренции со стороны прочих советских издательств, а такого изобретения, как договоры с иностранными авторами о монопольном праве на перевод, в СССР не существует (да и вообще иностранный copyright в СССР не признается) — Профинтерн поставил невероятно жесткий срок выполнения перевода — один месяц.

Работа закипела. Она заполняла собой все малейшие промежутки в служебной и прочих видах деятельности моих родителей, не давая ни отдыху, ни сроку, вытесняя собой все прочие мысли, занятия и интересы. Среди ночи устраивались читки отдельных переведенных отрывков, дом заполнился словарями, разговоры — англицизмами, а печка ежедневно набивалась забракованными рукописями (благо на бумагу Профиздат не поскупился).

Вчера, наконец, кончили. Квартира, по этому случаю, была наконец, прибрана, и в качестве заключительного пиршества, в печке был изжарен этот самый грандиозный баран.

Я безучастно посмотрел на него, развернул, и поставил его на стол. Потом, движениями осенней мухи, стал раздеваться.

— Ты что это, даже лопать не будешь? — изумился батька, стоявший в ожидании дальнейших пояснений.

— Не!.. — ответил я и нырнул носом в подушку. Сил на то, чтобы закутаться в обетованное одеяло, у меня уже не хватило. Батька постоял, посмотрел, потом подошел, подтянул мне одеяло до уровня самого носа, подоткнул его со всех сторон и пару раз ткнул меня легонько кулаком в какое то место. На этой отеческой ласке я прошел за свинцовые ворота мира грез и сновидений.

* * *

Поздно вечером, когда я, уже проснувшись, кейфовал в постели, из одной половины мозга в другую, перекатывая ленивые, как вареники, мысли, на горизонте, наконец, появилась мамаша. Она вошла, обвешанная, как всегда, замотанными на руку веревочными корзинками с картошкой, книгами и хлебом, в замызганных грязью ботах и с тем обычным выражением безразличной усталости на лице, с которым ложатся спать москвичи и которое накидывает человеку лишних десять-пятнадцать лет возраста.

Но сегодня во всей ее манере было что-то особенно трагическое. Она ни слова не произнесла, тяжело поднимаясь по лестнице, шепнув только тихое „здравствуй" отпиравшему ей батьке. Вошла, стала посреди комнаты и потом, не сделав даже попытки выпутаться из своих корзинок, толчком опустила голову и заплакала.

Я вскочил с кровати. Вошедший за ней в комнату батька удивленно посмотрел на ее вздрагивающую фигурку:

— Что такое, Тамочка? — он неловко бросился ее разгружать, попутно пытаясь заглянуть ей в лицо. — Что с тобой? Чего ты, детка?

— Все ни к чему! — вырвалось у нее. — Вся работа пропала!

Я голыми руками обнимал ее промокшее от весеннего дождя пальтишко, и звуки ее голоса доносились откуда-то из мокрого зайца ее воротника, прилипшего к моему плечу.

— Что пропало? Куда пропало? — волновался батька, пытаясь обнять еще свободные места и, наконец, обнимая нас обоих сразу.

— Все пропало! — и среди холодных капель дождя на плече я почувствовал несколько горячих.

Через несколько минут успокоительных меро-

приятий ситуация начала мало-по-малу выясняться. Оказалось, что, несмотря на настойчивые требования Тамочки во время поместить в „Правде" об'явление о том, что Профиздат собирается выпустить „Meanwhile" по русски, никто в несусветимом кабаке издательства об этом не позаботился. И вот, сегодня — нате! — Тамочка ткнула нам измятый номер „Правды". Там, отчеркнутое красным карандашем, стояло об'явление, что Госиздат уже перевел эту книгу и она поступает в продажу... В ответ на Тамочкины упреки заведующий Профиздатом только пожал плечами и заявил, что „такое со всяким может случиться"... Теперь денег с Профиздата, конечно, никаких не получить, месяц бешенной работы, а главное, перевод, который действительно был сделан хорошо, — все это полетело в прорву.

Это было, конечно, большой неприятностью. Тамочка еще поплакала некоторое время, потом излила все свои благопожелания заву Профиздатом, батька, успокаивая ее, успокоился немного и сам, и, наконец, было решено приступить к потерявшему свою радостную символику барану.

Но за бараном настроение, как и всегда в присутствии этого благородного зверя, постепенно развеялось.

Огромная кафельная печка, занимавшая по половине каждой из наших двух лиллипутных комнатушек, как какой-то толстый, сияющий самодовольством Будда, распускала вокруг себя тепло, уют и благодушие. Сегодня в нее на предмет изжарки барана были запиханы последние щепки остававшихся с зимы дров, и приятно было думать, что теперь, месяца по крайней мере на четыре-пять отпадет еще одна лишняя зимняя забота — о дровах. Ибо все-таки почти всю эту зиму корчевка коряг и собирание сучьев в салтыковском лесу принадлежали, если не к самым неприятным, то, во всяком случае, к самым насущным процессам поддержания нашего существования.

После того, как в желудках, промывая бараний

жир, приятно забулькал кипяточек со всамделишным сахаром, после того, как была излита накипь прочих мамашиных переживаний за сегодняшний московский рабочий день, я был, наконец, посажен докладывать о своих ночных похождениях.

Я сел по-турецки на кровать, набрал себе горсть добытых Тамочкой леденцов и, постепенно входя в раж, завел повествование. Советский кабак не был для меня новостью, но все же о настоящем кабаке я знал скорее лишь по наслышке. Ибо свои первые познания в этой области я почерпнул в ЦАГИ, а ЦАГИ все же было военным учреждением, где для настоящего кабака почва была, употребляя популярное советкое выражение, неудобоусвояемая. И теперь, попав из огня, да без пересадки прямо в полымя, я невольно чувствовал себя человеком, вернувшимся в отчий дом из путешествия на Марс. Я сидел и докладывал.

Постепенно, однако, личная обида и беспомощность начали брать верх над чисто сенсационной стороной дела, и мой рассказ начал приобретать все более трагические тона.

Предки сидели и слушали. Но слушали они меня не так, как если бы я вернулся с Марса. Все это было для них старо, как мир — разве что, перелито в новые, еще незнакомые им, кинофабричные формы. То же самое творилось и в Дворце Труда, где оба работали, в ВСФК, где работал батька, и в Профинтерне, и в тысяче других злачных мест Советского союза.

Мои рассказы напоминали те времена, когда я с расквашенной физиономией приходил домой и с ревом составлял коммюнике политического положения великого мальчишечьего государства, которое довело меня до данного, очередного конфликта. Батька никогда не входил в детали и не вдавался в разбирательство конфликтов. Он никогда толком не знал, кто именно такой Толька и имел ли означенный Толька какие нибудь юридические права на аннексирование у меня какой-нибудь очередной осо-

бенно ценной „залезы"*). Его диагноз и приговор был всегда прост, мудр и лаконичен: „А ты дай ему в морду!"

В глубине своей души я чувствовал, что батька не совсем дал себе труд вникнуть в ситуацию, и с минуту недоверчиво смотрел на него. Но потом уважение перед его мудростью и знанием жизни брало верх, я шел и „давал в морду" гнусному империалисту Тольке. Кстати, для таких случаев батька меня и боксу обучал.

Мамаша же, всегда, как и полагается, искавшая случая пожалеть своего единственного отпрыска, принимала самое трогательное участие в горькой моей судьбе, но, обмывая расквашенный нос, все же никогда не рисковала благословить меня на какой бы то ни было реванш. Так что в тех случаях, когда моя оскорбленная честь находила себе утешение не на батькиных коленях, а на мамашиной груди, акт мести откладывался обыкновенно до того неопределенного времени, „когда я вырасту большим".

Так было, так есть, так, вероятно, останется и до скончания веков. Ибо для всякой мамаши ее отпрыск—„до старости щенок". Так было и в данном случае. С той только разницей, что в данном случае я уже не ревел, надо признаться, не потому, чтобы я к этому времени уже разучился реветь, а скорее потому, что считал это занятие несовместимым со своей высоко-ответсвенной должностью. Думаю, однако, что зареви я по хорошему — мамаше стало бы сразу и проще, и легче на душе: на этот случай у нее были уже давно разработанные и абсолютно верные методы действия, которые она и не замедлила бы применить. А так, слушая мой эпически-обозленный стиль повествования, она только сидела, беспомощно сетовала на Роома и прочих

*) Так на моем тогдашнем детском языке называлась коллекция всякого старого железа.

„негодяев", изредка обращая требующие сочувствия взоры на главу семейства.

Глава семейства сидел и реплик не подавал. Когда же я, добравшись до собственных горьких размышлений о моей дальнейшей судьбе, в случае, если Роом и меня вышибет, кончил, он с минуту помолчал и потом тоном автора, говорящего о герое своего романа, заявил:

— Итак, значит-с, Квакеныш (это — я) переживает период накопления горького опыта... Г-м... Ну, что-ж, накопляй, Квак, накопляй! Пригодится — воды напиться! А что касается твоего Роома, так я давно тебе говорю: выкинет он тебя или не выкинет — разница, как говорится, невеликая! Еще месяц-два — там тебе все равно не до Роома будет! В июне, в июле, как говорится... — он посмотрел на нас смеющимся оком хронического оптимиста — тю тю-ю!

Как-то не верилось, что это будет уже так скоро. Еще месяц-два, и мы будем топать с рюкзаками за спиной по какой-то неизвестной Карелии, и все сразу оборвется... И Роома сразу больше не станет! И на „Meanwhile" тогда наплевать!.. Х-м...

А вдруг не выгорит?.. Да нет, куда там! 99 против одного, что не выгорит! Где там проберешься при такой охране границы? Скорее всего нас сцапают. Тогда крышка, конечно. Впрочем, и тогда на Роома тоже наплевать!..

Но могуть и не сцапать! Может случиться, что вообще вся эта комбинация сорвется. Вот, если, допустим, Тамочку не выпустят: ведь ей по лесу не пройти!

— Ну, там тю-тю, не тю-тю,—отвечал я,—а что я буду делать, если все сорвется?! Тебе хорошо, ты всегда обратно пристроишься, а мне? Опять что-б зима пропадала? Нет, Роома надо все-таки как-то обойти!..

## Тихая заводь

Я стал искать путей „в обход“ Роома. Побывав как-то, во исполнение давно данного обещания, у режиссерши Владимирской и выплакав на ее досчатой, но все же не чуждой материнских инстинктов, груди свою наболевшую душу, я получил от нее целый ряд практических наставлений, выучил целую серию различных технических приемов и обогатил свой душевный мир несколькими принципами из числа тех, которые внушаются ученикам в младших классах иезуитских школ. Владимирская принадлежала к тому редкому, с моей скромной точки зрения, высшему сорту людей, которые за свою долгую, до отказа набитую романтикой жизнь очень хорошо усвоили цену и добру, и злу и стали достаточно хладнокровными для того, чтобы не носиться с первым и не трепетать в ужасе перед вторым. Она знала цену и тому, и другому. Работа в советском кино отучила ее от самолюбия и гордости, дав ей взамен холодную эластичность стального хлыста, который гнется только для того, чтобы в нужный момент ударить. Но в то же время Владимирская достаточно успела узнать людей и людишек для того, чтобы сменить ненависть и презрение к ним на спокойную, анаталь-франсовскую любовь. Такой любовью человек любит канарейку. Канарейка и сама не подозревает, что она кем-то любима.

Мне были преподаны несколько приемов и принципов жизненного джиу-джитцу. Предполагалось, что, выйдя после этого на ринг, я начну разбрасывать противников, как снопы сена, и что эти приемы и принципы несомненно оставят победу за мной.

Впрочем, оканчивая в опустившихся вечерних сумерках свой длинный, полный жизненной мудрости монолог, Владимирская задумчиво поглядела в потолок и, выпустив тонкую струйку папиросного дыма, произнесла:

— Эх, Юра, Юра! . . Детеныш вы еще. . . Ну что толку с того, что я вам сейчас битых два часа талдычу! Говорила я вам — не суйтесь вы в кино! А теперь — что мне с вами делать?! Все равно вы ничего из этого применить не сумеете. Вам бы еще по полю, по травке бегать, а вы в кинофабрику сунулись! Ну. . . Попробуйте! . . Может быть, что-нибудь и выйдет. . . Только — имейте в виду: пока вы смирно сидите — и вас никто не трогает. Но если вы начали драться и промахнулись — тогда... — она сделала рукой движение, которым сворочивают шею цыплятам.

* * *

С ночи того памятного заседания, на котором Роому было дано понять, что он не получит Горького, не разделавшись по крайней мере с одним из двух других сценариев, работа развернулась во всю ширь бешенных большевицких темпов. В работу была взята уже вся группа.

„У меня безумный день или женитьба Фигаро!“ — говорил Калюжный, когда кто-нибудь пытался посягнуть на пять минут его времени. Роом умудрялся находиться повсеместно в одно и то же время, а я совсем уж уподобился сорвавшемуся с подшипников жироскопу. Иногда, предвидя на ближайшее будущее десяток более или менее невыполнимыхъ заданий, я плевал сразу на все десять с тем, чтобы устроить себе часа два передышки. После этого я добровольно шел подставлять свою голову под — чи так, чи так — неизбежные лавины Роомовских проклятий.

Эти часы, не имея времени добраться до Салтыковки, я предоставлял в распоряжение своего шестнадцати с половиной-летнего сердца. В одном из мелких, пересекающих Тверскую, переулков, в домике, занявшем территорию бывшей жактовской помойной ямы, простерло свою тихую заводь семейство. . . назовем их, nomina sunt odiosa, Алабинскими.

Папаша Алабинский был старым Ватикиным знакомым, премированным советским пройдохой, коммерческим директором одного подмосковного стекольного завода (одно слово „коммерческий директор" чего стоит!) и человеком, у которого чувство совести не то, чтобы атрофировалось, а, так сказать, вообще не развилось, оставшись в эмбриональном состоянии с самого детства. По внешности он мне почему-то всегда напоминал старика Карамазова — быть может, из за своих, именно „пивных", глазок. В выпившем состоянии он демонстрировал свое презрение ко всяческой мирской суете, швыряя пригоршни медяков в толпу и наливая в разжатую пальцами пасть своего кота Васьки крепчайший торгсиновский коньяк.

— Эх, Васька! — философствовал он при этом, не обращая внимания на предсмертное бульканье в котовской глотке. — Пей, сукин кот! Ты счастливый, мерзавец, тебе жить немного осталось! А мне?! Эх-ма! И мне тоже немного, Васенька!

При этом он пытался обнять „Васеньку", прижимая его к шее. После таких лирических сценок, на Алабинского выливался весь имевшийся в доме запас иоду, и он долгое время ходил забинтованным, как военный инвалид.

Но читатель ошибется, если подумает, что именно к старику Алабинскому меня влекла „неведомая сила". Дело обстояло проще и доступней пониманию: старика Алабинского Бог наградил двумя дочерьми, из которых одна была моей ровесницей. А ровесничество, как известно — dangereux voisinage.

С Иринкой, так ее звали, я когда-то давно, давно был знаком, в бытность нашу в Одессе, но ее тогда держали в черном теле светского воспитания, да и возраст был тот, когда обе половины человечества, женская и мужская, разделены непроходимой пропастью взаимного презрения и непримиримости. В то время в интеллигентских семьях еще сохранились дореволюционные критерии воспитания

и поведения, критерии, которые, вместе с очень многими другими „буржуазными предрассудками“, были впоследствии начисто сдунуты вихрем революции. Если раньше Иринка носила две, перевязанные голубыми бантиками, косички, то теперь, мотая головой, она взметала путаницу задорого бубикопфа и с одинаковой уверенностью лезла пятерней как в свою, так и в чью бы то ни было чужую шевелюру. Попытки придать моему чубу хотя бы относительно цивилизованный вид волновали ее душу так же, как впоследствии волновали души почти всех моих женских знакомых. Если раньше Иринку учили делать „книксен“, то теперь она жала руку с этаким безнадежным намерением вырвать ее у собеседника вместе с плечом. И, наконец, если раньше общество наших одесских сорванцов считалось для нее средой совершенно неподходящей, то теперь Иринка была вольна делать абсолютно все, что ей заблагорассудится, и пользовалась этим правом, подкрепляя его, в случае необходимости, искуснейшим умасливанием своего „папахена“. Под лучами ее чар папахен таял, как масло на сковородке, воспитывая, таким образом, свою наследницу в полном презрении ко всему запретному.

Говоря ретроспективно, нужно признаться, что Иринка не была самородком. Запас ее слов лишь немногим превышал обиходный словарь средней советской девушки, собственные мысли появлялись у нее неожиданно и редко, возбуждая у непривычных к этому собеседников взрывы восторга, а интересы ее концентрировались на узком и тихом, как речная заводь, кругу домашних сенсаций.

Но Иринка была веселым и милым чертенком, с которым моя, так сказать, загубленная молодость вновь обретала самое себя.

Впрочем, время от времени „некто сверху“ кидал в эту заводь булыжники, от которых все приходило в бурное движение: с регулярными промежутками в несколько месяцев папаша Алабинский садился в ГПУ.

Не говоря уже о том, что должность коммерческого директора сама по себе предрасполагает к близкому знакомству с этим учреждением, частная точка зрения Алабинского на систему советского государства делала это знакомство еще более тесным и чреватым неожиданностями.

Действуя cum bonus pater familias, Алабинский прежде всего считал, что главной функцией государства является прокормление и содержание в максимальном комфорте его, Алабинского, и его немногочисленного семейства. Если государство считало иначе, то Алабинский не пытался навязать ему своей точки зрения, предпочитая действовать на свой собственный риск и страх. На заводские средства он выстроил себе в центре Москвы небольшой, в три комнатки, но теплый и комфортабельный домик, что, по московским масштабам, эквивалентно вилле на Капри, и наполнил этот домик приблизительно всем тем, чего могли пожелать взыскательные души двух его дочерей.

Личное благополучие в Советской России не может быть эгоистичным. Не давая и не помогая жить другим, вы никогда ничего не добьетесь сами, и этот девиз был крупными буквами начертан на широко развернутом знамени Алабинского. Никогда не забуду разговора, происшедшего между ним и моим папашей где-то на Тверской улице. Оба куда-то спешили и на секунду столкнулись лицом к лицу.

— Я знаю, Иван Лукьянович, — проговорил Алабинский, еще на ходу протягивая батьке свою мохнатую лапу. — У вас нет дров! Вы их везде ищете и не можете найти! Так вы только скажите Алабинскому! Теперь вы можете считать, что дрова у вас уже в сарае! Завтра придет грузовик.

И он уже бежал дальше, бережно пронося между прохожими свой необ'ятный деловой портфель. Ватик так и остался с протянутой рукой глядеть ему вслед, не успев даже толком сообразить, в чем именно заключалось это заманчивое предложение.

Грузовик, действительно, пришел. Правда, не на следующий день, а недели этак через две, но он пришел набитый доверху прекрасными дубовыми поленьями, которыми потом пол зимы отапливались мы и некоторые из наших наиболее близких знакомых. Алабинский, если я не ошибаюсь, ничего не получил от батьки взамен этих дров, но, повидимому, в топливных фондах завода оказался в то время некоторый безконтрольный излишек, которому Алабинский просто на просто нашел более надежную инвестицию, чем благо советского государства.

Время от времени, когда дела принимали настолько путаный характер, что это становилось заметным со стороны „вооруженному глазу", выражение лица Алабинского принимало все более и более беспокойное выражение, он куда-то исчезал с семейного горизонта, предупреждая, что „это он еще не в ГПУ", наконец, начинал предпринимать нервные попытки уйти с завода, говоря, что там его прижимают, что там все сидят склочники, которые только и мечтают о том, как бы закатать его Алабинского, на Лубянку, словом — создавал вокруг себя атмосферу, по которой внимательный наблюдатель мог безошибочно определить время появления на квартире у Алабинского двух джентльменов в гороховой форме.

Так оно, в результате, и случалось. Иринка начинала беготню по знакомым и сослуживцам, Галка (младшая сестренка) оставалась на хозяйстве одна, деловито об'ясняя случайным посетителям, что „папа поехал в гипию, но сказал, что скоро вернется", а дирекция завода начинала слезно молить прокоратуру и угрожать Наркомлегпрому срывом плана, если Алабинского в самом срочном порядке не выпустят. Ибо, если заводу нужен был уголь, то месторождения этого ископаемого были известны одному только Алабинскому. Если жене главного директора завода нужен был лисий воротник, то это был Алабинский, который выменивал у Союзпромхоза стеклянную тару на проволочные ре-

шетки, а решетки у подмосковного лисьего питомника — на шкуру чернобурой лисицы.

Под давлением обстоятельств, „корешков“ и планового отдела Наркомлегпрома, ГПУ соглашалось, наконец, отпустить душу Алабинского на покаяние — под гарантию заводской ячейки и и взяв с него подписку о невыезде. Алабинский снова появлялся у семейного очага, но все же за то время, пока длилась вся эта канитель с расследованием дела, ходатайствами и гарантиями, он успевал спустить несколько килограммов весу на лубянском пайке. Сроки отсидки варьировались между тремя днями и шестью месяцами.

Впрочем, очень многое из его сравнительного везения в этом смысле об'яснялось его темными связями с одним очень крупным коммунистом — некиим Сенькой Бржезинским. Сенька Бржезинский был старым большевиком и занимал какой-то неясный пост в военной промышленности. Он часто бывал заграницей, откуда привозил Алабинскому и его дочерям самые разнообразные заморские диковинки особенно уделяя внимание вкусам и пожеланиям, Иринки.

Я не знаю, в чем находили себе большее об'яснение парижские туфельки, браслеты, платья и тому подобные стенобитные для женского сердца принадлежности — в желании ли потрафить отчей любви или в том неравном бою, который велся между Иринкиными шестнадцатью и Сенькиными пятьюдесятью годами. Я не берусь также судить о том, на чем больше зиждилась эта странная дружба между мелким речным щуренком — Алабинским, с одной стороны, и крупной океанской акулой Бржезинским — с другой. Чем больше об'яснялись неоднократные рискованные вмешательства Сеньки в односторонние разговоры между ГПУ и проворовавшимся сверх нормы Алабинским: старым ли, со времен гражданской войны, знакомством, или каким-нибудь особенно темным пятнышком на их общей биографии, или же, быть может, Сенька просто был при-

нят в компаньоны по эксплоатации того капитала, который представляла собой Иринка. . .

А сам папаша Алабинский? Его по-истине трогательное отношение старого жовиального вдовца к своему драгоценному сокровищу — была ли это действительная отеческая любовь или только стратегия, которая должна была в решительный момент не допустить Иринку до черной неблагодарности?..

... Не знаю. Только как-то раз, после нашего сорвавшегося первого побега, после двух или трех месяцев, которые я провел в каком-то, я бы сказал, летаргическом сне и никого не встречал из своих знакомых, я зашел посмотреть, что сталось с тем камельком, у которого так хорошо зализывались раны от Роомовских оплеух.

Алабинского дома не было. Мне открыла Галка. Девчурка посмотрела на меня большими, удивлено-испуганными глазами и потом указала кулачком с зажатым леденцом на палочке в сторону спальни.

— Иринка больная! — сказала она. — Она в Жагсе жамуж вышла.

— Замуж? — удивился я.

— Жайди, жайди! — встрепенулся Галчонок, сообразив, что ляпнул что-то неподходящее, что может заставить меня,его фаворита,уйти, не зайдя внутрь.

Я зашел. На большой, высокой кровати лежала Иринка. Похудевшая, бледная, слабая.

— Что с тобой, Ика? — спросил я. — Грипп?

— Нет, свое... женское... — тихонько ответила она, как-то виновато протягивая мне гибкую и тонкую свечную руку.

Я посмотрел на нее длинным, как секунды, взглядом. Она повернулась, и мягкий ежик ее бубикопфа задрожал в складках подушки.

Я подошел поближе, окунул пальцы в пушистые волосы и чуть-чуть покачал ее голову с боку на бок. Потом повернулся и ушел.

— Ты... ты не придешь больше? — испуганно спросила Галка.

— Не знаю, Галчоныш... Сейчас — вряд-ли, — ответил я моему маленькому другу.

# IV. Болшево

## Катаклизм

НА ФАБРИКЕ темп работы наростал, я бы сказал, в кубической прогрессии. Откуда-то стало известно, что ГПУ поставило невероятно жестокий срок для начала постановки горьковского сценария: 25 сентября должна была начаться с'емка — и ни на копейку позже.

Прислушиваясь в содоме фабричных будней, набегу внюхиваясь в неуловимые запахи закулисных течений, я постепенно определил диспозицию действовавших сил.

Против Роома стоял Балабановский с намерением перехватить у него Горького. Сценарий еще не был окончен, еще не было даже в точности известно, о чем в нем должна была итти речь, но два шакала уже грызлись из за падали еще бегавшего по лесу медведя.

У Роома были какие-то темные связи с самим Горьким, зато у Балабановского — какие-то, не менее темные, связи в ГПУ. Вполне логично рассудив, что победа имеет все шансы остаться за последним, Басс принял сторону Балабановского и строил Роому каверзы по линии постановки двух других, из жадности понахватанных Роомом, фильмов. Разговор теперь шел о том, чтобы до двадцать пятого сентября успеть окончить „Пять восходов“ и ухватиться за подготовительную работу к постановке

горьковского сценария еще до того, как этот сценарий появится на кинофабрике. Роом предполагал пронюхать о содержании сценария прежде Балабановскаго — таким образом он был бы перед Балабановским в некоторой форе, которая позволила бы ему все же оставить фильм за собой. Когда сценарий пришел бы на чистку в кинофабрику — у Роома была бы уже проделана подготовительная часть работы, и все преимущества, таким образом, остались бы на его стороне.

Но беда была в том, что до двадцать пятого сентября справиться с „Пятью восходами" было почти так же немыслимо, как поцеловать самого себя между лопатками. Это с самого начала было ясно всем здравомыслящим членам Рооловской группы, это постепенно начинало становиться ясным и самому Роому.

Он исступленно мотался, делая какие-то конвульсивные и ничем уже необ'яснимые рывки и экивоки, речь его стала совершенно невнятной, а в глазах появилось какое-то бешенное отчаяние кота, загнанного двумя псами в угол между брандмауером и высоким каменным забором. Наконец, как-то раз в кабинете у Басса он забился в эпилептическом припадке. Я отвез его домой, оставил на попечение фабричного врача, доктора Эргеля, и решил, что теперь дня хотя бы на два я смогу предоставить свои постаревшие и пообтершиеся на фабричных лестницах кости жидкому золоту летних солнечных лучей.

Но не тут то было! Под вечер следующего дня я снова получаю от Роома телеграмму, лаконичную и бестолковую, как всегда, когда обстоятельства заставляли его выражаться лаконично.

„Приехал Ясновский тчк срочно тчк".

Очевидно было, что слово „срочно" относилось к моей немедленной явке. Отношение к делу Ясновского (того самого, от которого Роом заполучил „Тихий Дон" и которого я экскортировал в отпуск на

южное побережье Крыма) терялось в затемненной последними событиями психике Роома.

Я бросил шитье рюкзака, спроэктированного мной специально для хождения по карельским лесам, и, проклиная день своего рождения, двинулся в город.

* * *

Роом встретил меня позой, которая заставила надежды всколыхнуться в моей остывшей груди. Он стоял посреди комнаты на каком-то сооружении из двух табуреток и бидона из под керосина и что-то привязывал к ламповому крюку в середине потолка.

— Завтра едем в Болшево! — заорал он мне, фыркая от скопившейся на потолке паутины и пыли.

Надежды увяли.

— Куда, Абрам Матвеевич?

— Дайте мне со стола этого паршивого канделябра! Я же должен при чем-то уметь читать! Сидишь, как церковная мышь, впотьмах и даже не можешь ничего прочесть, когда нужно!

Я дал ему „этого паршивого канделябра", но как только он попытался соединить провода, раздался тихий треск, табуретки зашатались, и гром от свалившихся на пол Абрама Матвеевича и керосинного бидона заставил сбежаться соседей.

Однако, как это мне ни показалось странным, это интермеццо нисколько не повлияло на прекрасное расположение духа Абрама Матвеевича. Он ожесточенно, но сравнительно беззлобно ругаясь, вытер тряпкой ободранные при падении ладони, затем подошел к письменному столу и помахал у меня перед носом пачкой тонкой, почти папиросной бумаги.

— Вот оно! Я вам говрю — вот оно! Вы знаете, что это такое?—он развернул листки в руке веером, как игрок разворачивает особо удачно подвалившие карты.—Это конспект Алексея Максимовича. И штоб теперь Балабановский лопнул, лопнул лопнул, лоп!—неожиданно заключил он соловьиной трелью.

— Ну хорошо, Абрам Матвеевич, — неопределенно возразил я. — Но как же с „Восходами“? Что вы — все вместе будете крутить?

И холодок пробежал у меня по спине при одной мысли о такой возможности.

— Э-э, плевать мне теперь на „Восходы“! Я-ж вам телеграфировал, что приехал Ясновский! „Восходы“ мы теперь будем кончать в следующем году.

— . . . ?

— Что вы смотрите?! Вы что — идиот, что вы не понимаете? Я-ж вам говорю — приехал Ясновский! Ангелы принесли мне его на крылышках! — и Абрам Матвеевич даже попытался жестами изобразить технику перенесения Ясновского на крылышках. — Ой, какой же вы идиот, сколько раз я вам это говорил! Теперь Ясновский берет себе свой „Тихий Дон“ обратно, и я остаюсь с одними „Восходами“! А Басс с носом! Хэ-хэ-хэ!

От такого неожиданного оборота дела Роом был в тихом, самодовлеющем восторге. Он расхаживал по комнате каррикатурно-марионеточным шагом, извиваясь при этом всем телом, как если бы, вместо аршина, он проглотил живую очковую змею, время от времени щелкая пальцами и экзальтированно бормоча:

— Пусть они теперь выкусят Абрашку! Пусть они теперь, сволочи, выкусят!

— Так вот, Юрий Иванович. — Роом внезапно прервал свою перипатетику. — Конспект я получил только два часа тому назад, так я его сейчас буду читать. Вы его тоже прочтете, только завтра, когда будем ехать, а пока что я вам даю действующих лиц, вы себе купите пять толстых блок-нотов (главное — „купите“! Где их к чорту купишь по московским кооперативам!) и будете подбирать в коммуне типаж, фольклор и вообще всякий блат, чтобы были потом материалы, знаете. Только имейте в виду, что Болшевская коммуна — это кусочек ГПУ, так что... Ну, я думаю — вы не совсем такой уже

дурак, как можно было бы себе думать, но только я хочу сказать, чтобы вы были сплошная корректность! Понимаете? Ну, остальное — я вам завтра в автомобиле! Значит, кройте, спите хорошо (!!) и скажите дома, что вас не будет на неделю! А завтра в восемь утра — у меня, тут! Поняли? И возьмите мыло с полотенцем, если у вас есть! Аривидерчи!

После разговора с Роомом у меня почему-то всегда было такое ощущение, как будто я только что сыграл несколько отчаянных ставок в рулетку и на затраченный миллион выиграл, наконец, полтинник.

## Путь в рай

Без десяти восемь следующего дня я был у дверей дома, на котором благодарные потомки прибьют когда-нибудь мраморную доску с надписью о том, что здесь жил и трудился великий А. М. Роом.

Перед дверьми стояла огромная и зверски шикарная машина с маленькой серебряной борзой на радиаторе. В машине за рулем гордо замер человек в настоящей шофферской фуражке и сером кителе. Под колпаком своих зеркальных стекол он казался торжественным, как Ильич в своем мавзолее, каким-то неправдоподобным и чуть чуть комическим.

— Ого, „Линкольн"! — подумал я, выкопав из памяти свою берлинскую эрудицию по автомобильным фирмам. — Кто бы это мог быть?

Когда я поднялся наверх, загадка линкольна раз'яснилась. Старательно умостившись между двуму зияющими пролежнями Роомовского дивана, сидел наш старый знакомец Сидоров, секретарь Горького, бывший, повидимому, тем самым мостиком, по которому Роом перебрался через склоку вокруг горьковского сценария. С достоинством абиссинского раса он потел в заграничном желтом макинтоше, брезгливо подобрав его полы и избегая смотреть на окружающую обстановку.

Минут через пять слоновья поступь на лестница

оповестила нас о прибытии Оськи Калюжного. Он вошел в сопровождении Штосса. Эта пара почему-то всегда напоминала мне одну мою знакомую, весьма корпулентную немку, неизменно водившую за собой крохотного террьерчика на цепочке и в попонке.

Роом, бывший, как и следовало ожидать, в приподнято боевом настроении, окинул взлядом собравшееся общество, с сожалением оторвался от своего скипетровидного красного карандаша, которым он делал какие-то последние пометки в конспекте сценария, и повелительным жестом указал на меня перстом.

— Блок-ноты? — в его голосе было нечто от генералиссимуса.

Я показал пачку фактур салтыковского кооператива, по блату добытых у знакомого счетовода. Оборотная сторона фактур, если не считать покрывавших ее селедочных пятен, была еще сранительно чиста. Роом благоразумно принял фактуры за блок-ноты. Перст направился на Оську:

— Аппарат?

Оська ответил угрюмо-иронической усмешкой. Водоизмещением в хорошую шарманку на его боку висела кино-камера со штативом, делая вопрос об ее наличии совершенно излишним.

— Значит, все—о-ке!—щегольнул Роом англицизмом. — Если для вас безразлично тов. Сидоров, — значит, можем ехать!

* * *

Пока дело шло по самой Москве, машина летела плавно, оглушая львиным рыком своей привиллегированной сирены гражданское население, терроризируя постовых мильтонов и прижимая к тротуару слишком уж раскидавшиеся керосинные и хлебные очереди в переулках.

Но как только маршрут вывел нас на окраины и потом - в поле, на так называемое „шоссе", после

того, как низкосидящий кузов несколько раз глухо стукнул о хребты шоссейных волн, шоффер, сдержанно, но неистово ругаясь, перевел машину на вторую скорость и дальше пошел уже на минимальном газу, тормозя перед каждой колдобиной. На таком ходу уже не было возможности перегонять облака пыли, поднимаемые передними колесами, герметически закупоренные окна стали матовыми и пейзаж стал доступен взорам только сквозь пару маленьких секторов в переднем стекле машины.

Спереди сидели Сидоров с шоффером, Штосс путался ногами с Роомом, а передо мной возвышалась пресловутая шарманка, нежно обнимаемая Оськиными ручищами.

Мне было жалко бедную машину, как жалко бывало смотреть на непривычного иностранца, попавшего в переплет московского трамвая. Она не жаловалась, это дитя комфорта и бетонных автострад, только изредка, на особо суровых ударах судьбы, тихо, с аристократической сдержанностью, стонала. В такие моменты с ней вместе стонал и шоффер, у которого болела душа за свое детище. Только стоны шоффера были менее аристократическими.

Роом передал мне конспект с директивой прочесть его до нашего прибытия на место. Но при данных сейсмографических условиях, о чтении, конечно, не могло быть и речи. Действующие лица были мне приблизительно известны — их краткую характеристику я прочел еще вчера вечером,—но роль их так и осталась до поры до времени тайной.

Главная роль предназначалась, повидимому, некоему парнишке, по наименованию Ашка-Желвак, каковой парнишка должен был, по архитектурному замыслу сценария, обладать весьми типическими качествами матерого беспризорника. Далее следовал старик-взломщик, у которого этот Ашка-Желвак находился в обучении. Старику почему-то полагался грудной баритон и три дочери-карманщицы.

Все это было ничего. Но затем следовала роль

которая приводила Оську в восторг, меня—в смущение, а Роома — в тихий и откровенный ужас: это был негритенок Васька-Дери — ухажер за всеми тремя благородными девицами сразу.

— Вы этнологию учили? — перебил меня Роом, больше всего обеспокоенный судьбой именно этой роли. — Вы знаете, как выглядит негритенок? Такие губы, знаете, — и он наизнанку выворачивал то, чем его Иегова наделил вместо рта. — Я вам говорю — что-б вы мне нашли негритенка! И чтобы это не был какой-нибудь китаец или индеец, а чтобы именно был негритенок! Мы его потом сажей вымажем, только чтобы губы не подкачали! Понимаете вы, ученый!

Через какой-то неопределенный промежуток времени (дело, видимо, уже шло к обеду) в одном из прочищенных автоматиком секторов на переднем стекле показалась какая-то бутафорская триумфальная арка, одна из тех сотен и тысяч трехкопеечных арок, которые воздвигли на пути социализма его экспансивные поборники. Шоффер пробурчал что-то невнятное, а Сидоров, обернувшись, заявил, что еще минута — и мы приехали.

Минута оказалась пятью минутами, но, в конце концов, мы все-таки, действительно, приехали.

— Welcome! — приветствовал нас по английски какой-то тип в белых брюках, желтой ковбойке и невероятной расцветки тюбитейке, предупредительно открывший широкую, как забор, дверцу автомобиля. Он, как выяснилось впоследствии, принял нас за каких-то английских интуристов, но, в тот же миг убедившись в своей ошибке, поправился:

— Э-э... извиняюсь, граждане, вы откуда? Ваши пропуски, пожалуйста!

Вышедший с другой стороны Сидоров гаркнул ему что-то в ответ, на что парнишка засуетился и стал криком вызывать „гражданина начальника“. Тогда меня в первый раз поразила эта странная формулировка: „гражданин начальник“. Обычно в

СССР слово „гражданин" считается в высшей степени официальным и употребляется только между незнакомыми людьми. Даже в армии принято всего только на всего — „товарищ начальник". А тут вдруг — „гражданин"! . .

Впоследствии я узнал, что вольный человек заключенному не „товарищ" точно так же, как заключенный вольному даже и не гражданин, а только „з/к" (сокращение от „заключенный"). Еще немножко позже, сидючи в лагере, я имел возможность зазубрить это противоестественное наименование, зазубрить его так, что теперь оно для меня даже легче просто „товарища". Когда же я в 1934 году в Финляндии в первый раз услыхал русское „господин", у меня было ощущение, будто мой собеседник надо мной издевается, и я долгое время продолжал обзывать всех товарищами, чем приводил в шокированное восхищение окружающих.

Пока мы, скрипя затекшими членами, выбирались из машины, на крыльце домика появился „гражданин начальник". Это был высокий, средних лет человек, в белой косоворотке, галифе и сапогах дудочками. Ветер трепал странную смесь седых и белокурых волос на его голове, а от близоруких глаз разбегались к вискам пучки морщинок. Близорукие глаза обладают удивительным качеством: даже самой гнусной чекистской роже они придают какую-то нотку симпатичности.

Правда, физиономию „гражданина начальника" нельзя было назвать чекистской рожей. Если бы я его встретил где-нибудь на северном полюсе, я бы принял его за Амундсена. Это был тип человека, на всю жизнь отравленного северным сиянием и ослепленного блеском айсбергов. Казалось, что здесь, в Москве, он только на недельку задержался перед новым, уж которым по счету, арктическим походом.

Неловкая, но полная достоинства учтивость, немного охрипший на полярном ветру баритон и сдержанность человека, которому есть слишком

много о чем порассказать для того, чтобы стоило рассказывать.

Это было первое впечатление, которое я вынес о товарище. . . Назовем его, за полным забвением его настоящего имени, допустим — Дегтяревым!.. Впоследствии я получил возможность понять, что тов. Дегтярев не был Амундсеном. Он был начальником Болшевской Исправительно-Трудовой Коммуны ОГПУ, а политический альпинизм подбирает людей с совсем особыми качествами.

Дегтярев принял нас с той скучающей радушностью, которую воспитывает в своих служащих образцово-показательная сеть советских учреждений и которая так смахивает на радушность гидов европейских музеев. Нас представил Сидоров, который, видимо, уже не в первый раз пользовался гостеприимством Дегтярева.

— Вот, тов. Дегтярев, — проурчал он конспиративным басом, — те, о которых я вам говорил в прошлый раз: Абрам Матвеевич Роом, его оператор Калюжный и их помощники.

— Очень приятно! — каким-то отсутствующим тоном произнес Дегтярев, но глазки его сложились в две блестящие щелки, как будто где-то в голове у него был поставлен яркий фонарь, и нам по очереди протянулась тонкая и длинная, но немного огрубевшая рука. — Товарищи из кинематографа?

Оська ухмыльнулся. „Из кинематографа"! Так, по его мнению, выражались синие чулки времен Екатерины Великой.

— Не то, что-б из кинематографа, а из Союзкино — да! — заявил он ироническим басом. — Попэрэк очывыдносты нэ попрэшь! — Для Оськи не было авторитетов, перед которыми спасовала бы его хулиганистая жилка. . .

— Калюжный! — грозным тенорком оборвал его Роом. — Не встревайте в разговор!

Оська сверху вниз поверх шарманки взглянул на Роома, как бы хотел его спросить: „Чего

тебе там хочется, маленький?“ Губы Дегтярева чуть расползлись в улыбку, а Сидоров мгновенно залотошил, чтобы замять неловкую паузу.

— Так вот, тов. Дегтярев. Я сейчас еду обратно и заеду за Абрам Матвеевичем через два дня. К тому времени, я надеюсь, уже будут какие-нибудь определенные результаты налицо! Вот тут для вас личное письмо от Алексея Максимовича, сопровожденное припиской секретаря товарища Ягоды, а Абрам Матвеевич сам вручит вам свою командировочную. Для Абрам Матвеевича самое важное — типаж, для Алексея Максимовича — разумеется, фольклор. Так что было бы хорошо, если бы вы смогли устроить нам несколько чего-нибудь вроде сходок, спевок или бесед и дали возможность помощнику Абрам Матвеевича беспрепятственного проникновения в самую, так сказать, массу ваших питомцев. Он — еще человек молодой (игривый взгляд в мою сторону), так что, я думаю, он скоро найдет точки соприкосновения с ними! Не правда, ли Юрий. . .

— Ох, Иванович! — подсказал я.

— Ох-Иванович? — прищурился в мою сторону Дегтярев. — Смотрите, молодой человек, как бы вам не стать „Ох-Ивановичем“ на все время вашего пребывания здесь! Здесь, знаете, публика едкая!

— Постараюсь! — скромно ответил я. Но было узже поздно: какими-то неисповедимыми путями это злосчастное „mot“ просочилось из того узкого круга, в котором оно родилось, и после этого в течение всех восьми дней, что я пробыл в Болшеве, никто, в том числе и Оська с Роомом, меня иначе как Ох-Ивановичем не называл.

Поговорив еще минут пять на обычную случайную тематику первых пяти минут знакомства, Дегтярев предложил нам отправиться за его помощником, который должен был расквартировать нас в отведенном нам таком же маленьком, беленьком домике по соседству. Метрах в трехстах от него вы-

сились три или четыре громады новых бетонных общежитий для „питомцев", как выразился Сидоров. Промежутки между общежитиями были заполнены зеленью, из которой там и сям проглядывали черепичные крыши таких же маленьких коттеджиков. Тут располагались посетители сортом пониже. Посетителям сортом повыше было предоставлено нечто вроде отеля на холме, метрах в восьмистах от общежитий. Там были зеркальные окна, лифты и мальчишки в красных ливреях с позументами. Мальчишки тоже были „питомцами" и, в виду этого, никогда за пределы непосредственной территории отеля не выпускались.

## Об яичнице и правонарушителях

Расквартировались мы сравнительно быстро. Наши немудреные пожитки, состоявшие из полотенец и зубных щеток, были запиханы в маленькие, кокетливые ночные столики; нам с почти западноевропейской тщательностью были постланы широкие и облачно мягкие постели, затем какой-то тип, походивший на хорошо выдрессированного орангутанга, принес горячей воды для бритья и заявил, что нас уже ожидает обед на фабрике кухне.

Мы, конечно, делали вид, что все это так и полагается, что ко всему этому мы привыкли давным давно, еще со времен вступления нашего пролетарского отечества в социализм. Роом даже до того обнаглел, что потребовал у оранг-утанга, чтобы тот вычистил ему сапоги. Оранг-утанг еще не был в курсе дела относительно нашей настоящей сущности и, подавив в себе легкое замешательство, повиновался. На другой день, однако, после того, как он убедился в высоте нашего полета, в нем сказалось его пролетарское происхождение и воду для бритья он вычеркнул из круга своих обязанностей.

Один только Оська не пытался скрыть своего восторга. Бухнувшись всей своей семипудовой машиной на пружинную кровать, он стал на ней с го-

готом подпрыгивать, не обращая внимания на уверения Штосса в том, что кровать — особа женского пола и грубого обращения не понимает. Свою шарманку он сразу же распаковал и стал направо и налево щелкать „интерьеры". Он навинтил ее на штатив, огромный и прочный, как тренога легкого противотанкового орудия, и по пути на фабрику-кухню держал ее на плече, как Геркулес свою палицу. Иногда, завидев среди встреченных какого-нибудь особенно смачного ворюгу, он угрожающе замахивался ею и с полного размаху бросал ее на землю, на все три ножки штатива сразу. Затем, после долгих манипуляций над обалдевшим „нарушителем социалистической законности", производилась с'емка, и шарманка снова, описав в воздухе пару концетрических кругов, опускалась на Оськину косую сажень.

Такого обращения с камерой я ни до, ни после не видал и даже не предполагал, что существуют модели, способные на такие переживания, но данная модель, казалось, была сделана по специальному Оськиному заказу.

— Э, подумаешь! — заявил мне Оська, когда я попытался исполнить свой рыцарский долг относительно бессловесной шарманки. — Это тебе не ТОМП*). Это, братончик, довоенный Эрнеман! Производства до Тридцатилетней Войны! Им Валленштейн своим ландскнехтам головы проламывал!.. А впрочем... — добавил он, помахав камерой в воздухе. — Если мне Союзкино дает аппарат, так от этого аппарат еще не становится моей собственностью! Не так ли, мой юный друг?.. — он посмотрел на меня взглядом, требующим беспрекословного понимания.

***

Фабрика кухня была железо-бетонно-стеклянным зданием, напоминающим павильон воздухопла-

---

*) Фото-аппарат советского производства.

вания с парижской выставки 1937-го года. Это был именно тот тип социалистической столовой, который мерещился Маяковскому в его социальном заказе „Летающий Пролетарий“.

„Летают сервированные аэростоловые Нарпита:
Стал
и сел.
Взял
и с'ел.
Хочешь — из двух,
хочешь — из пяти, —
на любой дух,
на всякий аппетит“ . . . и т. д.

Отдельные квадратные покрытые скатертями столики, вместо длинных досчатых нар, типичных для московских столовок; стулья, а не скамейки; огромные, молочные шары люстр, вместо засиженной мухами лампочки под потолком, и, наконец, нечто, чего с московскими столовками вообще не сравнишь: на каждом столике — горшок с настоящими живыми цветами.

На столиках предупредительно разложены меню. Меню небольшое, но изысканное: окс-тэйл-бульон, борщ. На второе — свиные отбивные, какое-то там рагу и обязательно что-нибудь вегетарианское... Дальше — в том же духе: мороженное, пуддинг и прочие хорошие вещи из сказок Обри Бэрдслея.

К обеду мы опоздали, так что ко всей этой луккуловской номенклатуре я сперва отнесся с легким подозрением: чорт их знает, что они там называют, например, свиными отбивными: в Московском „Савой“ я по добытой мамашей профинтерновской книжке едал котлеты, шедшие за куриные. На самом деле это была рубленая и вываренная морковка, помазанная сверху советским мясным экстрактом. . .

Опоздавшим — кости: на сцене появился повар, весь в белом колпаке, и заявил, что все уже остыло, а подогревать что бы то ни было у них не

принято. С достоинством матерого мэтр-д'отеля он предложил нам выбор между бифштексом а-ля-минют, с условием потерпеть минут десять, и яичницей с ветчиной, которую он обещал смастерить минуты в три. Вместо супа он вытряс нам из своего волшебного рукава грушевый компот, который, по его мнению, прекрасно соответствовал ванильным печеньям, оставшимся, если он не ошибался, от торжественного бракосочетания двух членов коммуны. Бракосочетание имело место сегодня утром, так что печенья еще не успели пересохнуть.

Самое трудное — это было делать абсолютно незаинтересованный вид. Мы исподлобья переглядывались, не решаясь остановить своего выбора на бифштексе или яичнице. Почему-то чудилось, что отважься кто-нибудь из нас высказать вслух свое пожелание, и повар вместе со своим бетонно-хрустальным замком разлетится, как сладостно-кулинарный сон советского обывателя.

Скорее всех нашелся Оська.

— Лопни мои глаза—яичница! — заявил он тоном буссенаровского пирата, разрешившего проблему выбора между бриллиантовым перстнем и пленной красивицей, — яичницы с ветчиной я аж с самой Ахтырки нэ бачив! Только штоб на смальце, та з цибулькой, раз уж на то пошло!

Повар изогнулся, выражая этим свое одобрение и одновременно найдя в этой позе более удобный предлог, чтобы не заметить Оськиного провинциализма.

— Ну, а мне, конечно, бифштекс! — процедил Роом, бросая на Оську уничтожающие взгляды.

— Я, пожалуй, яичницу! — решился я, сообразив, что яйца все-таки труднее имитировать, чем бифштекс!

— Эх, мама! И мне яичницу! — поддержал нас Штосс. — Только... — он на секунду замялся, — хорошо бы водченки предварительно!

— Спиртные напитки на территорию коммуны не допускаются! — холодно заявил повар. — Если

товарищи имеют вкус к квасу,—добавил он несколько мягче, — то я могу услужить превосходным монастырским хлебным! Сварен по рецептам старого Николо-Угрежского монастыря, и могу похвастаться, — здесь колпак повара отошел вместе с волосами назад, давая место широчайшей самодовольной улыбке, — действительно, превосходен!

— Пускай квас, пускай квас! — решил Роом, пока разочарованно переглядывались Калюжный со Штоссом. — А то мой бифштекс, действительно, остынет!

— Бифштекс вам только еще будут жарить, Абрам Матвеевич! — нескромно вставил я.

— Ну, так или он пережарится, какая разница! Мне кажется, я вам скоро должен буду делать замечания, Юрий Иванович!

* * *

К тому моменту, когда наколотые на вилку хлебные корочки, описывая по тарелкам мягкие скобки, вылизывали последние остатки яичницы, огромные стеклянные двери пустого зала зашевелились, пропустив стройную белую фигурку „гражданина начальника". Теперь он был в тениссном костюме и в этом функционалистическом окружении напоминал куклу с макетов социалистических городов далекого будущего.

— Ну, как, товарищи? — спросил он, подойдя пружинистым шагом и присев на край соседнего столика. — У меня в распоряжении пятнадцать минут, я хотел бы их использовать, чтобы дать вам несколько предварительных об'яснений. Сегодня вечером вы пожалуете ко мне: там соберутся начальники колонии и мои помощники—тогда вы сможете получить более полное представление о коммуне. Пока же, если разрешите,—пятнадцать минут.

Тон у него был такой, что не четырнадцать и не шестнадцать, а вот именно пятнадцать минут: к минуте коммунист должен относиться столь же бе-

режно, как к священной и неприкосновенной социалистической копейке! Впрочем, о том, как дела обстояли с копейкой, мне, надеюсь, доведется рассказать позднее.

Дегтярев начал с каких то статистических данных, которых я, не будучи гением эрудиции, приводить не буду. Он говорил о процентном соотношении преступной и не преступной части населения до и после октябрьской революции.

По его данным выходило, что самой своей сущностью воспитывая в своих гражданах преступные черточки, прогнивший царский режим боролся с армией закононарушителей, чуть ли не в десять раз превышавшей то небольшое „наследство", которое принуждено было перенять от него советская власть. Он говорил о том, что священный огонь гражданской войны, возгоревшийся в грудях „закононарушителей из протеста", переплавил их души в новые формы отважных бойцов и строителей социализма.

Обладая небольшой долей аналитического скептицизма, его слова можно было расшифровать и в том смысле, что красная гвардия почти сплошь состояла из „закононарушителей" с возгоревшимися душами. Но аналитический скептицизм в советских условиях присущ одним лишь великомученикам.

— Нам почти не прходится иметь дела со взрослыми закононарушителями, — говорил он, потирая длинными гибкими пальцами тщательно выбритые щеки. — Их почти не осталось. (Впоследствии, попав в лагерь, я получил возможность обследовать места, где эта вымирающая разновидность водилась еще во вполне достаточном количестве. Впрочем, даже на воле беспристрастный исследователь мог очень просто убедиться в ее наличии, на минуту оставив свои карманы или чемоданы без присмотра).

— Прецентуально больше всего места в контингенте наших воспитанников, — продолжал он,— занимает молодежь двадцати двух, двадцати трех лет. Это-то и есть основное наследство от царского режима: они вошли в революцию семи-восьми лет

от роду, потеряли родителей в гражданской войне и волей-неволей принуждены были пойти по скользкой дорожке. Это же одновременно и самый трудный, самый аморальный слой советской преступности. Они буквально с пеленок привыкли считать себя вне закона и, попадая к нам, не имеют понятия не только о какой-то там морали, но просто смотрят на все остальное человечество, как на какую-то совершенно отдельную, низшую и презренную расу. Мы с вами для них — морлоки, „фраеры"! — он, видимо, вошел во вкус своего повествования, немного разорячился и стал сопровождать свою речь округленными адвокатскими жестами. Морлок-Роом, мрачно чавкая, дожевывал свой бифштекс.

— Притом, — продолжал Дегтярев, на секунду вслушавшись в хлюпающие звуки Роомовских челюстей, — необходимо отметить, что мы принимаем сюда только правонарушителей-рецидивистов: для того, чтобы быть принятым в Болшевскую коммуну, необходимо иметь минимум пять приводов или судимостей. Перековка такого человека в честного советского гражданина занимает у нас от одного до трех лет. Бывают, конечно, случаи, когда и пять леть не помагают. Тогда... — он замялся, — тогда случай признается безнадежным. . .

Мы не стали спрашивать, в чем заключается признание случая „безнадежным".

— Пять приводов. . . — мечтательно произнес Оська. — Абрашка, сколько у тебя судимостей? — У меня екнуло сердце. — А, скажите, когда человек садится в ГПУ — это тоже считается приводом?

— Я тебя . . . Я тебя, сукиного сына . . !— взвился Абрашка. . .

— О, нет! — галантно ответил Дегтярев. — Под приводом мы понимаем только чисто уголовный эпизод! . . Для политических преступников ГПУ располагает специальными учреждениями, которые, впрочем, не хуже нашего справляются со своей нагрузкой. . .

* * *

— Е дондер шиш, — бормотал Оська, сшибая своим штативом головки с придорожных цветов, когда мы неразлучным табунком покинули храм гастрономии. — Придушить Абрашку. . . Угробить Басса... Вскрыть кассу в финотделе... Што-б такое еще?.. Ох-Иваныч, посоветуй!

— Чиво-с?

— Посоветуй, друже, чего-нибудь такого, для стажа!

— Для стажа? — я посмотрел на Оську снизу вверх светлыми очами младенца, глаголющего истину. — Вас, Осенька, не возьмут! Вам ведь за сорок!

— Ух, верно! — огорчился Оська. — А то еще признают, как „взрослого закононарушителя“, несуществующим!

— Или безнадежным случаем. . . — вставил я.

— Эх-ма! — разочарованно произнес он. — Некуды податься! Не житье нам, старикам, в этой юдоли слез. . .

* * *

Время с обеда до вечернего заседания мы провели в гео- и этнографических изысканиях на территории коммуны. Переждав некоторое время, пока желудок справлялся со свалившейся в него манной небесной, мы сомкнутыми рядами двинулись по широкой аллее, обсаженной пылающими факелами пирамидальных тополей. Был ветреный и ясный вечер, и тополя полоскали свои упругие верхушки в потоках кроваво-красного ветра.

— Ух, кадры! Ух, кадры... — бормотал Оська, щуря глаза и шествуя размашистым шагом спущенного на берег моряка. Его необ'ятные, как театральный занавес, штаны тоже полоскались по ветру, облипая несуразно толстые икры, и он в благодушном восторге хлопал себя по заголившемуся из под белой майки животу.

Пустая днем аллея была теперь полна зашабашившим населением коммуны. Парочками и табун-

ками двигались раздобревшие правонарушители обоего пола, изливая свою упитанность и радость своего стопроцентно-утопически-коммунистического жития в раскатистом хохоте, блатных песенках и непридушенном буржуазной моралью флирте.

Впереди нас двигалась компания, вооруженная лирой советского романтизма — шестирядной гармошкой. Вихрастый парнишка в трусах и красной футбольной майке томно перебирал подмывающие звуки каких-то совершенно незнакомых мне мотивов, и ему вразброд, страдающими голосами, подпевали трое укулеманых в красные платочки девиц. Несколько туже обыкновенного обняв их тальи одной рукой, парнишки, замыкавшие шеренгу с флангов, свободными конечностями улавливали из двигающейся толпы других таких же представительниц слабого и пестрого пола. Таким образом компания постепенно разросталась, занимая уже всю ширину аллеи и грозя окончательно заслонить собою горизонт.

„Неужели это все воры?“ думал я, толкаясь на ходу плечем в Оськин бок, твердый, как куль муки. Так приятно было пихать эту тушу, сознавая, что ей плевать, что она даже на сантиметр не поддается под моими толчками. Я в первый раз в своей жизни видел легально существующих воров и бандитов, и это зрелище производило легкий диссонанс в моем миропонимании. Я чувствовал себя, как местечковый еврей, который, в первый раз в жизни увидав жираффа, после долгого раздумья, твердым тоном заявил: „Не может быть!“...

Однако, все это были воры, и воры не какие-нибудь, а, так сказать, пятисотпроцентные: только самые неудачливые из них имели пять краж, взломов или убийств. Для этого им нужно было регулярно попадаться после каждой „работы“. Большинство же имело в своем послужном списке по пятнадцати, по двадцати деяний, предосудительных с точки зрения даже советского закона... Да-а, дол-

гим стажем они заслужили себе местечко на этом седьмом небе советского рая...

На вечернем заседании товарищи начальники колонн поймали меня на рефлективном жесте: я опасливо прижимал локти к карманам и слегка отодвигался, когда кто-нибудь подсаживался ко мне рядом. Гомерический хохот долгое время оглашал стены низкого и широкого приемного салона частной квартиры „гражданина начальника".

Я растерянно оглядывался по сторонам.

— Пузырится! — выдавил из себя один из сатрапов, захлебываясь саркастическим смехом. — Мерлушку прикапывает!.. Хэ-хэ-хэ!..

Это заявление не рассеяло моего недоумения.

— Сколько раз я вам говорил, Юрий Иванович... — начал было Роом, решивший, очевидно, что я снова натворил что-то, порочащее его режиссерское достоинство.

— Простите?.. — переспросил я сатрапа, разворачивая папирусный свиток своих блок-нотных фактур. Для большей портативности я свернул их в трубочку и, подобно египетским писцам, перематывал их по мере заполнения вмененными мне в обязанность записями.

— Мерлушку прикапываете! — пояснил мне сдержанно улыбавшийся Дегтярев. — Мерлушка — это, вообще говоря, золотые часы. А прикапывать — это... вроде как-бы беречь, что-ли. Не то, чтобы прятать, а, так сказать, не выпускать из виду.

— Ну, так что?.. — удивленно воззрился я на него. Золотые часы принадлежали к довольно таки толстому слою предметов, которыми мне не довелось обладать в моей жизни. С какой-бы стати я стал их „прикапывать"?.. И почему этот несуществующий факт доставляет такое удовольствие моим собеседникам?.. — А „пузыриться?"

— Пузыриться — это то, что вы сейчас вот делаете, — пояснил он, заглушаемый новым, еще более ураганным, взрывом хохота. — Это когда фраер в толпе на всякий случай за карманы придержи-

вается. Думает, что это его от чего-то убережет... Дело в том, что, когда новый человек приезжает к нам в коммуну, он первое время обязательно пузырится. Это уж такая традиция! А у нас тут такие ширмачи есть (карманники — пояснил он в скобках), что любого фраера на пари обчистят. Скажут вам, например, чтобы вы завтра утром зашли за вашими часами в бюро находок. А часы при вас. Вы их, конечно, начинаете прикапывать. Но только до завтрашнего утра у вас их все равно не будет! Вы — в бюро находок: смотрите, они там лежат, вас дожидаются!.. Хе-хе-хе...

Я сообразил, что товарищам начальникам колонн было приятно, хотя-бы по одной терминологии, вспомянуть минувшие славные дни, и из солидарности тоже заржал. Но когда, бросив взгляд через плечо на сидевшего в кожаном кресле Роома, я увидел, как тот украдкой под рукавом ощупывает свой ручной „хронометр“, в моем смехе появилась нотка неподдельной искренности.

* * *

Светлым фактом в нашей научно-исследовательской прогулке по территории коммуны был тот, что мы нашли смущавшего покой Роомовской души негритенка.

Шествуя по аллее, мы набрели на огромное пространство, занятое под восемь или десять теннисных кортов. Справа от кортов возвышалось широкое бревенчатое здание раздевалки, на плоской крыше которого стояли столики, покрытые белыми вздувающимися на ветру скатертями, и несколько пестрых парашютообразных зонтов. Естественно, что туда мы и направили свои стопы.

Открывшаяся перед нами панорама очаровала — кого своей красотой, кого своей фотогеничностью, а меня лично — двумя дюжинами белых рубашек, от которых возгорелось мое пострадавшее за теннис сердце. Я стал пристально всматриваться

в игру каждой пары по очереди, сопровождая свои наблюдения пинками в Оськин бок в особо азартных случаях.

Внезапно мое внимание было привлечено странным явлением: подобно дьяволенку в стаде херувимчиков, среди белых рубашек копошилось нечто черно-лиловое, в красных трусах и невообразимо кучерявой шевелюре.

— Чортова перешница! — подумал я, — или это чемпион здешних мест по загару, или у меня дальтонизм!

— Оська! Возьмите-ка ваш светофильтр и посмотрите вон туды!

Оська посмотрел по указанному направлению, потом недоуменно — на меня, потом — снова на корт. Потом мы переглянулись и сломя голову ринулись вниз по лестнице.

— Куда вас, черти?.. — донесся нам вслед умирающий возглас Роома. Но мы не слушали. Вылетев на площадку, возбуждая у игроков генеалогический интерес к нашим предкам, мы стали лавировать между сетками, мячами и белыми рубашками, держа курс на черное пятнышко, подобно овчаркам, завидевшим волка в бараньей отаре.

Он играл. Он не был продуктом дальтонизма, он даже не был чемпионом загара. Это был самый настоящий, стопроцентнейший негритенок, с улыбкой — как будто из черного арбуза его рожицы кто-то вырезал здоровенный ломоть от уха до уха. Глаза его напоминали фары автомобиля в непроглядной темноте африканской ночи, а волосы — ту стальную стружку, которой европейские хозяйки выскребывают свои кастрюли и пятна на паркете. От времени стружка становится такой же черной, каким был колтун на яйцеобразной башке этого черномазого дитяти далекого знойного юга.

Выстроившись вдоль проволочной сетки, мы недоверчиво переминались с ноги на ногу, предаваясь всякого рода фантастическим измышлениям.

У какого африканского бога хватило фанта-

зии занести своего верного раба в это атеистическое окружение?.. Почему этот урожденный хамит так изысканно и беззаботно кроет своего партнера чистейшим славянским матом?.. Откуда, наконец, такое счастливое совпадение: вам нужен негритенок? — Нате вам негритенка! Словом — догадкам и предположениям не было конца.

Таким образом, мы проторчали столбами под сеткой минут двадцать. Потом, наконец, виновник торжества с кошачьей ловкостью вбил своему противнику последний гейм, издал какай-то родной его сердцу победный клич и, вращая над головой ракетой, направился к выходу. Здесь он попал в поле обстрела Оськиной гаубицы, угрожающе сверкавшей черным дулом об'ектива. У ее казенной части, закамуфлированный огромной черной простыней, суетился сам Оська, накручивая взад и вперед свои прицельные приспособления.

Подойдя ближе, негритенок, как это ни странно, не испугался и даже не сделал никакой попытки к бегству или самозащите. Наоборот, завидя аппарат, он сам бросился к нему навстречу, осклабился так, что я ужаснулся за целость его черепной коробки, и, вращая белками, стал шагах в трех от аппарата в позу победителя. Оська перестал вертеть наводку и вставил кассету.

— Бэ-ээ! — над аппаратом появилась физиономия Оськи, скроенная в какую-то невероятную рожу. Геройское выражение на лице победителя сменилось удивлением и испугом.

— Клик! — щелкнул аппарат.

Окружившая нас компания зрителей разразилась дружным хохотом. Кассета в аппарате была быстро перевернута. Негритенок, сообразив, что его провели на мякине, принялся восторженно гоготать, приседая и хлопая себя по ляжкам. „Клик! клик!"— щелкал аппарат, запечатлевая самые неожиданные варианты сверкающей, как лакированный ботинок, негритянской рожицы.

Так было заведено знакомство с отпрыском

сухумского негра и донской казачки — Сашкой, некорованным принцем Болшевской коммуны и основным героем всех литературных, фото- и кино-отчетов об этом доме отдыха для ветеранов отмычки и шпаллера.

* * *

Впрочем, Болшевская коммуна не была домом отдыха в полном смысле этого слова. Здесь царила воспитательно-трудовая система, которая все-таки не позволяла околачивать груши слишком уж откровенным образом. При коммуне были свои производства, в том числе довольно крупные мастерские различного спорт-инвентаря. Здесь прозводились коньки, лыжи, футбольные мячи и бутцы, клюшки, сетки и, наконец, теннисные ракеты. Работа оплачивалась пропорционально проценту выработки особым, так называемым „внутренним“ болшевским, рублем, вне коммуны хождения не имевшим и подбиравшимся по стоимости к старому, доброму, довоенному целковому. Средний заработок среднего коммунара равнялся, по словам Дегтярева, пятидесяти-шестидесяти таким рублям в месяц. Были, однако, и специалисты, выколачивавшие до ста-ста пятидесяти рублей.

В коммуне были свои магазины, в которых можно было достать все то, что презренная вольная часть человечества доставала в сезамах Торгсина, принося туда недопертые у нее коммунарами „мерлушки“, крестики и обручальные кольца. Были в коммуне театр и кинематограф, куда приезжали на гастроли лучшие труппы СССР и ставились лучшие, иногда даже заграничные фильмы. Были свои кафе, спорт-площадки и катки зимой.

Как-то раз, зайдя в мастерскую, в которой производились теннисные ракеты, я обнаружил там одного старого папашиного знакомца, некоего Цыганкова. Цыганков меня в лицо не знал и поэтому в сжатой и искаженной официальностью своего положения форме рассказал мне свою историю, ко-

торую я слыхал от папаши в ее аутентичном виде. История эта, хотя она и имеет к данному повествованию лишь весьма косвенное отношение, все же достаточно примечательна, чтобы стоило потратить на нее несколько скупых строк.

В свое время Цыганков был ракетным мастером-кустарем в Москве, где имел свою, довольно большую, мастерскую. Его ракеты были каждая своего рода шедевром и знатоками ценились настолько, что экспортировались даже в Англию (!). Потом пришла национализация. Цыганкова, как кустаря с наемной рабочей силой, обложила фининспекция. Он рассчитал наемную силу и стал на положение кустаря-одиночки.

Мой отец в это время работал в ЦК Совторгслужащих в качестве инструктора по физкультуре. Когда спортивной секции ЦК понадобились ракеты, он стал подыскивать подходящего для этой цели кустаря и набрел на Цыганкова. После долгих мытарств с обоих сторон Цыганков, наконец, получил заказ от ЦК на несколько сот ракет. Об этом заказе пронюхала фининспекция, и Цыганков снова был обложен. Заплатил. „Э-гэ!“ — подумала фининспекция и обложила раба Божьего еще, еще и еще раз. В конце концов, раб Божий Цыганков появился в ЦК с мольбой снять с него фатальный заказ, иначе он лопнет и поедет в концлагерь, а ЦК все равно останется без ракет. Но ЦК уже заплатил порядочную сумму вперед и подарить ее фининспекции отказывался. Цыганков вернулся домой, попытался загнать кому-то свою мастерскую и был пойман с поличным. Мастерская была опечатана и продана с торгов фининспекцей, а Цыганков куда-то исчез с горизонта. Последний акт драмы был завершен в ГПУ. Севшему Цыганкову было предложено заведывать болшевской ракетной мастерской. Он отказался, заявив, что „пусть они ему кишки на струны вымотают, а работать на них он не пойдет“. Тогда посадили жену и брата. Он угрюмо отмалчивался. Тогда ему сказали, что его ребятишек возьмут в детдом,

после чего он сможет встретиться с женой и братом на том свете.

— Вот они, мои ракеты! — говорил мне Цыганков, после того, как я открыл ему свое инкогнито. — Я на их, на ракетах, сорок восемь годков просидел! Был у меня в Лавре приятель, тот иконы писал. Так вот для меня ракета — та же икона была! Уж я ее бывало сделаю! И обмажу, и полижу, и стеклышком подскоблю! А теперь? Ракет вам хочется, товарищи?! Нате вам ракеты! — Он яростно хлопнул своим произведением о кончик сапога, и тот саркастически высунулся из лопнувшего кордажа...

## „Индия"

Поздно вечером, когда на черное небо китайским фонариком вылезла луна и окончилось неискренне-напыщенное собрание товарищей сатрапов, мы, возбужденным гвалтом прочищая прокуренные легкие, высыпали на аллею перед коттеджем „гражданина начальника".

Под конец собрания я внезапно почувствовал себя чертовски усталым, приумолк и, спрятавшись в темноте за широкой спинкой Роомовского кресла, думал о той невероятной душевной жилистости, которой должны были обладать все эти советские сатрапы и визири, ежеминутно и ежечасно долбящие одни и те же стандартно-бряцающие фразы... Какую по-истине крабью психологию нужно иметь, чтобы говорить об альтруизме, о человеческом счастье и о прочих вещах в этом царстве глубоководных рыб, где человек человеку не то что волк, а какая-то восьминогая председательски ядовитая сволочь... сволочь, о которой никогда не знаешь, с какой стороны и каким щупальцем она тебя обожжет или придушит, чтобы потом, на досуге, медленно сожрать...

Избыток переживаний за сегодняшний день вывел меня из строя. Возбуждение сменилось апа-

тией, и я сам себе казался восьмилетним карапузом, „после бала веселого“ заснувшим на широких отцовских плечах. Подбородок покоится на мягкой папашиной макушке, рученки обняли шею, и отдаленно, сквозь сон, констатируются какие-то мерные покачивания. Это папа — кораблем пустыни — шествует домой.

К Роому подсел какой-то тип и что-то ему красноречиво плетет о своем презренном прошлом и сияющем будущем. У типа глаза агнца и челюсть Джека-Потрошителя. Я начинаю как-то безразлично опасаться, что Абрашка заставит меня что-нибудь записывать.

Два каких-то гугенота стали перед развалившимся на диване Оськой и тоже что-то глаголят. Глаголом жгут его ожиревшее сердце. Из моего угла мне не видно выражения Оськиного лица, но я его себе как-то очень живо представляю. Губы, наверное, искривились так, что не разберешь — выражают ли они иронию или молчаливое восхищение. Гугеноты действуют по способности — оба сразу. До меня долетают отдельные шаманские выкрики: . . . „Пролетарское самосознание“. . . ... „Почему я стал честным“... ... „У товарища Ягоды такие глаза“... ... „Мое возвращение в семью трудящихся“...

. . . Господи, неужели с ними никогда не бывает так, чтобы им хотелось немножко заснуть?.. Почему они не остались просто честными ворами?..

* * *

Я хапал свежий воздух и понемногу приходил в себя. Тополя стояли как длинные мягкие кисти, обмокнутые в жидкое серебро. Гравий неожиданно громко хрустел под ногами, образуя вдоль по алле лунную дорожку в море черной зелени. Издалека доносилось какое-то ритуальное пение.

Мы двинулись медленным шагом перипатетиков, взяв друг друга под руки. Впереди пошли

Роом с Дегтяревым и еще кем-то, потом Калюжный со Штоссом и со своими гугенотами и, наконец, сошка помельче — я с тремя сатрапами. Они, видимо, тоже были довольны благополучным окончанием оффициальной части заседания. Кто-то из них стал вполгоса подпевать долетавшему откуда-то мотиву.

— Кто это поет? — спросил я, вспомнив ночи на Холодной Балке под Одессой, где я малышем успел еще послушать замолкнувшие с тех пор настоящие украинские песни.

— Это наш культпросвет упражняется! — заявил кто-то горделивым тоном. — Хотя, — он прислушался, — это, пожалуй, индейцы собрались! Ты как думаешь, Генька?

Генька тоже прислушался.

— Факт, что Индия! Слышишь?

— Да, жаль, бра-ти-шеч-ка, я скован кан-да-ла-ами. . .

— Это уж факт — Индия!

— Какая Индия? — удивился. я.

— Индия? А-а, это. . . Об'ясни ты ему, Жук, я там не был!

— А-а, брат, Индия! — нерешительно начал Жука. В нем, видимо, боролась оффициальность его положения с какими-то неоффициальными воспоминаниями. — Индия! — полумечтательно добавил он. Потом он опасливо посмотрел вперед на спину своего патрона, переглянулся с коллегами и, таинственно прижав к себе мой локоть, шепнул:

— Знаете что, Ох-Иваныч, гайда, отчепимся от паровоза, — он кивнул в сторону патрона, — и дунем тудою! Посидим, послушаем, сами попоем! Вы там чего-нибудь записать сможете, если вам надо! — он заглянул мне в глаза, как бы пытаясь установить степень важности для меня этих моих записей и, вместе с тем, возможности иметь со мною дело, как с человеком.

Я так же пристально посмотрел на него и, собрав весь еще оставшийся у меня запас бодрости духа, ухарски подмигнул.

— Шатай взад, ребятки! — вполголоса распорядился Жука. Мы замедлили ход и, дождавшись, пока головной отряд удалился метров на пятьдесят, тихонько свернули в боковую аллею.

* * *

— Вишь какое дело, — говорил мне Жука, парнишка лет двадцати пяти, с лошадиной физиономией, украшенной целой коллекцией самых разнообразных шрамов. — Есть в Костроме один такой изолятор, там, так сказать, несовершеннолетним вход воспрещен: одни короли сидять. Короли— это по нашинскому, значит, бандюги. Мировые, так сказать! Их там, конечно, тоже перековывают, только. . . проще говоря, меня сюды оттедова живьем взяли. За примерное поведение, так сказать. А которые не примерные, так тех там, значит, одно слово — перековыва*ють*.

Он многозначительно посмотрел на меня. Я, конечно, понял.

— Перековыва*ють*?

— Вот именно, перековыва*ють*! Которые, значит, настолько несознательный элемент, что за ними по пятнадцать побегов имеются, которые с фомкой родились и за фомку помирать пойдут, тем, значит, костромской ИЗО самое место: можно сказать — пансион благородных девочек.

Остальные спутники шли молча, подхватив нас с обоих сторон под руки. Чувствовалось, что сами они к теме повествования отношения не имеют, но слушают не без интереса. Так слушает молодое население судового кубрика рассказы старого боцмана.

— Так вот, значит, — продолжал Жука, — имеется в ентом самом пансионе одна камера: как ты в эту камеру попал — так можешь, значит, делать все, чего тебе твоя правая пятка захочет. Хочешь — спи целый день, хочешь — души, кого попало! Потому, как в этой камере дверь только внутрь

окрывается, а наружу — нет. Можешь, значит, считать, что тут тебе пожизненную пенсию выписали. И никто в эту камеру не заходит, и никому до нее никакого интересу нет. Бачек с баландой раз в день и хлеб раз в день. А кто уж там этот хлеб ест и кто не ест — за это, извините, администрация не ручается. Раз в три дня приходит попка*) и спрашивает: „Мертвяки есть?“ — „Есть, гражданин начальник, так тебя и так!“ — „Значит, тащи их, мертвяков, сюды, братцы-товарищи!“ Кто, конечно, посильней, да покрепче — тот, значит, живеть и размножается. А которые, значит, ежели нет — тому и карты в руки: катись, браток, ножками вперед, Полный, можно сказать, социализм наблюдается?

— Кхе-гм! — кашлянул мой сосед справа.

— То-есть, я хочу сказать... — попробовал было вывернуться Жука, но я перебил его:

— Ну, я в общем понимаю: бесклассовое общество!

— Оно самое, мать его... — обрадовался тот. — Кто был — знает! А кто не был — пущай стесняется, ежели на то его собачьей души станет! А я, браток, старый индеец, мне стесняться Бог не велит!

Он, харкнув, сплюнул, помолчал, потом сплюнул еще раз и продолжал:

— Так вот, значит, оттого, как в этой камере темнота полная и опять же ни одна собака про ее ни черта не знает — так вот и пошло ей оттедова название „Индия“. А которые, значит, в Индии жильцами — индейцами называются. Совсем, брат, специальный народ!

Он опять помолчал, как бы разглядывая проходившие перед ним воспоминания. Я почему-то подумал о том, что есть еще в мире люди, которые зачем-то пишут романы...

— И вот, значит, сам понимаешь, — продол-

*) Тюремный надзиратель.

жал Жук, — делать в этой Индии людям вовсе нечего. Сидять себе урки — смерти дожидаются. А это уж так повелось: когда знаешь — ты, да смерть, да больше никого, так у человека в голове песни сами складываются... Страсть человеку песни петь хочется! И вот, значит, поют... Днем поют, ночью поют — все равно ни дня, ни ночи нет: окна наглухо заколочены. А какие в Индии песни поют — об этом никто и знать не знает: стенки толстые, наружу не слышно. А мертвяки, опять же, песен петь не умеют — значит, так на воле никто и не знает какие в Индии песни поют... ,

Он снова помолчал и потом, уже в более бодром тоне, добавил:

— А тебя, Ох-Иваныч, мы сегодня самой, можно сказать, что ни на есть распронастоящей Индией угостим: года полтора тому назад нас оттедова двадцать восемь человек живьем взяли. Взяли, да спрямо сюда! Сказали нам: будете честными трудящими — останетесь. А ежели, говорят, что — тогда, братишечки, пишите письма! А кто в Индии побывал — тому помирать смерть как не хочется! Ну, мы, конечно, враз на таких фраеров переделались, что лучше нас во всей коммуне нет! Это-то вот, брат, она самая и есть — перековка! Ты что, думаешь, Дегтярев тогда трепался насчет мерлушки-то? Факт! Самый, что ни на есть факт, ей-Богу! Здесь тебе, в Болшеве, вернее, чем в Госбанке, под запором: никто ничего не возьмет! Можешь десять тысяч деньгами прямо на дороге оставить — вернут! Потому, как ежели не вернут.. — он запнулся.

Я вопросительно посмотрел на него.

... Ну, канашка, мы еще, знаешь... познакомимся сначала, а потом!..

— Так кто-ж тебе мешает? — удивился я. — Ну, спер, а потом — гайда! Кто-ж здесь за тобой усмотрит?! Ведь здесь даже проволоки кругом нет, если я не ошибаюсь!

— Э—э, браток! Проволоки! Тут, браток, не

проволокой держат! А потому, что нет на свете такого урки, чтобы ни разу не засыпался. Ну, ежели, конечно, простой смертный засыпется — ну, его максимум в лагерь. Посидит месяц — смоется. Поворует — опять сядет. Но это дело не рискованное. А тут...

— Да-а, тут что и говорить... — добавил Генька, шагавший на левом фланге.

Генька, как выяснилось впоследствии, был местным художником, носил народовольческую гриву и отличался углубленной в себя молчаливостью.

— Что и говорить! . . — подтвердил правый фланг.

— Угу... — сказал я, делая на эту тему собственные предположения.

Мы переваливали через небольшой бугорок, весь заросший кустами акации. Пение, какой-то странный, неведомый мотив — внезапно будто кто-то раздвинул театральный занавес — заполнило весь воздух серебристыми звуками. Внизу, на полянке, лежа в разных позах на траве, расположилось человек пятнадцать. Они смотрели на луну, которая заливала их лица мертвецкой зеленью, и пели...

* * *

Перевалив холмик, Жука замолчал, и я почувствовал, что наше появление нужно сделать по мере возможности менее заметным. Сойдя с аллеи на траву, мы тихо подошли и стали в сторонке. Жука, подогнув ноги, сел, его примеру последовали и остальные. Из поющих никто не обернулся, только кто-то из лежащих напротив вскинул веки, и белки его блеснули в зеленых лучах луны. Я как-то поежился от этого блеска.

„Волки... — мелькнуло у меня. — Стая волков воет на луну!..“

Вспомнилась Скала Совета, на которой волки принимали в стаю Маугли. А вон и сам Акела — сидит спиной ко мне и как бы дирижирует, в такт

наклоняя широченные плечи и кивая головой... Факт, что волки!

Временами Акела приподнимал опущенную на колено руку, как бы приглушая, соответственно со своим творческим представлением о песне, звуки своего хора. Казалось, что никто из поющих не смотрит на своего дирижера: кто опустил голову на грудь, кто закинул ее в небо, кто и совсем закрыл глаза, но эти беззвучные жесты каким-то непонятным образом воспринимались певцами, и песня то затихала, то выростала, как звук приближающегося снаряда. Казалось, Акела играл на органе, клавиши которого сходились где-то внутри его огромного торса.

Лица были нездешние. Казалось, луна выманила со дна океана на берег команду какого-то затонувшего пиратского судна. Лица, покрытые шрамами от каких-то забытых абордажей, челюсти, которые от жевания табаку и морских сухарей приняли форму паровозных тормазов, руки такие, что невольно опасливо прикрываешь глотку... Ну-ну... Это значит— „Индия"...

— Вот этот, что в середке, — зашелестел, склонившись ко мне, Жука, — пахан. Ему было восемь лет, когда он в первый раз человека пришил. Свого родного батьку. А потом — пошло! Сел в Индию пять лет назад, потому как в Ростове кто-то восемь человек удавил, а сажать некого было. Вот он и сел. Ежели б докопались в твердую, что это он — был бы сейчас на луне. А он, вон видишь, здесь сидит, только что поет на нее! У него к ей вообще пристрастие: знать, свидятся когда-нибудь! Ф-фффф... — он так же шепотом хихикнул.

— Акела! – произнес я.

— Хто?

— Акела!

— Не, Его Беляком звать! Тришка-Беляк. А иначе у его, конечно, штук двадцать имен есть: на его угрозыск специальную книгу имеет!

* * *

Если бы моя проклятая память добросовестно зарабатывала свой хлеб, я бы привел кое-что из этих песен. Песни были такие, что пальцы на ногах завивались... Какая-то смесь из Гумилева, Сельвинского и того таинственного незнакомца, чьим творением явился Стенька Разин. Волчьи и песни. Песни о том, как мягко входит „перо" между пятым и шестым ребрами изменившей красавицы, о том, как „от марафета очи взбухли" и „все душе пропащей все равно..." Песни о том, как безнадежно крепки решетки и слабы голые человеческие пальцы...

А потом песни пошли специально „индейские": о том, как спустили в „Индию" „лягавого"*) и как „открутили" ему голову, а тело отдали „попке". Попка спрашивает — где голова? А ему отвечают, что, ежели он хочет голову — пущай сам за ней спустится. Попка спуститься не решается, так и торчит по сей день голый череп между решетками окна. . .

Или о том, как кто-то когда-то стал перочинным ножом рыть ход сквозь гранитный фундамент костромского изолятора. Рыл, рыл и вырылся, наконец, наружу... в раю. Представление о рае было у „индейцев" в высшей степени занимательное...

* * *

В постель я попал, когда уже начало светать. Обстоятельства осложнились тем, что никто из моих чичероне не знал, в каком именно коттедже мы остановились. Постепенно теряя надежду, что нам удастся поспать в эту ночь, мы бродили по коммуне, заглядывая в окна и тщетно пытаясь в темноте комнат различить какие-нибудь знакомые очертания.

---

*) Шпик, предатель, в данном случае — подосланный тюремным начальством.

Нас выручил Штосс, принимавший лунные ванны в обществе некоей прелестной правонарушительницы, неизвестно где и когда подцепленной.

Он расположился с ней на газоне перед коттеджем и при нашем приближении, если можно так выразиться, попытался пройти незамеченным. Однако, наметанный глаз одного из моих спутников обнаружил нечто темное в кустах, и идиллия была нарушена.

— Ух, простите, пожалуйста! — стал извиняться обладатель наметанного глаза, когда убедился в своей ошибке. — Я думал это кто-нибудь из наших! . .

— Так какого же вы чорта лезете не в свое дело! — возмущался Штосс. — Ваши — не ваши, какое вам-то до этого собачье дело!?.

— Дисциплина... Я, как начальник колонны...— оправдывался тот. — У нас есть особые помещения для... этой цели. Если вы потребуете, мы можем отвести вам комнату...

— Особое помещение?.. — изумился Штосс.

— Ну да! А вы думали?! У нас тут такая Европа, что. . .

— Вот это, я называю — заботливость! Вот это, я называю — социализм! Это-ж прямо таки — чорт его дери! — восхитился Штосс. В отношении поминовения социализма к месту и не к месту (но по большей части не к месту) в Штоссе сказывалась Оськина школа. Когда осенью того же года Оська сел, Штосс предпочел смыться, не оставив адреса. И очень во время: через три часа после его исчезновения за ним приехал особый вид советского транспорта, именуемый „Черным Вороном“...

## Книга посетителей

Я пробыл в Болшевской Коммуне семь дней. На третий день, повинуясь зову каких-то темных махинаций, Роом отбыл в Москву, и мы остались,

если можно так выразиться, в своем собственном распоряжении.

Мы начали с того, что окунулись в самую гущу местного населения, что, при наличии Оськиного темперамента, особых трудностей не представило. Он балагурил с юнцами и вел высоко-трансцедентальные разговоры с ворами постарше, ухарски сплевывая и невзначай меняя кассеты в своей шарманке. К беспрерывному щелканью, исходившему из этого его инструмента, население коммуны постепенно настолько привыкло, что уже больше не смущалось и не делало интеллигентных лиц в его присутствии. Я околачивался подобно космическому спутнику вокруг и подбирал крохи, падавшие с Оськиного стола, в виде особо-специальных выражансов, прибауток и песенок, которыми так богат подводный мир советского общества.

Временами на территории коммуны появлялись люди в клетчатых коричневых гольфах, фетровых шляпах и с желтыми макинтошами, перекинутыми через руку. На боках этих типов болтались бинокли и кодаки, а на лицах их была смесь из выражения лица „Алисы в стране чудес“ с выражение морды павиана, только что прибывшего в европейский зоо-логический сад. Это были „знатные иностранцы“

Их водил по коммуне никогда не терявший достоинства Дегтярев, в сопровождении нескольких особо проверенных на мимику сатрапов и хорошеньких переводчиц из Интуриста. В коммуне переводчицы чувствовали себя, как рыбы в воде, потому что, если особенности их профессии создавали им некоторые затруднения, допустим, в Донбассе, то здесь, в коммуне, все проходило выверенно и точно, как в самой наипоказательнейшей немецкой аптеке.

Если в Донбассе случалось, что какой-нибудь особенно оборванный „анфан террибль“ портил своим мерзким видом и клянченьем корочки всю разыгранную перед музыкальными иностранными ушами симфонию рабочих клубов, яслей и счастливой,

зажиточной жизни, то здесь, в коммуне, можно было быть уверенным, что ничего не попадется такого, что могло бы оскорбить нежный взор или слух заморского гостя.

Если голодный, оборванный и текучий донбасский горняк в ответ на какой-нибудь сахаринно-филантропический вопрос иностранца мог загнуть этого иностранца, а вместе с ним и переводчицу, в какую-нибудь особенно изысканную распрокузькину мать, то от такого казуса в Болшевской коммуне можно было чувствовать себя наполно застрахованным. Здесь публика была дрессированна, как те львы, с которыми можно спать, положив им голову в пасть.

Конечно, кузькину мать можно расшифровать иностранцу, как безудержное проявления восторга или обожания „любимого“ и „единственного“, но откуда у бедной переводчицы необходимый для этого запас сценического таланта, и, опять же, что-то будет, ежели этого таланта не хватит и иностранец возьмет и не поверит!.. В коммуне же можно со спокойной совестью переводить слово в слово, даже не дожидаясь конца фразы. Фраза всегда будет изысканно социалистической, дышащей пролетарским самосознанием, классовой гордостью стопроцентного пролетария и беззаветной преданностью советским архипастырям. Бифштексы суть бифштексы, а „Индия“ есть „Индия“...

Переводчицы щебетали, сатрапы извивались, негритенок Сашка скалил свою бесподобную улыбку, а знатные гости ходили китайскими болванчиками. . .

Однажды я испросил у Дегтярева разрешения увязаться с такой компанией. Я уж не помню, из кого именно она состояла, помню только, что после первого же раунда меня отогнал какой-то серенький типчик с глазами койота и со странным рельефом в области заднего кармана брюк. Стоявший рядом со мной взломщик-ветеран определил значимость этого рельефа с рефлективной безошибочностью, которая

вырабатывается годами его социально-близкой деятельности:

— Маузер 6,3!.. У-у, б. . . лягавая!..

Ознакомившись на протяжении нескольких дней с чудесами советской пенитенциарии, милые гости под белые ручки провожались в святая святых болшевского клуба, где на красном бархате специального аналоя покоился библиеподобный фолиант в толстом пергаментном переплете. В десницу гостя предупредительно вкладывалось отвинченное стило, и бархатный баритон товарища Дегтярева с трогательным достоинством просил его вписать сюда несколько строк „на память“ о произведенном на гостя впечатлении. „Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня!“

Гость, застенчиво улыбаясь, принимал ручку, на секунду задумывался и вписывал несколько искренних, симпатичных слов о той неизгладимой памяти, которую оставило в его сердце посещение этого чудного уголка великой, свободной и поистине самой демократической в мире советской державы...

После этого, гостю разрешалось присесть в одно из бездонных кожаных кресел в красном уголке и, под внимательным руководством одного из сатрапов, просмотреть страниц шестьсот этого человеческого документа. Тут, на отдельных меловых страницах, красовались царственные закорючки леди Астор, говорившие графологически образованному читателю о том экстазе, который охватил эту высокую особу после ее трехдневного пребывания в Болшевской Коммуне. Несколько дальше расписался милый старичек — Бернард Шоу, известный безжалостностью к родному отцу, когда дело идет о нескольких к р а с н ы х словцах... или нескольких тысячах красных фунтов стерлингов?.. Нашли себе место на этих страницах и людишки помельче, и людишки покрупнее, и немцы, и англичане, и китайцы, и индусы, но если бы дотошный читатель случайно заглянул в корешок этого томища, ему бы, вероятно, бросилось в глаза одно странное обстоя-

тельство: листы книги не были сшиты тетрадками, как это обычно бывает во всех себя уважающих и другими уважаемых книгах, но были вставлены туда по одному, совершенно отдельно от других, и не то, чтобы прошиты, а так, каким-то особо остроумным способом провязаны шестью толстыми шнурами. Концов этих шнуров нигде не было видно, и снаружи книга выглядела так же, как и все прочее в этом занимательном учреждении: вполне честно и прилично.

Быть может, именно этим обстоятельством можно об'яснить, что на все шестьсот страниц, другими словами — на все, по крайней мере, девятьсот-тысячу записей, имевшихся в книге посетителей Болшевской Коммуны, когда Дегтярев предложил мне, для сведения Союзкино, выбрать наиболее характерные из них, я нашел всего одну, одну единственную, автор которой, хотя и в очень робких тонах, позволил себе усумниться в целесообразности помещения преступников в условия лучшие, чем условия жизни обыкновенного вольного гражданина...

Это была, если я не ошибаюсь, запись профессора Дьюи. Трудно предположить, что профессор был единственным умным человеком среди тысячи прочих. Впрочем...

## Колеса фортуны

Где-то когда-то я что-то слыхал или читал относительно какой-то цикличности в жизни каждого человека. Человек, якобы, живет этакими циклами, причем, у разных людей эти циклы бывают разными, но у каждого строго определенной длины.

На основании опыта своих двадцати двух лет должен сказать, что эта теория, по крайней мере в отношении меня лично, оправдывается на все сто. Не знаю, как у прочих, но моя жизнь с самого ее чисто случайного начала проходит циклами, с той только разницей, что циклы эти строго определен-

ной длины не имеют, а варьируются от одного часа до, кажется, максимум трех месяцев.

В этом отношении я сам себе напоминаю муравья, задавшегося целью переползти через асфальтовую артерию большого города: отполз от тротуара в 0 часов 0 минут. Ползет. Асфальт гладкий и никаких препятствий не встречается. Потом вдруг, на первой минуте и двадцать пятой секунде, нечто огромное сверху застилает горизонт и велосипедное колесо откидывает нашу мурашку куда-то в неизвестность. . . Прочухавшись, мурашка, однако, снова обнаруживает под собой асфальт и, определившись по компасу, продолжает путь в том же направлении. Затем пролетающая мимо Испано-Сюиза невзначай налепит несчастное животное на белый ободок шины и протянет на себе несколько километров, пока та или иная причина не опустит его снова на тот же асфальт. Мурашка снова прочухивается и снова продолжает свой путь в детской надежде когда-нибудь все-таки перебраться на ту сторону.

Так продолжается уже двадцать два, можно даже сказать, с половиной года. К такому ходу событий я уже давно привык и считаю его вполне нормальным. До сих пор (тьфу, тьфу, что-б не сглазить!) мне везло в том отношении, что пролетающие мимо колеса не превратили меня в кляксу. Как-то обходилось. Я и привык к тому, что все это „как-то обходится“, и, опускаясь снова на асфальт, упорно ползу по тому же направлению.

Я не знаю, доползу ли я когда-нибудь до „той стороны“. Быть может, на каком-то месте я продвинусь вперед или отстану на пол сантиметра больше, чем надо, и оставшаяся после меня клякса высохнет через две минуты после проезда по этому месту какой-нибудь паршивой детской коляски... Воля Аллаха. . .

По чистому и на редкость гладкому асфальту Болшевской Коммуны я полз ровным счетом семь дней. Но потом, к обеду седьмого дня, на меня со

свистом налетело переднее колесо какой-то очередной молоховской колесницы, и я, привычным жестом поджав голову и хвост, полетел куда-то в голубую неизвестность. . . Вслед за этим, правда, налетело на меня еще и заднее колесо, но об этом речь будет ниже.

* * *

К обеду седьмого дня Оська внезапно получает телеграмму, из которой не явствует ничего, но которую наметанные Оськины ноздри определяют, как ничего хорошего не предвещавшую:

„Всем немедленно вернуться Москву.

Роом".

— Перековались! — заявил Оська после некоторого молчания, последовавшего за всенародной читкой этого высочайшего рескрипта. — Возвращаемся в семью трудящихся. Г-м, чорт возьми... Не иначе, как Абрашку кто-то подсидел!..

С нашей со Штоссом стороны комментариев не последовало. Оська помолчал, потом встал и, флегматичным жестом взвалив на бок свою шарманку, заявил:

— Гайда, ребятки, пошли — нажрались напоследок! Пусть наше пролетарское отечество примет нас с полными желудками!

Мы встали и мрачной вереницей двинулись на фабрику-кухню.

— Неисповедимы пути аллашьи, — говорил Оська, когда мы в том же хмуром молчании доедали свои последние бифштексы, — но что-то чует мое материнское сердце — убаюкал там кто-то Абрашку!.. Пить дать — убаюкал!.. — и он, качая головой, заказал подавальщице пятнадцать бутербродов с колбасой, сославшись на то, что мы сегодня едем на станцию и вернемся только завтра утром. Подавальщица помялась, но, выслушав от Оськи несколько, как бы невзначай отпущенных, комплиментов, повиновалась.

К вечеру мы, собрав свои немудреные omnia mea, заявили Дегтяреву, что нас срочно вызывают для читки сценария, получили пропуска и, доехав на коммунальной телеге до станции, погрузились в поезд на Москву.

Под'езжая к Москве, Оська принялся развивать идею о том, чтобы зайти, по приезде, к нему на квартиру и полить наше возвращение в лоно семьи трудящихся литровочкой под бутерброды. Но на вокзале он отдал их все юному правонарушителю, который еще не знал, что такое советская пенитенциария, и спал, свернувшись калачиком между мусорным ящиком с надписью МКХ*) и пирамидой глиняных водосточных труб.

— На! — сказал он мальченке, разбудив его пинком ноги в то место, где бывшие когда-то штаны сливались по цвету с шершавой кожей костистого окорока. — На! И пусть тебе тоже на полное пузо приснится счастье человечества!

* * *

События следовали с чарующей быстротой. Ни в этот день, ни в эту ночь мне не удалось попасть домой. Встретивший нас подле вокзала Мачерет сообщил нам, что три дня тому назад на фабрике был, наконец, получен сценарий Горького и что, в связи с этим, там стоит некоторый переполох. Он советовал нам возможно скорее навестить Роома, потому что, по его мнению, на Роома напала падучая, и Бог весть, чем все это кончится. На этом его информация исчерпывалась, но ее было достаточно, чтобы заставить нас на ходу вцепиться в свободные от человеческих тел буфера и поручни первого же проезжавшего трамвая и срочным аллюром добраться до первой звуковой.

---

*) Московское коммунальное хозяйство.

* * *

Тщательный обыск, которому была подвергнута звуковая, не дал никаких результатов. Роома там не было, и об его местонахождении никто ничего толкового сказать не мог. Но, вспомянув свои старые знакомства, я отправился в коммутатор к Нин-Палне, в надежде обрести из ее уст свет истины.

Коммутатор превратился в лавочку сумасшедшего часовщика. Несмотря на почти полуночный час, он, казалось, был наполнен тысячью рехнувшихся будильников, из которых каждый на свою ответственность звонил, трещал, хрипел и тикал одновременно. В центре всего этого столпотворения металась расхлыстанная Нин-Пална, дирижируя вместо палочки контактами, тыкая их, повидимому, совсем уже куда попало и покрывая всю эту симфонию душераздирающими воплями о помиловании.

— Уйдите! Повесьте трубку, я вам говорю!.. Нету двадцать шестого! Да, уже дала! Я вам говорю — я не могу разорваться! Да-а, даю! Кончили?! Да, сорок пять! Нету сорок пять!

Я вошел и, постояв с минуту перед входом в эту камнедробилку, на цыпочках обошел коммутатор и стал против Нин-Палны, облокотившись на один из коммутаторных шкафчиков. За время моего отсутствия их, вместо одного, стало три; я бы сказал, обратно пропорционально самой Нин-Палне: от ее бывшей толстенькой, кругломорденькой фигурки осталась, не вдаваясь в подробности, ровно одна треть. Я бы сказал — кожа да кости.

В этот момент оставшаяся треть Нин-Палны издала что-то вроде лебединой песни, бросила штук восемь накопившихся в ее руках контактов и повернула какой-то рычажок под столом, после чего все три чудовища разом замолкли и наступила гробовая тишина. Нин-Пална с предсмертным стоном шлепнулась в свое вертящееся кресло, руки ее взметнулись, как концы лопнувшего буксирного каната, и бессильно повисли.

— Вас, я вижу, можно поздравить с прибавлением семейства! — бестактно заметил я, указывая глазами на коммутаторы.

Она исподлобья бросила на меня обморочный взгляд.

— С ума сойду! Пусть их поиздыхают все. Не могу больше. Алька больна, восемнадцать часов дежурю. Потылиху еще включили на мою голову, сволочи...

Я издал неопределенный соболезнующий звук. Потом сообразил, что нужно же чем-то себя проявить.

— Дать вам водички, Нин Пална?

— Дайте... — слабо реагировала она.

Я вихрем смотался в буфет и принес ей бутылку хлебного квасу.

— Пейте, вы, несчастье!

Она безмолвно вылакала всю бутылку прямо из горлышка, немного приободрилась и, женским чутьем учуяв цель моего прихода, тихим, как на смертном одре, голосом заговорила:

— Басс тут получил сценарий... Не хотел его давать Роому... Они тут с Балабановским передрались у Басса... Роом ему чуть глаз не вырвал. А потом Балабановский вдруг приходит, отдает сценарий Роому, а сам сматывается на Кавказ. Мы тут все чуть не лопнули: что такое? А Роом на следующий день начинает бегать, как очумелый, и по двадцать раз звонить Бассу на Потылиху. Басс чего-то звонит на Лубянку,Лубянка—Роому, Роом—опять Бассу, наконец, Басс берет сценарий к себе и, кажется, отдает его в ГУК. Сегодня они с самого утра все четверо перезваниваются: Басс, ГУК, Роом, Лубянка, ГУК, Роом, Басс и так все время, с пяти утра! Сейчас сказали, если будет звонить Лубянка, что-б я дала прямой провод к Бассу. Но Лубянка вот уж два часа молчит...

— Так вы... Умная! — в ужасе заорал я. — Так вы хоть слушайте, кто звонит, а то позакрывали все, а теперь вдруг — Лубянка?! Они-ж вас

утюкают на корню, ежели вы Лубянку прозеваете!..

Она испуганно-вопросительно посмотрела на меня:

— Утюкают?..

— Ну, ясно — утюкают! Чучело! Басс вас вместе с вашим коммутатором проглотит!

Она остеклянело посмотрела на коммутатор, как будто перед ней открылась какая-то жуткая и непредотвратимая истина.

— Ой, Боже-ж!.. Верно, что проглотит!.. Юрочка, дорогой, идите вы к чортовой бабушке, мне работать надо! — и она схватилась за рычажок, который должен был снова вернуть к жизни коммутаторы.

Я легонько схватил ее за плечо:

— Нин-Пална! Любушка! Я через полчасика загляну: ежели там — что... Лубянка... так уж вы там... Э?

Она на секунду через худенькое плечико заглянула мне в глаза, чуть заметно кивнула и повернула рычажок. Коммутатор гаркнул и забесновался...

* * *

Но судьба, как всегда, хотела иначе... Выйдя во двор фабрики, я попал на гарпун Абрам Матвеевичу, который, обложив меня всеми существующими и вновь изобретенными богохульствами, послал меня на Потылиху с наказом живым или мертвым отыскать Зольцмана и прицепить его с того конца к проводу, на этом конце которого будет терпеливо дожидаться сам Абрам Матвеевич.

Проведя часа четыре в поисках, я с отчаяния решился уведомить Роома об их бесплодности. Но поднеся к уху телефонную трубку, я сообразил, что все мои усилия, даже если бы они и увенчались успехом, были бы тщетны: из трубки лилась гробовая тишина межпланетного пространства, не прерываемая даже треском электрических разрядов. Я дунул в трубку. Она была мертва.

— Там, кажется, где-то кабель лопнул! — заявил мне секретарь ПРО, откуда я звонил.

— Да... Кабель... — ответил я и со стереоскопической живостью представил себе, как уютно свернулась калачиком Нин-Плана где нибудь на плюшевом диванчике за коммутаторными шкафчиками.

* * *

К концу ночи, пока я мотался по Потылихе в поисках Зольцмана, у меня где-то в том месте, которое философы называют душой, а боксеры солнечным сплетением, стало постепенно наростать какое-то неясное беспокойство.

Меня целую неделю не было дома, и мне почему-то казалось, что там за это время должны были нарости некоторые события... Был уже конец августа — т. е. самое время для всякого рода плавающих, путешествующих и драпающих. Мне внезапно пришла в голову мысль о том, что теперь уже время нас догнало и что от него никуда не денешься... Еще максимум две недели, и время выпихнет нас в карельскую тайгу...

А что сделано? Разве мы готовы? Или, может быть, за эту неделю кое-что уже сдвинулось с места?..

Вообще, к концу этой ночи у меня появилось настроение, которое немцы очень метко называют „Reisefieber" — путешественная лихорадка. Пятки внезапно зачесались. Союзкино с его Роомами, Бассами и горьковскими сценариями представилось маленьким и пустопорожним, как сцена марионеточного театрика, и стало даже как-то жутковато при мысли о том, что на всю эту суетную ерунду в такое время я потерял целую неделю...

На каком-то пункте это ощущение торичеллиевой пустоты под ложечкой настолько разрослось, что затмило собой все остальные человеческие чувства. В том числе и чувство долга. Когда же в ответ на мои бессонные ночные хлопоты из телефон-

ной трубки последовала саркастическая тишина, торичеллиева пустота сожрала меня всего — я подцепился в качестве слепого пассажира к Бассовскому автомобилю, потом, в городе, пересел на „Букашку" *), поймал на Курском вокзале облипший людьми хвост уходившего поезда и часам к семи утра был дома, в нашей голубятне.

Дома все еще спали. Но, произведя в рассуждении чего бы пожрать рекогносцировку, я обнаружил на столе придавленную пустой бутылкой телеграмму:

„Устройте пластинки двадцать четвертому сентября. Боб".

Это и было заднее колесо...

* * *

На мгновение мне почудилось, будто кто-то вдруг наполнил всю мою оболочку шипучим лимонадом. . . Пузырьки какого-то безотчетного страха забулькали вверх по спинному мозгу, образуя в голове пену, от которой шипело в ушах и приподнимало волосы на затылке.

Узенькая ленточка яркого света, протиснувшись между прикрытыми ставнями, сползала на кровать и там причудливо ломалась в первозданном хаосе из подушек, более или менее рваных одеял и отдельных частей тела моего невозмутимого предка. Нос его мягкой грушей покоился на собственной ладони, а перед ним, сантиметрах в десяти, чуть колыхалась от дыхания торчавшая из подушки белая пушинка. Где-то, заглушенный ставнями, кукурекал петух, а еще дальше, из Никольского, доносился звон единственного оставленного на всю округу колокола. Дожно быть было воскресенье. При пятидневке крещеный люд потерял счет воскресеньям и узнавал о них только случайно: по календарю или по звону осиротелых колоколов.

---

*) Трамвай „Б" — Садовое кольцо.

— Благодать! — иронически подумал я. — И как это он только умудряется спать в такое время? . .

Я только потом узнал, что заснули в доме совсем недавно, что с вечера была у нас Ирина и что военный совет кончился только в пять утра. И что меня уже собирались телеграммой вызывать из Болшева, а Степушке было по телефону наказано перебираться со всеми своими монатками сюда, к нам, на предмет осмотра и санкционирования их специалистами. Степушка, старая милая бухгалтерская крыса, вырос на гроссбухах и балансах и, кроме поистине виртуозного искусства варить суп, никаких практических жизненных навыков не имел. Откуда ему было знать — как упаковывается рюкзак или смазываются сапоги и какого формата должны быть портянки, чтобы они не жали и не терли, но баюкали ногу, как новорожденного!

Степушка был принят нами в компанию без каких бы то ни было эгоистических соображений. Толку нам с него было, как с козла — молока. Но с другой стороны, он и не слишком мешал, не путался под ногами и предоставлял делать с собой более или менее все, что прикажут. Он сам о себе говорил, что он — человек робкий, да оно и так ясно было, что в случае чего, расчету на него никакого быть не могло: сдрейфит, скиснет, сядет на землю — и не унесешь его!

Но единственные на всем свете Степушкины родичи жили где-то в Эстонии, а сам он, проведя последние десять лет заграницей — кассиром в берлинском торгпредстве, — настолько не был приспособлен к советской действительности, что здесь его рано или поздно ждала либо голодная смерть под каким нибудь забором, либо пуля в чрезвычайке. Неудобным человеком был Степушка для советской жизни: честным, дотошным, советской отчетности или статистики вовсе не понимал и все удивлялся — почему это два да два по советски не четыре выходит, а, допустим, двадцать

восемь. . . Не любят таких людей в Советской России. . .

Вот мы и взяли его с собой, как старого знакомого.

— На ваш собственный риск и страх, Степан Никитич! — говорил ему Ваня. — Вы ведь понимаете — мы сами идем и вас с собой берем без никакой гарантии добраться на ту сторону в живом виде! Пришлепнуть могут по дороге, как тютельку!

— Да... да... да... — мелко придакивал Степушка, чмухая после каждого „да“ своим тапирьим хоботком и нервно, без всякой надобности, поправляя прыгающими руками половинчатые конторские очки в золотых ободках. А морщинистые глазки становились круглыми, и в них с предельной ясностью отражалось, как это нас по дороге „пришлепывают“ из пулемета, а то, может быть, даже из пушки, большой пушки — наверное, двенадцатидюймовой. . .

В нашей компании Степушка занимал, я бы сказал, то неясное положение, которое занимает пятое колесо в телеге. У нас он чувствовал себя, как украденный ребенок в шайке благожелательно настроенных гангстеров. Относились к нему все, как к какому-то слабосильному, но драгоценному заложнику, который, с одной стороны, был комичен и порой надоедлив своей беззащитностью, а с другой — обещал принести хороший выкуп и требовал за собой потому особенно нежного ухода. Выкупа, конечно, никакого не предвиделось, но отношение тем не менее было именно таким: считалось почему-то вопросом чести довести Степушку в живом виде до Эстонии и сдать его там под расписку его братьям.

Больше всего страха нагоняла на него Ирина. Она была тем типом женщины, из которого выходят всяческие Жанны д'Арк, Шарлотты Кордэ и вообще — спасительницы человечества. Она была женой моего дядюшки, а это уже само по себе

что-нибудь да значит! Две длинные русые косы, точеный из воска профиль, как рисуют на иконах, и лютое непримиренчество ко всей мужской половине человечества. Из всех виденных и не виденных ею в жизни мужчин относительно достойными уважения она считала дядю Ваню и Бориса, к прочим же носила в своей груди глубочайшее презрение, смешанное даже с ненавистью. Мужской властью над миром она об'ясняла весь тот кабак, который окружал ее спереди и сзади, и вела весьма интенсивную и порой небезуспешную суффражистскую пропаганду среди своих бедных угнетенных товарок.

В Степушке она видела лишнее подтверждение своей теории: „вот вам, тоже — мужчина!“... А мужчина из Степушки был, что и говорить, действительно, не ахти какой. За это он имел возможность пользоваться Ирининой, если не жалостью, то, во всяком случае, покровительством: „ну, куда ему, бедному — он же мужчина!“

Ирина руководила его экипировкой и держала его в черном теле.

— Очки нужно другие, Степан Никитич! Эти у вас на первом суку останутся!

— Но как же другие? — беспомощно аппелировал Степушка. — Я ведь без этих читать не могу! И писать — тоже!

— Вам, Степан Никитич, читать-писать не придется! Да и вообще — вам дальше, чем под ноги, смотреть не придется: идите себе — куда поведут! А очки достаньте другие и привяжите веревочкой, если совсем без них не можете.

— Но ведь это очень дорогие стекла! — цеплялся еще Степушка. — Я их специально в Берлине у Цейсса заказывал! Можно — я их хоть с собой возьму!

— Не надо вам всякаго барахла с собой тащить! И так, небось, кряхтеть будете. А сняши голову, по очкам не плачут!

Когда дело доходило до снятия головы —Степушка замолкал и в глазах его снова отражалось то же двенадцатидюймовое орудие.

* * *

„Устроить пластинки к двадцать четвертому сентября“ — означало, что к этому времени Борису удастся на день-два вырваться из своего Орла, как раз на столько, чтобы успеть незамеченным добраться до станции Суна Мурманской железной дороги. Эта деревушка — после долгих, очень долгих и очень тщательных размышлений, пересудов и военных советов — была избрана нами для роли трамплина, с которого мы проэктировали наш прыжок из социалистического рая на бренную землю.

Последнее время Борис находился в более или менее человеческих условиях так называемой „вольно-ссылки“ в городе Орле, откуда временами имел возможность наезжать в Москву на два-три дня „для закупки фотоматериалов“. В Орле он занимал высокоответственную должность редактора, технического директора и единственного репортера своего собственного халтурного детища — районной световой газеты. В функции этого предприятия входило освещение вопросов соцсоревнования и ударничества в паровозных депо Орловского железнодорожного узла, культпросвет и, главное, — „выявление“, „разоблачение“ и „приковывание к позорному столбу“ всяческих „лодырей“ и „прогульщиков“. Таковые Борису указывались „перстом свыше“, и ему оставалось только придти, снять их в анфас и в профиль и продемонстрировать потом их портреты на экране перед жиденькой публикой, зашедшей от скуки советской жизни в местный клуб. Функции несложные... Но ни фотопластинок, ни фотобумаги в Орле было, разумеется, не достать, и непосредственное начальство — в данном, как и во всех прочих случаях, ГПУ — предпочитало закрывать один глаз на незаконное передвижение вольно-ссыльного Солоневича. Ему предоставлялось раз эдак месяца в два улизнуть из под опеки недреманного ока, более или менее легально проехать

в поезде до Москвы и там уже передвигаться на собственный риск и страх: поймают — пеняй на себя. А поймают — это означало статью о побеге из ссылки: снова Лубянка, снова лагерь, а быть может, даже — снова Соловки.

Другими словами — времени терять было нечего. В своем распоряжении Борис имеет максимум два дня — значит, тогда уже будет поздно предпринимать что бы то ни было: к этому времени все должно быть тип-топ, каждая пряжка на своем месте, каждый сапог смазан и каждая „ксивенка*) — за соответствующими печатями.

А с „ксивой“ дела у нас обстояли следующим образом. Передвижение очкастой и вооруженной публики по таким гиблым, таким пограничным и таким лагерным местам, как Карелия, да еще в такое время года не могло бы не вызвать подозрения как со стороны первого встречного, так и со стороны тех райских церберов, с которыми мы рисковали столкнуться в лесу. Предполагалось, что вступать в перестрелку с пограничками мы станем только после того, как будем уверены в непосредственной близости границы. В случае встречи с ними в местах населенных, предполагалось открыто выступить с белыми знаменем вперед, заявить, что мы заплутались в тайге и просим „дорогого товарища“ вывести нас из этого дурацкого положения. „Дорогой товарищ“ провел бы нас в ближайшую комендатуру, и вот тут-то, в случае, если бы не удалось „втихую“ разделаться с „товарищем“ по дороге, необходимы были документы, способные развеять всякие подозрения и заставить погранпункт переслать нас в худшем случае обратно в Петрозаводск.

Такими документами могли быть только мандаты от каких нибудь центральных научно-исследовательских институтов, по которым выходило бы, что мы — научно-исследовательская экспедиция, отправленная в недра Карелии с целью произведения

---

*) Фальшивка.

каких-нибудь этно-топо-гео- или гидрографических исследований. Мандаты должны были быть заверены и подкреплены всякими справками, удостоверениями, членскими книжками и прочей советской требухой — чем в большем количестве, тем лучше. Наряду с этим нам надлежало иметь паспорта и какие-нибудь специальные, особо-типичные для советских условий, бумажки, подделать которые не пришло бы в голову никакому иностранному шпиону или диверсанту. Так, например, в прошлом году, когда Ваня в первый раз делал по этим местам разведку местности — его спас из весьма неприятного положения его старый, чуть ли не на два года просроченный, сезонный железнодорожный билет, по которому он все еще по инерции продолжал ездить из Салтыковки в Москву и обратно. Билет этот имел такой вид, как будто кто-то его долгое время носил в качестве стельки в сапоге, прочесть на нем было уже ничего нельзя, но к нему была прилеплена фотография со штемпелем московско-нижегородской железной дороги. Партийным обормотам в селе Сопоха, где отца сцапали для проверки, внушали сомнения и паспорт, и мандаты, и справки, и удостоверения, но когда во время обыска была обнаружена сия реликвия, все сомнения развеялись, как предрассветный туман, и Ваня был даже — из чистой любезности — доставлен на грузовике в Петрозаводск.

— Вот это, я понимаю — документ! — заявил ему Сопохский предсельсовета. — Тута оно уж, конечно, факт, что вы московский! А то, знаете — много их, сволочей, оттедова перелазит: вроде будто и все в порядке, и документ справный, и печать на месте, ан глядишь — у его в подштанниках, во шву, целая переписка: то англичанин какой, а то — просто так — белобандит!

— Ну-у? — удивился батька. — Ишь — сволочи! Значит — все больше оттудова бегают? А я так думал — у вас и своих бегунков достаточно!

— Э-э, какой там — своих, — пренебрежительно отозвался предсельсовета. — Кто там через нас

побегит! Кому шкура недорога, что-ли? Они там — фашисты — вы знаете что, делают? Глаза выкалывають и на муравья сажають, пока не сдохнешь! Уж это — сволочь известая! Да и опять же через наши-то болота — поди проберись! Нет, уж отсюдова — кто пойдет!

— О-го! Значит, финны нашего брата тоже боятся? Глаза, говорите, выкалывают? А вы не настаиваете — чтобы обратно выдавали?

— Ну да! Выдадут они обратно — чорта с два! Уж как к ним в лапы попал, значит, пиши — крышка! Дак и мы им тоже обратно не отдаем. Уж как наши ерои поймают кого — так мы тоже спуска не даем! Сколько их вот так — тут же на заставе—в поле — и хлоп! Долго с ними еще морочатся!

## Задержки высшего порядка

Предстояло раздобыть всю эту „бумажную" экипировку, предстояло еще тем или иным способом благоприобрести нехватающую часть оружия, продовольствия, сапог, накомарников и прочего, но все это не было основным. Все это было более или менее пустяками.

Основным была Тамочка. Участи лесного побега она избежала, разведясь на скорую руку с Ваней и выйдя замуж за иностранца. Точнее —должна была избежать. Предполагалось, что, получив посредством этой комбинации иностранное подданство, она автоматически вольна будет сесть в поезд на Негорелое, и тю-тю! — ищи рыщи ветра в поле! Но тут заела сталинская забота о человеке: выяснилось, что материнские инстинкты советской власти простираются и на тех из ее чад, которые, отбившись в иностранное подданство, уже, казалось бы, вышли из под ее крылышка. Получить иностранное подданство оказалось в десять раз легче, чем выбраться из советского.

— Зачем вам лишаться советского поддан-

ства? — говорили Тамочке в НКИД. — Вы подумайте только, вы ведь навсегда лишаетесь права в'езда к себе на родину! Попадете в фашистскую Европу — волосы будете на себе рвать!

Насчет волос Тамочка ничего не могла сказать — тут нужно было быть кротким, ако голубь, и мудрым, ако змий. Пока над ней тяготела эта каинова печать пятиконечной звезды — ей могли просто не дать выездной визы, и никакие заступничества консульства ничего бы не помогли.

— Да, но мой муж возвращается к себе на родину — не могу же я с ним из за этого расставаться!

— Ну, это же так просто! Уговорите его остаться здесь — и все будет в порядке. Чем ему здесь плохо? Мы дадим ему работу...

Словом, НКИД за неимением законного повода не отпускать Тамочку, выражаясь по советски, „шилось". Ее по очереди уговаривали штук двадцать чиновников, ее усиленно кормили обещаниями и завтраками, а она все долбила, долбила и долбила в одну точку. Процедура эта длилась уже около года.

„Хорошенькое дело, — думал я. — Двадцать четвертое сентября... Не успеет!.. Или, может быть, за это время она уже чего-нибудь успела добиться?"

* * *

Проходя по корридору, где стояло, прижимая прохожих к стенке, мое прокрустово-спартанское ложе, я старался балансировать на узенькой доске в полу, единственной, кажется, во всем доме, которая не скрипела. Но, споткнувшись в полутьме обо что-то мягкое, лежавшее не на своем месте, сделал в воздухе пируэт и поднял душераздирающий скрип. Камнем преткновения оказался, при ближайшем рассмотрении, Ирочкин рюкзак — упакованный, утороченный и смазанный рыбьим жиром.

„Ого! — подумал я. — Кое-что уже, значит, готово!

— Кто это?.. — раздался из второй комнаты перепуганный Тамочкин шепот.

— Я, Сисипапа! — ответил я тем же шипом. Наименование „Сисипапа“, как и вся почти наша семейная терминология, вело свое начало от тех дней, когда человеку даже родной язык кажется каким-то санскритом. Будучи девчуркой, Тамочка как-то раз транспортировала в фартучке кучу орехов. Ноженки споткнулись, рученки разжались и орехи покатились по полу. Недоуменно-испуганный взгляд к матери:

— Сисипапа!..

Это значило — „рассыпала“.

Так с тех пор Тамочка и ходила „Сисипапой“.

— Ты, Юрчик! Ну, слава Тебе, Господи! Что-ж ты, дурашка, так заканителился! И не пишешь, главное, ничего! Мы тебе уже телеграфировать хотели! Там от Боба телеграмма пришла — он...

— Видал уже, — я вынырнул из мягких. теплых и всегда так уютно пахнущих складок Тамочкиного одеяла, куда нырнул сналету, и чмокнул ее куда-то в окрестности носа. — Но только ты, каракуля, — что-ж ты себе думаешь?! Ведь ты-ж до двадцать четвертого никуда не поспеешь!

— Нет. теперь уже, наверное, поспею: позавчера была в РКИ — они сказаали, что это безобразие, что они нажмут и что я через неделю могу ехать.

— Так это тебе уже сколько раз...

— Нет, теперь уже, кажется, наверняка!

— Ну, наверняка, так наверняка! — Я одной рукой стащил ботинки, переполз через Тамочку к стенке и, прикурнувши, заявил:

— А я ни черта не спал сегодня! Уфу-уфу..

Проснулся я только вечером.

# V Мобилизация

## Тетушка

Снилась мне какая-то ерунда — кто-то меня куда-то звал, в ногах у мене запутался спинными ремнями Ирочкин рюкзак, я не мог от него отделаться, а кругом назойливо и угрожающе скрипели половицы.

Половицы скрипели безо всякой видимой причины, они корчились и извивались, их торжествующий скрип оглушал меня, и мне почему-то казалось, что на этот скрип явится кто-то ужасный, и тогда будет конец всего. Страшный суд или что-то в этом роде.

Выяснилось, что пришла Ирочка. Сама она, по каким-то данным от Бога талантам, могла спать где угодно, когда угодно и в каком угодно положении. Разбудить же ее не могло ничто в мире, кроме какого-то, смонтированного внутри ее самой, будильника, по которому она просыпалась по заказу в точно назначенное время: через десять минут или через сутки — безразлично.

Быть может, в силу именно этого обстоятельства от Ирочки невозможно было добиться хотя бы относительной терпимости к спящим. В ее голове не умещалась мысль, что кто-то может проснуться от слишком громкого разговора или хохота, а уж тем более — от такой ерунды, как скрип каких-то половиц. И она, несмотря на шиканье домашних, стоически скрипела, собирая в

одно место разбросанные по всему дому „драпежные“ причиндалы.

Я проснулся, проворчал что-то укоризненное и перевернулся на другой, бок, намереваясь продолжать в том же духе. Но Ирочка воспользовалась моментом, чтобы собрать необходимые ей сведения. Кроме того, она вообще считала, что это свинство — спать, заставляя прочих вести себя как на панихиде.

— Юрчик, где у тебя швейные принадлежности? Твой рюкзак нужно начисто переделывать: ты со своими фокусами задохнешься на первом же переходе!

Лучшего способа заставить меня вскочить она и придумать не могла: мой рюкзак был своего рода „креасьон“, моей конструкторской гордостью и старым товарищем в самых разнообразных передрягах. Это был глубокий и узкий, во всю длину спины, мешок, скомбинированный с верхней частью немецкого торнистера, с пришитым к нему широким поясом и широкими ремнями из телячей шкуры. Он был так устроен, чтобы центр тяжести располагался не на плечах, а как можно ниже — почти на крестце; по ширине он был немного уже спины, чтобы можно было идти по лесу не цепляясь за стволы и ветки, а пояс и ремни держали его так, что с ним можно было хоть вверх ногами стоять: очень важное свойство для тех случаев, когда приходится часто нагибаться, проползая под деревьями, прыгать или бежать. Шит он был смоленой дратвой — с любовью и с молитвовкой. Отдать такое сокровище на „переделку“ Ирочке было для меня совершенно немыслимо!

— Что-о?! Переделывать? . . Нет уж, Ирочка, уж это я вас очень прошу! . . Уж вы только моих вещей не трогайте!

— Хм, не трогайте! Я их и не собираюсь трогать! Но только ты возьми иголку, нитку и ножницы и отпори всю эту сбрую — иначе дышать те-

бе будет нечем! А то там, в лесу, поздно будет перешивать.

Тон был мягкий, но беспрекословный. Тон старого скаутмастора, наставляющего желторотого скаутенка в истинах и мудростях походного снаряжения.

От этого тона у меня по спинному хребту проходило вибрирующее движение, и я начинал явственно сознавать все преимущество женского пола перед мужским.

— Ирочка, дорогуша! Я в этом рюкзаке уже два года хожу — ничего, не задохся!

— Где ты там ходил! По дорожкам, брат, ходить — это тебе не по тайге! Вставай, вставай, Юрчик, и берись за иголку! Теперь дело уже вплотную подходит — надо браться всерьез!

Успокоенный тем, что Ирочка, видимо, сама за мой рюкзак браться не собирается, я бросил спорить. Практика выработала во мне такой способ действия: зря не спорить, а потом делать по своему. Таким образом вы не возбуждаете у собеседника того полемического самолюбия, которое иначе заставит его настоять на своем.

Я встал, разделся и в одних трусах побежал во двор, под насос, омывать с себя свои городские прегрешения. Было уже почти темно, и ветер гнал по небу несметные полчища туч, от которых кругом все темнело и темнело. Казалось, будто это не ветер, а сама ночь налетала по небу этаким Ганнибалом, насылая на панически бежавшую землю своих раз'яренных слонов. . . Несколько сосен и лип, разбросанных по двору, в ужасе закрывались с головой, пытаясь бежать, и, будто вражеские стрелы, тучами заполняли воздух желтые листья.

„А что, если вдруг такой вот детина сорвется с места и побежит?.. — подумал я, глядя на гигантскую соснищу, бившуюся в углу двора. Ей явственно хотелось бежать, но она все-таки стояла, будто какое-то чувство долга держало ее на том месте, куда ее кто-то поставил. — Возьмет и зашле-

пает гигантскими шагами куда-то через дома, через поля... Ей — что? Удержи ее — поди! Разве что пограничники поймают... — и я почему-то радостно заржал полной грудью, во весь голос, чувствуя, что в таком ветрище никто меня не услышит и некому будет делать перепуганных лиц.

Стал качать старый скрипучий деревянный насос, влезая спиной под широкую струю и раз'езжаясь пятками по скользкой грязи вокруг колодца. Сзади что-то тявкнуло, и меня опрокинули носом в траву мокрые собачьи лапы. Я рефлективно впился пальцами в длинную шерсть, и мы стали кататься по траве, воинственно рыча и заезжая порой в крапиву. Было почему-то плевать и на крапиву, и на то, что в этом месте, я знал, валялся всякий „утиль", в том числе старые битые бутылки. В конце концов, я придавил Осмаху, моего старого приятеля, за глотку к земле и, делая зверские рожи, на собачьем языке стал насмехаться над побежденным противником. Противник пытался еще что-то предпринимать задними лапами, но вскоре его сопротивление было сломлено, и он жалобно завизжал. Тогда я его отпустил и, ухватив за гриву и за хвост, раскачал и швырнул в высокую кучу бурьяна.

— Ю-чик, — донеслось до меня сквозь тьму и ветер. Будто совесть и ангел-хранитель позвал. Я оглянулся. Без очков, да в темноте я различил только какую то неясную туманность на крыльце и услышал наш „собственный" стук: бум-бум-бум, с расстановками.

— Квак! — крикнул я.

— Катись сюда! — это был Квак, он же Ватик, он же Ваня, он же Иван Лукьянович. Мой папаша.

Я ощупью нашел очки в расщепине колодца, качнул пару раз, чтобы обмыть следы собачьих лап, и полетел наверх,

В комнате, под лампой, на квадратный обеденный столик Ваня поставил чемодан.

— На, распакивай!

Я „распакнул“. Тут был здоровенный бинокль, купленный по случаю где-то в „Московском Охотнике“ — магазине, занимавшемся, за неимением у граждан права на держание оружия, перепродажей всевозможной походно-рыболовного типа утвари, было пакетов пять пороху, добытого „по блату“ у знакомого зава охотничей секцией „Динамо“, был огромный кусок сырого сала, кил пять гречневой крупы и столько же кускового сахару — все торгсиновское — и, наконец, самое главное, была карта, трехверстка. Настоящая, довоенная, дотошная карта, изображавшая весь район к западу от железной дороги севернее Петрозаводска. Здесь была и граница (правда, довоенная) были и реки, и речушки, и ручейки, были и болота и леса: словом, как раз то, что нам было нужно. У нас, правда, была уже карта, с которой Ваня в прошлый раз ходил в эти места на разведку. Но там, где он, по его словам, натыкался на реку — на карте была самая что ни на есть тайга, а там, где по карте надлежало быть селу, — простиралось честное карельское болото. Карта была советская — что с нее возьмешь.

## Сухаревка

Настали дни лихорадочной подготовки. Дома опять перестало что-либо печься или вариться: все перманентно пребывали в раз'езде, и каждый добывал себе пропитание, где мог и как умел. По вечерам, часам к девяти, постепенно начинали собираться и делиться новостями и достижениями: шариком прикатывалась груженая Тамочка и, с места в карьер начиная хлопотать по хозяйству, на ходу докладывала о положении дел на ее фронте. Мрачной личностью появлялся Ва, вываливал из портфеля на стол кучу каких-то бумажек, необходимых для добытия еще большего количества других таких же, и отводил свою издерганную душу в сдержанной, но весьма лютой ругани по адресу советского кабака. . . Раньше всех обычно появлялся я,

променявший служение „Великому Немому“ на этакие гермесовские функции: я день деньской топтался по Сухаревке, втихомолку загоняя всяческую нашу семейную движимость, из той, которая еще могла иметь какую-то, по советским масштабам, рыночную стоимость, и проникая в сухаревские тайники, где всегда пахло всяческой нелегальщиной: порнографическими открытками, „марафетом“, запрещенными книгами, долларами и торгсиновскими купонами, гаданием и, наконец, — порохом, пистонами и даже порою оружием. Здесь я „благоприобрел“ свою винтовку, застрявшую потом в питерской чеке, здесь я научился торговаться, как старый цыган, и заворачивать карманы брюк так, чтобы из них ничего нельзя было спереть, здесь я, наконец, впервые столкнулся с тем странным слоем советского населения, который пребывал не то, чтобы на самом дне, но, во всяком случае, плавал где-то в непосредственной близости этого дна. Здесь я впервые увидал людей, толкавшихся пол дня в этой чортовой ступе с тем, чтобы продать пару рваных носков, и тут же познакомился с одним старым жидом, скупавшим ненаходившие сбыта сухари для переотправки их на Украину. За день он накупал их килограммов пять-шесть и переправлял их своему зятю, служившему проводником в экспрессе Москва—Севастополь. Зять раз в четыре дня рисковал тремя годами лагеря. Мой жид каждую минуту рисковал жизнью: у него был туберкулез, и он уже двенадцать раз сидел. Торговался он за эти сухари поистине виртуозно: ощупывал и обнюхивал каждую крошку, выковыривал плесень, назначая на „здоровые“ сухари одну цену, а на плесень — другую, а когда уже ничего не действовало, он таинственно нагибался к уху продавца и шептал: „Слушайте, у меня семья на Волыни голодающая, уже вы не дерите, как за маму, у меня уже два сына умерло!“... На русское сердце такой аргумент действовал, как капля масла на скрипящую ось: продавец сначала смущенно оглядывался, потом пихал свои сухари в

покупательский мешок и принимал любую цену. Особо сердобольные бабцы приносили нередко еще и еще... Я долго не мог понять — в чем заключаются его заклинания, пока как-то раз не подслушал. Сказать о Сухаревке, что это — базар, не совсем верно. Ярмарка — еще менее. Это не совсем то, что старая толкучка, но и не организованный западно-европейский рынок. Если прибегнуть к точности современных формулировок, я бы назвал Сушку „всемирно-историческим явлением"... Этаким симптоматическим фурункулом на сидении прекрасного социализма.

Сушка — в первую очередь — неповторимый парадокс. Представьте себе совершенно оффициально существующую территорию, на которой тысячи и тысячи частных людей бойко торгуют заведомо краденым добром!.. И краденым не как нибудь, а почти исключительно у государства! Причем, если процентов, скажем, двадцать продающейся на Сухаревке всякой всячины и не являются непосредственно крадеными, то продажа половины из этих двадцати процентов оффициально именуется спекуляцией и карается со всей строгостью социалистического законодательства.

Остающиеся десять процентов честно загоняемой частной собственности с лихвой покрываются неподдающимися исчислению процентами просто награбленного, спертого в порядке „социальной близости", выигранного в карты или попросту замотанного...

Сдвиг, созданный в психологии среднего обывателя введением на Руси социализма, наиболее ярко, по моему, характеризуется следующим филологическим изменением: если вы, скажем, сперли у Иван Иваныча бумажник, то это так и называется — спереть. Но если вы сперли в государственной столовой пепельницу или в учреждении — чернильницу, или вырезали в вагоне железной дороги стекло, или что-нибудь в этом роде — то никто не скажет о вас с презрением, что вы „сперли". В голосе

говорящего будет нотка уважения и даже порой — восхищения: „Вы знаете, он в кабинете начальника достал себе такую шикарную чернильницу!“...

В Советской России девяносто процентов населения что-нибудь, где-нибудь по мере сил и возможностей „достает“. Когда государство взимает налоги, штрафы, займы, разверстки и прочие повинности — никому не придет в голову сказать про него, что оно что-то там „взимает“. Государство „взимать“ не может. Оно „грабит“. Систематизированный и легальный двадцатилетний грабеж вызывает со стороны населения такие же систематизированные, хотя и менее легальные, ответные действия. „Достает“ каждый где и что может. Но не всегда „достанное“ соответствует непосредственным потребностям „доставшего“. И вот Сушка является тем именно местом, где чернильница обменивается на вагонное стекло, медный водопроводный кран — на стопку писчей бумаги, казенные сапоги — на „частно спертый“ чемодан и лисья шуба, с небрежно замытым пятном крови — на частнособственническую двухстволку. Кое-что можно купить и на деньги. Но советский рубль „золотом“ — неходкий товар на Сухаревке. . .

## „Сухаревская коммерция“

О сделке шуба—двухстволка узнает через шестые руки заинтересованное лицо. Если это лицо успело к моменту сделки приобрести в сухаревских „сферах“ приличную репутацию честного жулика или если природа снабдила его достаточно курносым обличием, чтобы не внушать слишком больших подозрений, то „лицо“ отводится мелкими жидками в „одно место“, куда одновременно другими такими же иудеями доставляется для осмотра двухстволка. Тут же назначается цена: обладателю двухстволки необходим каракулевый воротник 64 см. длины, а остальное деньгами. Так, чтобы в общем вышло тысячи на три целковых. Каракулевого

воротника у „лица" нет, но оно принесло на Сушку для сбыта немецкого производства пунктроллер, пару дамских туфель и простенький фото-аппарат. Из присутствующих жидков двое или трое (с соответствующим процентным отчислением) уполномачиваются найти человека, согласного принять пунктроллер, аппарат и туфли взамен какого-то товара, способного удовлетворить неизвестного пока обладателя каракулевого воротника. В конце концов, дня через три, когда все инстанции признают себя удовлетворенными и спрос покрывается предложением, к месту действия с обеих сторон одновременно доставляются и воротник, и аппарат, и пунктроллер, и двухстволка. Еще раз производится тщательный осмотр и того, и другого, и третьего, комиссионные жидки топчутся „на стреме"*) и торопят, доказывая, что „товар висший сорт" и что — „чего тут смотреть, когда ми товар специально для вас вибирали!"... Лица, непосредствено заинтересованные, наконец, сторговываются относительно той суммы, которую полагается доплатить до трех тысяч, и товар переходит из рук в руки. Аппарат, пунктроллер и туфли переходят к человеку, который платит за них обладателю воротника старым цейсовским биноклем и двумя дюжинами тоже старых стекол от очков. Он — профессионал, представитель, так сказать, сухаревского правящего класса и считает, что нет такого товара, который не нашел бы себе сбыта: ведь вот же понадобились кому-то эти дурацкие стекла, которые пролежали у него больше года в старом кожаном кисете! О назначении пунктроллера он имеет весьма туманное представление — сначала он предполагал, что это какого-то усовершенствованного вида скалка для раскатывания коржиков и печений. Когда-нибудь кому-нибудь он его сбудет, и я не поручусь за то, что̀ с ним будет делать его будущий хозяин:

---

*) Охрана места действия от непрошенных пришельцев.

очень вероятно, что именно — раскатывать коржики. . . Аппарат он долго щупает, щелкает затвором и немного обеспокоен легким хрипом на выдержке в секунду.

— А чего это он хрипит? — подозрительно спрашивает он.

— Так это вы выдержку взяли, а вы возьмите момент! — наставляет обладатель аппарата.

На „моменте“ аппарат четко щелкает, и подозрения перекупщика утихают.

После завершения сделки, комиссионные жидки, получив свои мзды, „желают быть довольными“ и расходятся восвояси — основная группа „покупателей заводит „частные“ разговоры.

— Воротничек-то — дай-те, Господи! Вы за рыжие пятна не думайте: сверху не видать, а что снизу — так вам что? — Не навыворот носить будете!

— Ды-к, я и ничего... — уже ласково отвечает покупатель воротника. — Я его чернилом подмажу — как за новый пойдет!

— Ах, так вы не для себя!..

— Не, какой там! Куда я его пришью? На мое барахлишко такой воротник — все равно, как корове — седло! Я его нашему коммерческому*) продам—тот для своей супружницы давно ищет. Опять же — дар за дар, а дарма — ниц!

Все понимающе ухмыляются.

— А скажите, — а на какого чорта вам эти стекла сдались? Что вы с ними будете делать? Ведь вы даже диоптрий не знаете. Да и поцарапаны они все. . .

— А-а, у меня теща окулистка. Частная практика. Ей так не достать. . . она с Сушки собирает. Ничего — пооботрет, как-нибудь сойдет! А то ведь — грех, знаете: у вас-то, я вижу, стекла новые, „пунктуаль“ — из заграницы должно... А то—ходють люди — носа собственного не видять, а

*) Коммерческому директору.

стекол — поди-достань! У вас, я вижу, и ботиночки-то какие-то не нашенские, — помолчав, застенчиво добавляет человек со стеклами. — Тоже из заграницы должно? . .

Человек, купивший друхстволку, разобрав ее и заботливо завернув в специально для этого принесенное с собой одеяло, конфузливо смотрит на кончики своих рыжих, уже пообтоптанных туфель.

— . . . Да, из Берлина. . .—нехотя отвечает он.

— То-то! Фашистские, значит, вроде. . . Хе-хе... Что — привез должно кто-нибудь?

— Не. . . Это я так. . . Сам привез. . .

— Псс-ть. . . — озабоченно свистит человек со стеклами. — Оттуда, значит. . . Что — были там, что ли? — осторожно спрашивает он.

— Был. . . — кается человек с двухстволкой.

На некоторое время наступает неловкое молчание. Как будто у человека с двухстволкой умер кто-то из близких, и собеседники не хотят задавать бестактных вопросов. Наконец, человек с воротником решается:

— Вы это... — мнется он, — приехали, значит, оттудова?

— Угу. . . — неопределенно мычит обвиняемый в предчувствии неловкого уже тысячу раз повторявшегося разговора. Опять наступает молчание. Разойтись — как-то еще рано, заговорить о другом — не позволяет любопытство. А спросить прямо — как же это, мол, вас угораздило — не позволяет привычная советская подозрительность.

— Значит, так сказать, у капиталистов тоже не сладко живется... Народную кровь, сволочи, сосут... — подпускает человек с воротником пробного камушка.

— М-м, да м... — неопределенно отвечает человек с двухстволкой. — Но в общем — ничего, жить можно...

— А ботиночки — ничего-с... — качает головой человек со стеклами. — Ежели такие ботиноч-

ки—то уж жить, наверное, можно... А чего-же это вы, товарищ, приехали? — напряженно спрашивает он. — Что... не знали, что ли?

— Пришлось, — вздыхает, выпрямляясь, человек с двухстволкой. — Ну что-ж, товарищи! Пойдем, что ли! А то мы тут с вами. . .

— Договоримся! — подсказывает, смеясь, человек с воротником. — Ох, ох... Да, уж пойдем, конечно!.. Делать-то что? Житье-бытье наше мышиное... А уж вы, товарищок, — допокелева мы себе сами такие ботиночки заведем — может, у вас там еще кой-что из заграничного барахлишка осталось, так вы уж принесите как-нибудь! Я тут каждый день бываю. С удовольствием, так сказать, укуплю! Приносите!

— Да, могу принести кой-чего! — отвечает человек с двухстволкой. — Так сказать — остатки былого величия...

— Вот именно! Хе-хе-хе... Так значит — покаместь!

— Покаместь, товарищи! — и человек, прижимая одеяльный сверток к боку, что-б не бросалось в глаза, выскальзывает на улицу. На углу постовой мильтон подозрительно провожает его взглядом.

* * *

Смутные это были дни перед первым побегом. Тревожные и пустые, забитые суетливой беготней последних приготовлений и невралгическими военными советами по вечерам. На скорую руку сваренный чай по утрам расплескивали нервно дрожавшие руки, а если внизу раздавался чей-нибудь незнакомый стук, по спине ужем пробегал страх, и все в доме на минуту замирало. Потом я посылался вниз сказать, что дома никого нет.

Гости не принимались. Я думаю, что это многим казалось странным, потому что раньше у нас не проходило дня, чтобы не появлялся кто-нибудь из московских знакомцев или даже полузнакомцев,

у которого сегодня как раз был выходной день, или который просто урвал часика два-три, чтобы провести их где-то на чистом воздухе. А по общим выходным дням наша голубятня превращалась в самый настоящий сибирский постоялый двор, из которого перманентное va et viens выживало порой даже самих хозяев.

В последние дни появлявшиеся гости под разными благовидными предлогами сплавлялись. Нельзя было пускать посторонних людей в квартиру, где паутина в углах и пыльный квадрат на полу указывали место, где неделю тому назад стоял старый „фамильный“ комод, загнанный соседу из Никольского, где на столах и кроватях кучами валялось всякое снаряжение, а по полу под ногами хрустел рассыпанный порох. Мебель была наполовину распродана, печек топить было некому, а уцелевшая от повального загона посуда немытой валялась на столах вперемежку с патронташами, смоленой дратвой, ремнями и кусками сала. Неуютной стала наша голубятня...

К тому же, наконец, уехала Тамочка. Никто ее не провожал, чтобы не возбудить подозрений: какое дело бывшему мужу и бывшему сыну до того, что куда-то уезжает их бывшая жена или мать!.. Только вечером, перед ее от'ездом, мы долго сидели на упакованных чемоданах, молча, каждый в себе стараясь растопить льдышку, примерзшую где-то к сердцу. Говорить было не о чем — все что можно было сказать, было уже сказано, и мне только почему-то хотелось как-нибудь заснуть или помереть, чтобы отделаться от неизвестного и назойливо жуткого будущего. Не хотелось отпускать Тамочку. Казалось, что если сейчас вот решиться и вслух предложить плюнуть на все эти побеги, рюкзаки, от'езды и прочую жуть, то всем как-то сразу станет легко и хорошо, весело и тепло, как раньше, можно будет побежать вниз, поставить чайник, синий и пузатый, сжарить на „неприкосновенном“ сале яичницу, весело поболтать, попивая кипяточек с

„ландрянью“ и потом, в первый раз за долгие недели, беззаботно заснуть...

Я сидел на чемодане, ковыряя ногтем мозоль от шила на ладони правой руки, и мрачно думал о том, что мне для семнадцати лет слишком уж много привалило всякой всячины... Было, с одной стороны, как-то жалковато и обидно: за что в самом деле?.. Потом подумал о Ване. А ему за что?.. Уж ему-то еще пошибче, чем мне — у него вся жизнь так... Он сидел наискосок от меня на голой кровати, уперев свою большую, добрую голову в широкие, как тюленьи ласты, ладони, и чуть заметный сквозняк от окна шевелил на ней мягкий, седоватый пушок. Серые глазки щелками, не мигая, смотрели поверх с'ехавших на нос очков на красный огонек керосиновой коптилки. Ладони стиснули рот, и нижняя губа как-то добродушно-добродушно отквасилась.

Думает?.. О чем думает?.. Славный все-таки парень — мой Квак!..

Какая-то перемена вдруг произошла в его лице. Глаза еще больше сузились, а нижняя губа поднялась, и ее закусили передние зубы. Лицо стало таким, что по спине пробежала жуть.

Тамочка, сидевшая рядом с ним, вдруг обняла его за плечи, посмотрела в это лицо, потом сняла с него очки и по очереди поцеловала в оба глаза.

— Ничего, Ватинька! Ничего... ничего... — только проговорила она.

Ваня обхватил ее своими лапищами и, целуя куда попало, отвечал что-то нечленораздельное:

— Ничего, Сисипапа! Ничего! Нечего дрейфить: все уладится! Свидимся еще как-нибудь!..

* * *

С от'ездом Тамочки стало еще пустее. Уже не было дома, как он был раньше, был только сарай, в котором партия путешественников отсиживалась от непогоды. Вчера пришли — завтра пойдем дальше...

По утрам, выходя на крыльцо, мы ежились от моросящего, промозглого холода и с жутью думали о том, как это оно будет „там“ — в дороге... Москву, вот уже около месяца, покрыли чугунные, непроходимо унылые тучи, и дождь моросил, моросил, моросил, не прекращаясь ни на одну минуту, временами посыпая закоченелую землю мелкой мокрой „крупой“ и наводя безысходную тоску на все живое.

Но метеорологические сводки по Советскому Союзу, которые Ваня ежедневно доставал в московском бюро погоды, упорно твердили одно и то же: „Северо-запад — сухо и солнечно“... На метеорологической карте, ежедневно появлявшейся в „Известиях“, безответственно-кривые линии всяческих „течений“, барометрических давлений и прочих необходимых данных старательно обходили Карелию и Кольский полуостров, концентрируясь где-то в средней полосе и вселяя в наши промокшие сердца надежду. Карелия начинала нам постепенно представляться каким-то солнечным краем, где можно будет, наконец, просохнуть, отогреться и даже, чего доброго, — загореть... Ежась от холода и протирая очки от залеплявшего их тумана, я ловил себя на том, что мысль о предстоящем становилась скорее радостной, чем угнетающей: будем итти, будем уставать, будет солнышко и лес, терять будет больше нечего... Только бы скорее!..

Но вместе с тем нервы постепенно начинали сдавать. Когда на кон ставится жизнь и когда она может зависеть от каждой ерундовой мелочи, эта мелочь вгрызается в совесть каждого из соучастников, и он уже не заснет спокойно, пока не добьется принятия соответствующих предохранительных мер.

Я, например, купил себе резиновые сапоги. Ирочка шла в простых коньковых ботинках, с большим запасом гетр и чулок. Я считал, что итти в ботинках по болоту — безумие. Ирочка считала, что резиновые сапоги хороши для стояния по колено в

воде, но ни в коем случае не для переходов по сорока километров в день. Ирочка считала, что человек лучше всего может обходиться одним шоколадом и сахаром, тем более, что в смысле походном — это, действительно, наиболее удобный провиант. Мы с Ваней считали, что люди крупной комплекции, отмахивая в день по сорока километров по болотам, на одном шоколаде далеко не уедут и что нужно, по крайней мере, сало и гречневая каша. С кашей тоже были недоразумения: кашу без огня не сваришь. Нам предстояло решить вопрос — идем мы с кострами и с теплой пищей, или „бездымно", но в сухомятку?

Основным вопросом был вопрос о единоначалии. Тут столкнулись лбами скаутская дисциплина и проклятый интеллигентский индивидуализм. Мы с Ваней считали, что в деле спасения своей собственной жизни, в случае каких-либо вооруженных столкновений, мы сами будем единственными и лучшими компетентными лицами. Мы не слишком доверяли скаутскому боевому опыту, для того чтобы гарантировать полную беспрекословность приказаниям „боевого командира". Под понятие „боевого командира" автоматически подходил Борис: он был единственным в нашей компании, который участвовал в боях, который в тех случаях, когда он видел цель, умел неплохо в нее попасть из малокалиберки, и за плечами которого предполагалось наличие основательного скаутского опыта. Беда была в том, что для того, чтобы моментально ориентироваться в любом создавшемся положении, нужно было иметь по крайней мере хорошие глаза. У Бориса же вместо стекол в очках были какие-то прожекторные чечевицы, да и в них он видел человека на расстоянии двадцати шагов. Дальше — глаз не хватало, тем более — в карельском лесу, где на таком расстоянии иногда не только человека, а и медведя не различишь.

## „Варианты"

Возможность вооруженного столкновения в лесу вообще принадлежала к самым болезненным пунктам нашей стратегии. Остервенело дебатировался вопрос о том, где именно и при каких условиях можно было рискнуть на стрельбу при встрече с пограничниками или с местным населением. Вопрос этот ставился на повестку дня уже издавна, еще во времена предыдущих наездов Бориса в Москву, но удовлетворительного решения он так и не получил. Тут могли быть различные варианты. Когда приступили к детальной разработке каждого из них, выяснилось, что их может быть совершенно неограниченное количество, так что на детальную разработку вскоре просто махнули рукой. Однако, наиболее вероятные случаи, я бы сказал — наиболее типичные, были все же продуманы, с тем, чтобы действовать потом в зависимости от обстоятельств, но придерживаясь основного плана.

Одним из таких наиболее типичных случаев представлялась нам встреча где-нибудь в лесу, скажем — неподалеку от каких-то селений, с простым „штатским" мужичком. Что с ним делать, с таким встречным? На то, чтобы пристрелить его тут же на месте, ни у кого из нас не поднялась бы рука. Связать его, заткнуть ему рот и положить где-нибудь под деревом? Но это означало бы для него голодную смерть. Расчитывать на то, чтобы его там кто-нибудь нашел, не приходилось... Оставалось две возможности: либо отпустить его, так сказать, „на честное слово", в надежде на то, что он по возвращении своем в деревню не пошлет за нами облавы, либо — вариант, не лишенный оригинальности — взять его с собой, используя его в качестве проводника.

Первый вариант отпадал почти автоматически: мы с уверенностью знали, что население всех пограничных областей подвергалось и подвергается перманентной и весьма основательной чистке от

всякого рода неблагонадежных элементов. Расчитывать на благородство души оставшихся „благонадежных“ было все равно, что попросить погранзаставу переправить нас на ту сторону. Кроме того, мы знали, что местная публика получает какие-то весьма соблазнительные премии за всякого рода доносы и указания, с помощью которых ГПУ могло бы выловить такого жирного карася, как, например, нас. Расчитывать на благородство полуголодного парнишки, да еще из „благонадежных“, перед которым стояла перспектива получить за нас, допустим, куль муки?.. Нет, это отпадало.

Значит, оставалось—под угрозой оружия брать его с собой. Это, конечно, очень сильно осложнило бы самую технику ходьбы, а в особенности ночлегов в лесу. Пришлось-бы держать нашего „проводника“ под перманентным надзором, да еще, кроме всего прочего, пришлось бы его и кормить, что при наших запасах могло обойтись слишком дорого нам самим.

Вторым из „типичных“ вариантов была встреча с патрулем вооруженных пограничников, причем, этот вариант усложнялся еще тем, что они могли быть в сопровождении собаки. Исход встречи в значительной степени зависел от того — кто кого заметил первым: мы — их, или они — нас. Тут не было времени для обсуждения совместных действий, и необходимость единоначалия в этом случае признавалась всеми. Ясно было одно: открывать огонь нужно было первыми, не ожидая действий противника. Затем — опять-таки в зависимости от обстоятельств — либо молниеносно смываться в противоположном направлении, в расчете на то, что среднему пограничному служаке не будет никакой охоты связываться с группой отчаянной и вооруженной публики, либо—если бежать будет некуда — залегать и завязывать длительную перестрелку, скажем — на открытом болоте, либо бросаться в рассыпную, продолжая действовать каждый по „способности“. Этот же последний вариант должен был

быть автоматически и молниеносно приведен в действие в случае нечаянного выхода на так называемый „секрет“.

„Секретами“ нас напугал мой приятель Африкан, пошедший добровольцем в части погранохраны на персидскую границу. Вернувшись как-то на побывку, он со всем подабающим в таких случаях смаком расписывал действия своих доблестных частей, привирая по крайней мере на пятьдесят процентов и изливая потоки ненависти ко всякого рода „диверсантам“, „шпионам“ и „белобандитам“. Африкан был сыном матерого деревенского большевика, и был, казалось, скроен из той породы дерева, которая на Кавказе именуется самшитом: железное мясо и количество мозгов, исключающее возможность какого бы то ни было их применения.

— Секрет, — говорил он, — это так: под кустом — яма, в яме — нас двое. Из ямы далеко видать — эдак верст на десять. Ицет, скажем, диверсант, под камнями ползает сукин сын, туды-сюды носом ворочает. Только нас не видить: мы в яме. Как это он, значить, подошел версты эдак на две — ему, значить, сразу: „сто-о-ой!“. Он — туды-сюды шмыг, а я ему — расс — в задницу пулю! . .

— Ну уж, Африкаша,— говорю я, — на две-то версты! И аккурат в задницу?..

— А ты што думаешь! — возмущался Африкаша и начинал приводить неоспоримые примеры своей собственной и своих товарищей меткости. Но я кружным путем опять постепенно возвращался на секреты:

— Ну, хорошо, ну, а если он, например, остановится — твой диверсант, так ты что будешь делать? Вас там разве не спрашивают, куда вы человека девали?

— Ка-акой человек!.. — презрительно морщился Африкан, — ты их, брат, знаешь, какая это сволочь! С ним только одно: „ложись на живот, руки за спину!“. А то, знаешь, — иначе с ногтями

бросится! В его, в сукиного сына, полную обойму всодишь, а ён все трепыхается, все тебя норовит за икру — тяпнуть! Это-ж такие. . .

Славом — „ложись на живот, руки за спину!“... Ничего себе — перспективочка. . . После зрелого обсуждения было решено: в случае выхода на такой „секрет“, кидаться без выстрелов кто куда, и при этом — мгновенно, не теряя ни секунды времени на отдавание или выслушивание каких-то приказаний. Было ясно, что кому-то из нас пришлось бы в этом случае положить свои кости на месте. Остальным, по всей вероятности, удалось бы спасти свою единоличную шкуру. О том, чтобы вновь найти друг друга в этой чащобе — не могло быть и речи. Карты были у каждого, компасы — тоже, а кроме того, в рюкзаке, на самом дне, каждый имел так называемый „неприкзап“ — неприкосновенный запас продовольствия, которого должно было хватить дня на два, на три. Предполагалось, что в случае полного разброда или если кто-нибудь случайно отобьется от остальных, каждый сможет, хотя и со скрипом, продолжать свой путь самостоятельно.

На вооружении у нас значилось: две двухстволки — Ванина и моя, старый бердан — у Бориса, и маленький, контрабандой провезенный мною из Германии, пистолетик типа браунинга — у Ирочки. Кроме того, на случай всяких возможных, но непредвиденных комбинаций, Ирочка завела себе несколько отравленных иголок. „Выцарапать глаза“ — как смеялся Борис.

Заготовка патронов была поручена мне, и я, сообразуясь со всеми бутурлинскими правилами этого мудреного искусства, а также с наличными материалами, выработал специальный, совершенно убийственный вид набивки. Из малокалиберных патронов, которых у нас, кстати сказать, было сколько угодно, выковыривались пульки и ставились в патроне двенадцатого калибра друг на дружку так, чтобы головка нижней пульки приходилась в конусо-

образное углубление в пятке верхней. Для разнообразия четверть патронов была набита разрезанными на дольки жаканами, но разрезанными не до конца, а только так, чтобы жакан разрывался на части уже в полете. Большой пробиваемости такая начинка не давала, но она давала сравнительно небольшой разброс, и сосны, над которыми производились баллистические опыты, принимали такой вид, будто кто-то расковырял их каменным топором. Правда, на расстояние больше метров пятидесяти ни жаканы, ни даже малокалиберные пульки „убойного" боя не давали, но мы расчитывали на то, что в карельских дебрях нам едва ли придется стрелять на большие дистанции. Конечно, на открытом месте и на большом расстоянии мы не смогли бы конкурировать с трехлинейкой пограничника, но зато в лесу, где за двадцать-сорок шагов и разглядеть-то ничего толком нельзя, мы имели бы все преимущества. Тем более, что при наших глазах обыкновенной пулей мы рисковали и вообще не попасть, а разброс картечного заряда давал нам в этом смысле гораздо больше шансов.

Любовно заливая малокалиберные пульки стеарином, я неизменно вспоминал турецкую глиняную картечь, в которую арабскими завитушками было вдавлено: „умри, неверная собака!" Мне тоже хотелось припечатать что-нибудь в этом роде сверху на стеарин, но верховный совет признал это излишней роскошью...

Оффициально, в виду того, что скрыть наши приготовления от соседей, хозяев и ближайших знакомых не было все-таки возможности, всем говорилось, что мы собирается в Аджаристан с определенными шансами застрять там на долго: на полгода, а то и на год. С этой точки зрения повальный загон имущества, прекращение всяких визитов и суетливая беготня по всему дому с какими-то мешками, сапогами, патронташами и прочим приобретали вполне законный характер.

Мы, конечно, не тешили себя надеждой, что, кроме хозяина и нескольких соседей, в Салтыковке

о нашем от'езде не знает больше никто. Так уж издавна повелось с Солоневичами, что жители тех мест, которые мы удостаивали своим проживанием, знали о нас, о нашем семейном быте, о наших знакомствах и о наших планах едва ли не больше, чем было известно нам самим. Но Салтыковка давно уже привыкла к нашим бесконечным раз'ездам, знала о том, что мы каждый год по разу — а то и по два—надолго смываемся куда-то в Киргизию, в Сванетию, в Крым, в Дагестан, что мы каждый раз уходим, гружены рюкзаками, с тем, чтобы вернуться неизвестно когда, что квартира наша это время пустует и что мы каким-то образом умудряемся отстоять ее, а вместе с ней и весь хозяйский домик от национализаторских поползновений сельсовета. Несколько подробнее знало обо всем этом и ГПУ.

Но Карелия была подозрительным местом, и мы предпочитали не наводить на излишние размышления досужие мозги всякой частной и полугепеусской мелюзги. Для широкой публики мы направлялись в Аджаристан. О том, что именно знает и чего именно не знает сама Лубянка, у нас существовали разные точки зрения, но все же все сходились на том, что об „научно-исследовательской экспедиции“ она не может не знать. Быть может, ничего не знает толком, но что-то такое она обязана знать. На Бориса никаких справок и мандатов не выписывалось, ибо это сразу бросилось бы в глаза, так что о его участии ГПУ знать ничего не могло. Что же касается остальных, то — почему бы им, действительно, не ехать в Карелию? Мало ли всяческих полу-халтурных экспедиций раз'езжает по лицу земли русской? И мало ли пользы они приносят советскому государству своими случайными или строго-научными открытиями, измерениями и записями? Ведь открыл же какой-то турист северные апатиты! Ведь собирают же какие-то „научные работники“ целые томы фольклора, песен и ритуалов!

А заподозрить Ивана Лукьяновича Солоневича,

„маститого“ журналиста и хорошо устроенного спортивного спеца, в том, что он со всей семьей, поздней осенью, да еще из Москвы собирается драпануть куда-то такое заграницу — эта мысль могла придти в голову только хорошо знавшим нас, самым близким знакомым. Могла она, конечно, придти в голову и ГПУ, но это казалось мало вероятным. „Они там“ слишком хорошо были осведомлены об общественном и материальном положении Вани, но в то же время, слишком плохо — об его моральных установках, чтобы предположить в нем такие сумасшедшие намерения.

Впрочем. . .

Вот это самое „впрочем“ и было тем, что нависало свинцовой атмосферой неопределенного страха над когда-то мирной салтыковской голубятней. „Некто в гороховом“?.. Чорт его, в сущности, знает, что знает и что думает этот „некто в гороховом“...

## „Последний нонешний денечек“

Борис приехал в ночь на двадцать четвертое. Снаружи лил тяжелый и бесконечный дождь, и казалось, что лить уже больше некуда, что земля уже отказывается впитывать в себя воду, что скоро все поплывет, как в дни потопа, а он все лил, лил, лил.... Сорок дней и сорок ночей...

Борис вошел, топая сапожищами и выливая из складок одежды целыми лоханями холодную воду. Он был весь насквозь промазан рыбьим жиром и касторкой и под дождем чувствовал себя, как танк под шрапнельным огнем. Вид у него был до последней степени походный и непроницаемый. Последняя степень бронебойности и железобетонности.

А снаружи, в темноте, лило, и слышно было, что капли шлепались уже не на землю, а просто в воду, ветер отрясал деревья, как мокрые кисти, и все пространство между небом и землей казалось одним единственным бурлящим потоком воды и воздуха. И глупая, слепая надежда на то, что где-то

в мире еще существуют сухие места, панически таяла, уступая место все нароставшей льдинке под сердцем.

Борис был похож на носорога, только что перешедшего вброд лесную реку. Он, фыркая, топотал на месте, и вода ручейками стекала по костистым наростам его брезентово-носорожьей шкуры. Бесформенные очертания рюкзака, каких-то сумок и свертков, притороченных к Борису со всех сторон, делали это сходство в темноте лестницы еще более разительным.

— Ну? — спросил я его, когда основные массы воды были вылиты и когда прекратился шум трущихся друг о друга брезентовых поверхностей.

— Ну-ну! — отвечал он. — Когда едем?

Он попытался было приветственно меня облапить, но я был полугол и отрицательно расценил всю неравноценность таких об'ятий.

— Наверно — завтра...

— Когда это — завтра? У меня времени, как говорится — вот-вот! Нужно смытаться до света, чтоб, как говорится, петухи не заметили. А у вас— что? Ничего, конечно, не готово?!

— Это— как сказать! Кое что все-таки готово, — с'иронизировал я. Если что-нибудь и могло быть готово — так только у нас. Но Борис был невысокого мнения о нашей расторопности.

— Документы в порядке? Оружие в порядке? Билеты есть? — спросил он таким тоном, как будто был совершенно уверен в том, что ничего, конечно, не готово, и был в отчаянии — что с нами, с такими, делать.

— Ну-ну-ну, — запротестовал я, — ты уж, браток— того, это самое... Да ты, впрочем, катись наверх, чего мы тут с тобой будем топтаться. И потом ты — тише! Ваня заснул, кажется, всего час тому назад, а завтра еще кое-что предвидится. Пусть его — отоспится!

Ваня, впрочем, так и не спал. Или, может быть, его все-таки разбудили. Он вылез на поверхность

в чем-то весьма невыразимом, что после об'ятий с Борисом пришлось сразу же переменить.

— Э-э, братишка. да я вижу, ты совсем насквозь! — заявил Ваня, когда ему за пазуху протек ручеек из Борисового капюшона.

— Не-ет. Меня совсем насквозь трудно! Килограмм рыбьего жиру и полкило касторки! И все по Ирочкиным рецептам. А вы не промазались разве?

— У Вани резина, а у меня кожа, — ответил я.— Впрочем, и кожу бы неплохо промазать. У тебя не осталось?

— Есть еше грамм двести. Только касторки. Тебя не стошнит? Бери прямо на ладонь и три дондеже. Только это здорово утежеляет: вот на, попробуй!

Он подал мне свою шкуру, которая, действительно, весила этак килограмм под десять. Я хотел было запротестовать против такой тяжести, но потом вспомнил, что если бы Борис нашел, допустим, рыцарские латы — он и их бы надел: что ему там какие-то пара лишних пудов!

— А Степушка как? — спросил Борис.

— А Степушка — ничего! Дрейфит только и носом все хуже и хуже чмухать стал. Я думаю, его в лесу за версту будет слышно.

— Как твоя командировка? — спросил Ваня, натягивая носки и жутко морщась. Он всегда морщится, когда делает какое-нибудь, даже самое маленькое, усилие. Чиркает спичку — морщится, одевает носки — морщится.

— На два дня. Но начальник орловского ГПУ сам на неделю уезжает, так что, даже если запоздаю — все равно некому заметить будет. Но мне важно, чтобы за два дня выйти из пределов досягаемости: чорт его знает, еще вернется чего доброго! А ведь у них радио, и в два счета поймают: побег! Во всяком случае, я хотел выйти сегодня еще до света. Так, чтоб ваши многоуважаемые кумушки не особенно присматривались — кто и что.

— Так зачем тебе уходить? — удивился Ва:

— Сиди себе, кто тебя здесь увидит! А Ирочка будет в десять, вероятно, с билетами, так вот и попрем тогда сразу. А то — куда ты денешься! И где тебя потом искать?

Несмотря на протесты Бориса, я лег досыпать то, что мне полагалось по штату. Я пошел в другую комнату и оставил их вдвоем решать мировые вопросы. В комнате было бы темно, если бы не широкая щель в досчатой перегодке. Щель была под самым потолком, и в нее лился золотистый свет от большой керосиновой лампы в соседней комнате. Свет широкой полосой падал на досчатый потолок и заливал комнату золотыми сумерками цвета луковичной кожуры. И потолок почему-то вдруг стал таким невероятно уютным.

По нему вдоль досок елочкой бежали совсем красные сучки, будто кто-то тонкими и длинными ногами пробежал взад-вперед по потолку. Пробежал этак манерно, носками в стороны, и юркнул куда-то в одну из широких темных щелей в стенных бревнах. . . У него были, видимо, очень длинные и тонкие ступни, наверное, на то-оненьких, тоненьких ножках. Может быть, это был домовой, или кто-нибудь из этой компании... Во всяком случае — существо положительного характера.

Засыпая, я вспоминал, сколько раз и в каких самых разнообразных настроениях я вот так же лежал на этом же самом месте и тоже смотрел на эти сучки и тоже представлял себе домового — маленького, на тоненьких ножках, бегущего шлепающими шажками, вниз своей яйцеобразной головой, из щели в щель, поперек всего потолка. . . Когда мы сюда приехали — это было в двадцать шестом году. . . Тогда снаружи тоже лил дождь, света не было, и Тамочка долго плакала. . . Мебели тогда тоже было очень мало — почти, как сейчас. . . Думал ли я тогда, что вот буду лежать сегодня в последний раз и буду смотреть на те же сучки. . . И что завтра тю-тю... прощай Москва...

Тогда, конечно, не думал: а что будет потом?

Чего это я вот сейчас н е д у м а ю?.. Вот — смотрю на сучки, на следы домового и не думаю, не представляю себе, когда теперь в следующий раз и в каком настроении буду на них опять смотреть... Да и буду ли вообще?... Конечно — очень мало вероятно. Но. . . Чем чорт не шутит?. . . Ведь не думал же я, что снова вернусь из Берлина сюда... А судьба, она — дура баба!

Я закрыл один глаз и подмигнул сучкам. Они покосились. В углу, под потолком, в том месте, где раньше висела икона, которая теперь была где-то в Германии с нашими негативами, зашевелилась паутина, и из щели в бревне показались сначала чьи-то длинные и тоненькие ноги, а потом и весь домовой вылез наружу. Он стал на краю потолка вниз головой, подозрительно огляделся, повел носом и, осторожненько ступая в свои старые следы, чтобы не наделать чего доброго новых, зашлепал поперек потолка. . .

# VI. Malborough s'en va-t-en guerre

Рюкзак был явственно слишком тяжел. Даже мои телячьи ремни, широкие и мягкие, пережимали где-то в плечах какие-то артерии, голова наливалась кровью и, казалось — вот-вот лопнет. Итти приходилось согнувшись, и мы скорее походили на волжских крючников под пятипудовыми кулями, чем на вольных бегунков. На протяжении первых же ста метров по сиротливой досочке салтыковского тротуара стало ясно, что выкинуть придется половину, если не больше. В уме начали прикидывать — что именно можно будет выкинуть без слишком большого ущерба.

Салтыковские обитатели большими глазами провожали странную процессию, гуськом растянувшуюся по единственному проходимому в Салтыковке тротуару — шоссе Ильича. Впереди, гордо держа свой увенчанный золотыми косами классический профиль, шествовала Ирочка. На ней, согласно диспозиции, был маленький рюкзачек, аптечная сумка, бинокль и еще какие-то привески. Но в общем — она имела возможность гордо держать свой профиль. За ней — согбенный в бараний рог Степушка, с рюкзаком средней величины, флягой и залитыми потом половинчатыми очками. Очки — на веревочке.

Потом — я. На мне — мой пресловутый рюкзак, набитый до отказу, полевая красноармейская сумка, три патронташа, замаскированные одеяльным свертком, разобранная двухстволка, завернутая в простыню, с высовывающимися для камуфляжа кон-

чиками удочек, резиновые сапоги и — тоже очки. Очки—тоже залиты потом и тоже на веревочке. Для гордого вида у меня нет ни оснований, ни возможности.

За мной — Борис. Борис — как было сказано выше — весь в брезенте и в касторке. Если на нем и есть какой-то рюкзак, то для постороннего и непосвященного взгляда это не заметно. Рюкзак его, правда, в два раза больше моего, но он сидит на нем, как хорошо сшитый фрак, и как будто составляет с Борисом одно неразрывное целое. Какого-либо неудобства от наличия на своей спине пяти пудов посторонних предметов Борис не ощущает. Он похож на небольшую самостоятельную танкетку на прогулке. Очки на нем совершенно сухие, а из толстопузого кармана боковой сумки торчат футляры еще трех запасных пар. Его берданку сложить не удалось, и она торчит над ним этаким вымпелом, возбуждая в наших серцах всевозможные опасения. Очки на Борисе воинственно блестят, и вообще он, видимо, не очень заботится, чтобы его не заметили петухи.

Шествие замыкает Ваня. Ванина поклажа не уступает размерам Борисовой, но сидит она на нем, как на корове седло, болтается из стороны в сторону и грозит натереть ему такие волдыри на разных местах, что потом его хоть в лазарет помещай. Как я ни старался приспособить его рюкзак к ношению на человеческой спине — все мои рационализаторские усовершенствования пропали даром: пряжки, нашитые в разных местах, остались без употребления, уширенные ремни завились в колбаски и стали еще уже, чем были раньше, а если посмотреть на дядю Ваню в профиль, то был явственно виден какой-то острый предмет, которым рюкзак всей своей тушей упирался в Ванину спину. Очевидно, напоследок было запихано еще что-то совершенно необходимое, что и испортило всю строго научную систему упаковки рюкзака... Кроме того, рюкзак был старый и заслуженный и еже-

минутно грозил лопнуть. И не как-нибудь — по шву, а так — по живому мясу, во всю свою необ'ятную ширину сразу.

Но консерватизм — одна из основных черт Ваниного характера. Старый друг — лучше новых двух. А кроме того — все это мелочи жизни! И рюкзак грозно болтался из стороны в сторону на своей остроконечной точке опоры так же, как он болтался в Сванетии, в Дагестане, в Киргизии и еще в десятке других мест...

Ваня шагал сосредоточенно, и на лице его были написаны всякие проклятые вопросы. Не забыли ли чего? Не посеяли ли? Как оно будет в поезде? Как бы кого не встретить... Все ли печати проставлены? До чего еще не додумались?..

Те же мысли были и у меня, но в какой-то скорее абстрактной форме: забыли, ну и чорт с ним — не ворочаться же! А насчет будущего я предпочитал вообще не думать — там будет видно, чего заранее голову ломать!..

Что думала в этот момент Ирочка — трудно сказать. Она сегодня утром в последний раз перецеловала своих ребятишек... Быть может, она со всей своей скаутской силой воли выкинула эту мысль из головы... И старалась ни о чем вообще не думать... Может быть... На ее холодном, мраморном профиле было абсолютно ничего не прочесть.

Со Степушкой дело обстояло ясно и просто: он по-просту дрейфил и через силу сдерживался, чтобы не сесть на землю, вместе со своим немецким рюкзаком и вместе со своими мечтами о тихой эстонской деревушке... Лицо его было сплошное страдание: от страха, от тяжести, от мрачных предчувствий, от веревочки вокруг ушей, по которой пот стекал на оглобли очков и капал на морщинистые щеки. Жалко было Степушку. Вблизи — жалко, а издали — смешно.

И только Боб был в полном присутствии духа. Поход начался, и мировые вопросы шли автоматически ко всем чертям. Перед ним во всей его ясно-

сти и простоте стоял джек-лондоновский лозунг: „Где бы вы ни были — держите на запад!" Какие тут могут быть вопросы? Если по дороге встретится болото — через него нужно перебраться. Если встретится чекист — чекиста нужно угробить. Если жрать будет нечего — можно будет ползти хоть на четвереньках. Но ползти на запад, на запад и только на запад!

## Москва—Суна

День побега наступил так же неожиданно и просто, как наступает последний день осужденного на казнь человека. Казалось странной нераспорядительностью со стороны небесной канцелярии, что в этот день лил дождь так же, как и во все остальные, обыкновенные, дни, что ничто не грохотало и не содрогалось в pendant к тому историческому событию, которому было суждено в этот день совершиться. Уже в поезде я сообразил, что этим только подчеркивается вся величавость всякого рода грандиозных событий — будь они грандиозными, в масштабе миллионов сердец, или всего только на всего в масштабе одного маленького сердца: они происходят обычно не под грохот Везувия, и чинуши из небесной канцелярии не успевают даже проникнуться всей их значимостью. Нарочито обыденно сыплет серенький дождик, а ежели сердцу хочется лопнуть — так какое до этого дело бумажной душонке из небесной канцелярии!..

Колеса стучали, как они всегда стучат, с нарочитой бесстрастностью сибирских конвоиров, которые не в первый уж раз ведут арестантов и которые уж многое видели... Некоторые приписывают этому стуку какой-то сарказм, какую-то иронию над человеческой судьбой. Но мне кажется, что колеса везде и всегда стучат одинаково, с той только разницей, что в России к их стуку примешивается еще звон разболтанных костылей, что делает этот стук еще более усыпляющим.

До Ленинграда, набившись с поклажей в одно купе, ехали ночь. Публика, заглядывавшая к нам из прохода, испуганно убирала головы обратно, соображая, очевидно, что купе отведено кому-то важному, не поддающемуся уплотнению. В проходе сквозь разбитое стекло на ходу захлестывал дождь, поливая какую-то примостившуюся на чемодане женщину. Женщина жалостливо прижималась к стенке, придерживая одной рукой соломенную шляпку. Влетавшие снаружи капли дождя падали на измятую матерчатую розу на шляпке и на худенькую руку с синими жилками. Но женщина сидела согнувшись и прижавшись к стенке, боясь уступить место, отвоеванное себе и своему чемодану. Остальные стояли, отжимаясь от окна, и мерно, всей массой, покачивались в такт колесам.

Когда у нас основные разговоры были кончены, Ваня вышел в коридор и пригласил женщину к нам. Она удивленно подняла голову, нерешительно привстала и схватилась за ручку чемодана. Ваня взял чемодан и с видом начальника поездной бригады внес его в купе. Та молча последовала.

— Вот спасибо то, вот спасибо-то. . . — жалконьким тенорком причитала она. — А то смерзла совсем, смерзла совсем. . . — И так же робко, как будто все это было во сне, села на предложенное ей Ваней место, сжалась в комок и как будто бы заснула. Ваня вышел в коридор покурить. Я еще некоторое время посмотрел на согнувшуюся фигурку в черной соломенной шляпке с измокшей розой, заметил, как она зябко, украдкой засунула измерзшую руку в рукав, и потом, кажется, заснул, потому что дальнейшие воспоминания начинаются уже с Ленинграда.

Ленинграда, в просторечии так и оставшегося Питером, я, в сущности, не знаю. С ним у меня связаны какие-то тусклые спекулятивного характера воспоминания детских времен. Последний раз я видел крыши его домом, сидя на дне гепеуского грузовика.

Но это было на много позднее. Пока что Питер принял нас в зале ожидания Московского вокзала невероятной сутолокой, морковным чаем из вокзального буфета и странной химической смесью из окурков, плевков и просто уличной грязи на своих, бывших когда-то паркетными, полах. По краям полы были устланы спящими, пьющими тот же морковный чай и ожесточенно переругивающимися телами неведомо куда едущих и неведомо откуда взявшихся советских пассажиров.

За пределы этого вокзала я так и не попал, потому что был оставлен в качестве почетного караула на куче наших пожитков, и только из чистого любопытства отважился отбиться шагов на десять до ближайшего огромного, до самого потолка, зеркала. Удовлетворенный своим бронетанковым видом, в кожанке, в сапогах и сверх всего этого — в брезентовом милицейском плаще, я вернулся обратно к пирамиде рюкзаков и так на ней и просидел до отхода дальнейшего поезда на Мурманск.

Тут было менее набито, но до Званки поезд топтался по каким-то тупикам и закоулкам, будто там, в Званке, его ждала по крайней мере суровая порка. Основным занимавшим нас вопросом была та граница, с которой начиналась обетованная московскими метеорологами сухая погода. Часы проходили, с ними вместе проходили и километры, и градусы широты — не проходил только дождь, который с самого Питера заладил уже несколько бодрее, чем в Москве, а к Званке принял совсем угрожающий оттенок. На переходах из вагона в вагон, сквозь рваные гармошки соединительных перекрытий, он злобно хлестал ядовитыми струйками, сыпал жемчужным горохом в стекла и заливал наши души холодной и мокрой жутью...

„Небо плачет"... — думал я, угрюмо похаживая по полупустому корридору. — Над кем плачешь?.. Над нами"?...

Дальше мои рассуждения не шли. Было ясно, что дождь в Карелии менял положение вещей на

все сто восемьдесят градусов в паршивую сторону. Но в то же время было ясно, что возвращаться назад совершенно немыслимо и что, значит, переть придется и по дождю. Расписывать самому себе все преимущества такого хода не имело никакого смысла, и я предпочитал не заходить слишком далеко во всякого рода предвкушениях. Думал об Абрашке и о той открытке, которую я ему напишу из Гельсингфорса. С вещественной живописностью представлял себе уголки Абрашкиного рта, из которых от злости будут выдуваться зеленоватые пузырьки слюны. Думал о том, как будет реагировать Оська. Тот, наверное, будет и рад, и горд: он всегда говорил, что „из хлопца выйдет толк". Потом думал о Финляндии, причем, констатировал, что никакого понятия о ней не имею; о границе, о лесе и, наконец, ловил себя все на том же дожде, после чего снова возвращался к Абрашке. Так время прошло до самого вечера, когда мы, наконец, доползли до Званки.

В Званке в вагоне появился какой-то патруль. Патруль проверял „документики". У нас документиков была такая уйма и все они были снабжены такими убедительными печатями, что патруль, истратив на свои большие и указательные пальцы весь наличный запас слюны, потоптался, взял под козырек и ушел. Потом пришли какие-то бабы с ведрами и щетками, презрительно подоткнув юбки, отдали свой халтурный долг санитарии и гигиене и тоже пошли прочь. Потом мы простояли часа три, неизвестно для чего „пущая" пары и время от времени перепихиваясь то на метра два вперед, то на метр назад. Потом поехали дальше и облегченно перекрестились, потому что предполагалось, что если „некто в гороховом" что-то знает, то практическое применение своим знаниям он найдет именно здесь, в Званке. Но Званка была уже позади. мы перекрестились и вздохнули свободно.

* * *

Проскочив живьем через Званку, поезд внезапно весело запыхтел и покатился так, будто и для него самое худшее осталось позади. С рискованным задором почуявшего волю старого мустанга он лихо влетал в повороты и перелески, оглашая пугливые деревушки своим металлическим ржанием и жалобным стоном истрепанных шпал и костылей На стыках он мягко пружинил, создавая впечатление, будто рельсы держались на шпалах одним Божьим промышлением и приподнимались с другого конца, когда он наезжал на стык. Вагончики веселой оравой прыгали вперегонку, как комки пестрой бумаги в хвосте воздушного змея. Одним словом, поезд вел себя весело и непринужденно.

Часа в два ночи он сделал у Петрозаводска легкую передышку, должно быть на водопой, попыхтел, поскреб копытами землю и покатился дальше. Мы в купе спешно доедали последнюю оставшуюся в живых торгсиновскую курицу, взятую с собой на предмет восстановления организмов перед последним и решительным боем. За железнодорожный отрезок пути наши рюкзаки немного сбавили в весе: было с'едено четыре курицы, баранья нога, неопределенное количество хлеба и целая банка масла. Кроме того, в окошко были выкинуты зубные щетки, признанные излишней роскошью, Степушкина карманная счетная машинка, без которой он, по его утверждению, не мог существовать, и еще кое-какая ни в чем неповинная мелочь, заподозренная в излишнем весе. Перед верховным трибуналом по очереди представала каждая пуговица, каждая ниточка из нашего обмундирования, где она подвергалась строжайшему рассмотрению на предмет своей жизненной необходимости. Но никакие строгости не помогли, и, помимо из'ятия четырех кур и бараньей ноги, рюкзаки как были, так и остались „недорезанными".

Часа через два после Петрозаводска предпо-

лагалась по расписанию станция Суна — последний форпост цивилизации, за которым начинался пеший и полу-пеший вид хождения и за которым ошибка московской матеорологической станции приобретала все свое практическое значение. А в том, что московская станция ошиблась, теперь уже не могло оставаться никакого сомнения: дождичек лил, как будто никаких метеорологических станций в мире и не существовало, и нам только оставалось удивляться собственной наивности: как это мы, со всем нашим советским опытом, могли предположить отсутствие халтурных наклонностей у обыкновенных смертных советских метеорологов? Неужели можно было представить себе, что они, действительно, каждый день, при составлении своей карты, справляются в какой-то там Карелии о существующей там погоде?

Но рвать на себе волосы было бесполезно, и потому мы сконцентрировались на том, чтобы не прозевать станции Суна. Поезд по расписанию должен был простоять там три минуты, но расписание — расписанием, а факты — фактами. Ваня провел последние два часа в корридоре, поминутно высовываясь в окно и тщательно вглядываясь в огоньки пробегавших мимо полустанков. Когда, наконец, он вошел в купе, заявив, что Суна на носу, пух на его голове слипся, и по вискам стекали за шиворот струйки воды.

— Вытрись, Ва, а то еще простудишься чего доброго! — сказал я, протягивая ему носовой платок.

— Ни черта! Тащи свои монатки, а то не поспеем! Три минуты ведь только!

В это время поезд как-то обмяк, как будто из него вынули спинной хребет, и стало ясно, что под'езжаем. Колеса заскрипели, и поезд стал у какой-то полуосвещенной платформы, с одинокой фигурой начальника станции под фонарем. Мы стали спешно выкидываться.

## „Суна"

Начальник станции был в высшей степени удивлен нашим появлением. Нас он заметил только после того, как поезд тронулся и, саркастически моргая красным глазом, этакой баскервильской собакой исчез в тумане. После шумового оркестра лязгающих колес и костылей мы внезапно очутились в густой тишине и мгле сизого тумана, накрывшего платформу и станционную конуру пушистым комом гигроскопической ваты. Остального мира не было: был только небольшой освещенный круг платформы, кусок конуры, фонарь и какой-то нелепый вопросительный знак вместо начальника станции.

Он стоял, недоуменно расставив ноги в широченных латаных штанах, выставил вперед голову, и его маршальский фонарь растерянно повис в его руке. Все в начальнике станции было недоуменным. Ему, видимо, за всю его долгую службу, ни разу не приходилось видеть живых существ, покидавших на вверенной ему станции проносившиеся мимо поезда. Он даже, повидимому, вообще не верил в такую возможность... И теперь он стоял, недоверчиво вглядываясь в туман, пока мы со всем нашим скарбом не появились в освещенной полосе.

Немая сцена, почти как в театре: тишина, тьма, во тьме — фонарь, выступающая из мрака бревенчатая стенка станционной халабуды и застывшая в немом удивлении фигура начальника станции. Перед ним, в трех шагах — живописная группа неправдоподобных существ в рюкзаках...

— Э э... Товарищ начальник, мы . . . —нарушил, наконец, тягостное молчание Ваня и стал пояснять товарищу начальнику — кто мы такие и что нам от него нужно. Нужно нам было немного: место, где бы мы могли пождаться утра, с тем, чтобы потом найти в деревне лодку, на которой мы бы могли подняться вверх по реке Суне до водопада Кивач, или до Сунозера. Немая подозрительность начальника станции была, наконец, сломлена хитроумно-

стратегическим заявлением Бориса, что „не плохо было бы разогреться“, причем, Борис побулькал в воздухе синей эмалированной фляжкой с торгсиновским спиртом. Вся неловкость создавшегося положения моментально растаяла в окружающем тумане, и начальник, махнув фонарем, пригласил нас внутрь станционного здания.

Там была комнатенка метров пять на пять, с примыкающей к ней служебной закутой самого начальника. В закуте стоял большой керосиновый фонарь, столик с телеграфом, табуретка и жестяная буржуйка на трех ножках. Буржуйка топилась, давая своими раскаленными боками больше свету, чем сам фонарь... Зато фонарь, повидимому, призван был исполнять ее, буржуйкины, отопительные функции. От него кверху шел столб копоти и теплого воздуха, придавая помещению вид обжитой самоедской юрты. Буржуйка же действовала на короткую дистанцию — всего лишь на два шага. В трех шагах, ближе к стенке, уже пронизывал космический холод, проникавший ехидными струйками из каких-то невидимых, но вездесущих щелей.

Места в закуте оказалось достаточно, чтобы хлебнуть „в круговую“ из кружки с разбавленным спиртом, но когда мною было выражено желание немножко прилечь до окончательного утра, мне ничего не осталось, как постелить свой милицейский плащ в основном помещении — в комнате пять на пять, на полу, в котором щели занимали безусловно больше места, чем доски. Минут через пять ко мне присоединились и Ирина со Степушкой, а еще через полчаса расположил подле нас свои ароматичные причиндалы и сам Борис. Ваня остался вести душевные разговоры с товарищем начальником. Время от времени до меня доносилось чье-то ожесточенное чихание. Только я не мог толком разобрать, кто именно чихал: Ваня или начальник. Чих был остервенелый и каждый раз по разному. Быть может, чихали оба . . .

„Ведь простудится, обормот! — думал я, за-

дремывая в ложбинке между Степушкиной спиной и выдававшейся из полу балкой. — Хоть вытерся бы“. . .

*
* *

Утро раскрыло перед нами панораму карельского болота во всей его красе. Туман, смешиваясь с дымом стоявшей неподалеку деревеньки, устилал кочковатую равнину белесыми простынями. Из него, как из наводнения, там и сям выглядывали верхушки низкорослых болотных сосенок. Разбредшимся стадом плыли по нему гонтовые и камышевые крыши карельских изб, и железнодорожная насыпь с горбатым черным мостом тянулась от края до края, утыкаясь на горизонте в черный зубчатый хребет далекого леса. Под мостом туман тек густой струей, расползаясь по долине конденсированным молоком в блюдце чая. Там катила свои серые воды неширокая холодная речка с таежным названием Суна.

В деревеньке улицы расстелились необ'ятными грязеемами, шириной сажень в сорок каждая, а по лторонам далеко друг от друга стояли громадные серные срубы карельских изб, и кулаком пахло от чаждой из них. Места у карел — слава Тебе, Гоксподи! Лес — оно видно по бревнам, какой тут сес! Стоит такая избенка из аршинных бревен сотни лет, пока не сгорит. А так, что-бы без пожара сгнила или рассыпалась — такого и не бывает вообще...

Но „цивилизация“ и сюда уже добралась. Где-то невдалеке из пелены тумана торчит длинная жердь, на жерди — мокрой тряпкой, бывший когда-то красным, флаг. А в конце улицы, в самом фарватере, устрял в грязи остов потерпевшего крушение трактора. С него сняты какие-то, очевидно, наиболее ценные части, а на ржавом баке спереди верхом восседает местного происхождения карапуз в кожаных пьексах. В руке у карапуза кнутик, и он писклявым баском на неизвестном мне наречии отдает приказания двум своим современникам. Совре-

менники по пояс в грязи, сдвинув ушатые шапки на белобрысые затылки, что-то копошатся у задних колес трактора. Очевидно, вспоминают те далекие времена, когда взрослая часть населения занималась тем же самым — пыталась вытащить увязший трактор из пикового положения на сушу.

Мы бредем, точнее, лавируем по улицам, сообразуясь с указаниями начальника станции. Без сельсовета здесь не обойтись: нам нужна лодка, лодка принадлежит какому-то мужику, а мужик принадлежит сельсовету. Надо сначала испросить „хозяйского“ благословения. Сельсовет, очевидно, там, где красный флаг. На флаг мы и держим курс.

Останавливаемся перед огромной черной избой с треснувшей бурой звездой над низеньким входом. Под звездой — штуки три доски с об'явлениями, постановлениями и показателями. Все это под извечным дождем давно уже утратило последнюю степень читабельности. Уголки у бумажек ободраны — должно быть, на цыгарки. Кое-где ободрана и целая половина — очевидно, что-нибудь старое, уже тридцать раз прочитанное: зачем добру зря пропадать!

Ваня пытается влезть в низенькую, приземистую дверь, но, зацепившись рюкзаком о косяк, хлопается обо что-то лбом и, богохульствуя, задом пятится обратно. Потом оставляет свой рюкзак в сенях и следует внутрь. Минут через десять он снова появляется в сопровождении лебезящего председсельсовета. На председсельсоветов всего мира Ваня имеем какое-то чарующее действие: ни один из них не отважился ему когда-либо в чем-либо отказать, и наоборот — каждый из них после краткого задушевного с ним разговора из кожи вон лезет, чтобы как-нибудь быть ему полезным. На председсельсоветов у Вани есть специальная натаска: душу председсельсовета, все его мысли, все его мечты и опасения Ваня знает, как хороший полководец — душу, мысли и опасения своего солдата. И потому ему от председсельсоветов никогда отказу нет. Лодка для нас была готова через полчаса.

Везти нас взялся некий, карманного формата, мужичек, с рыже-льняной бороденкой, в „поршнях" и онучах. В качестве бесплатного приложения мы получили в компанию такого же карманного типа и и такую же рыже-льняную собаченку, которая крутилась, носилась и тявкала, развивая по поводу столь радостного события бешеную энергию. Ее, очевидно, не в пример другим благословенным местам, еще как-то кормили. Впрочем, несколько позже мы имели возможность убедиться в том, что на севере коллективизация псов не коснулась: наша тявка, следуя всеми четырьмя лапами вслед за лодкой по берегу, время от времени подымала дикий гвалт, причем, хозяин, прислушиваясь, уверенно говорил: — „Жабу нашла! Это так — простое! А вот теперь — белку! Эх, жаль берданки нет", — при этом он косо посматривал на берданочный ствол, на аршин торчавший из Борисового рюкзака. Один раз задорный лай тявки перешел в истошный визг, причем, наш Харон немедленно повернул лодку к берегу и принял на борт изо всех лап спасавшуюся животину.

— Ты кого там? Говори!—строго воззрился он на дрожавшую и ощетинившуюся собаченку. —Волка, что-ли?

Собаченка оглядывалась на хозяина, деланно улыбалась, вертела хвостом, но потом снова возвращалась к занимавшей ее проблеме: в кустах на берегу был кто-то страшный и ненавистный, которого теперь, сидя в безопасности, посреди реки, необходимо было покрыть нехорошими словами.

Лодка была длинным, плоскодонным сооружением черным, от времени и набухшим от воды, с ивовыми кольцами вместо уключин и без скамеек. Приняв в себя шесть человек с пятью рюкзаками, она погрузилась по самые борта, рискуя ежеминутно зачерпнуть мутную ледяную воду. Рюкзаки были положены на дно и прикрыты сверху чьими-то плащами. Публика разместилась кто куда — по бортам, на кормовой ящик и, наконец, просто на дно.

Принимая во внимание законы равновесия, на дно посадили Ваню с Борисом, а которые полегче, могли сидеть повыше. Ирочка изображала из себя кормчего, пока окончательно не вывела из себя нашего мужичка.

— Да ты в струю держи, в струю, барынька, — сдерживая яростные нотки в голосе, говорил он. — Не вишь, што-ль, вертени спереду, што-ж задарма силу-то тратить!

Барынька силилась держать „в струю", но тяжелую ладью все время сносило на сторону, и тогда мужичек начинал яростно загребать веслами, выправляя лодку против течения.

— Тута дело моментательное! — говорил он, об'ясняя свой отказ от Ирочкиной помощи. — Тута — момент и тюк тебе! Потом имай лòдью, насупротив-то! А мне еще верстов пидисят се-дня! Барыньке — сидеть, а карелу — гребсти! Э-тка?!..

Река то разливалась до огромной ширины, то стекалась в узенькую щель между „сельгами" — каменными обвалами. В таких случаях все живое из лодки вылазило на берег и помогало мужичку вытягивать ее на волоке по порогам. По берегам — лес дремучий и грозный, кормящий и убивающий, укрывающий и предательский, такой, каким он был в первый день творения, и тысячу лет тому назад, и сегодня, и каким он, Бог его знает, сколько еще времени проживет... В три обхвата великаны завалились поперек реки, река нанесла сюда всякой дряни — корни, ветки, целые стволы и бревна со сплава, мох виснет над головой, когда проплываешь под берегом, да такой мох, что будто сам леший свою бородищу в воде мочит...

Временами наш возница оглядывался куда-то вдаль на берег, указывал на что-то пальцем и говорил:

— О-о-о-вон, березà стоит!..

Березы кругом было много, так что наличие еще одной лишней на нас никакого впечатления не производило. Но все же мы полюбопытствовали:

— А что с ней такое — с березой вашей?

— Э-к! — досадливо отвечал он. — Что с ей! Корела она! Таких — одна на тыщу, может, есть, а может, и нет ее!

Мы посмотрели на „корелу“ и ничего специального в ней не приметили. Береза, как береза, ничего особенного...

— Ах, так это, верно, карельская береза,—надоумилась Ирочка.

— Корельская, корельская! закивал мужичек. — За ее, за цельную, в Петроводске мукой плотють. Привез куб — на те куль!

— Ну у! — удивились мы. — Так чего-ж вы не возите?

— Ты, как ее повезешь! Нам в Петроводск не можно... Сиди не гуляй, инак — в лагерь возьмуть... Нам все в Кореллес сдавать сказано, на них в лесу и работаем. Сельсовет возит, а нам—не, не можно!

Скоро мужичек снова принял на борт свою тявку.

— А щас Вороново будет, — пояснил он. — Там свои псы — нашим нет пуску. Иди, иди, кудлявка!—и он для большей убедительности заговорил с ней на местном диалекте.

К вечеру, когда закатывающееся солнце на несколько минут вставило свои щупальцы в узкую щель между тучами и землей, за излучиной реки, разбросанное по нескольким пологим холмам, показалось село Вороново. Здесь предполагалось устроить ночевку с картошкой в мундирах. Картошку нам обещал наш чичероне и гондольер.

## Дальше. . .

Вороновские воспоминания ограничиваются грудой дымящейся картошки в мундире и древним старцем, слепым и белым, как лунь. Старец тихо и горделиво сидел на кованом сундучке в углу избы и так, кажется, просидел всю ночь, не шелохнув-

шись и не вымолвив ни одного слова. На утро я его нашел все в том же положении и с тем же благостно-гордым видом. Что-то родоначальное струилось из старца, и мне по этому поводу вспомнилась марксическая история классов, с патриархальным строем, „печищами" и „домищами". Вороново было бы в этом отношении типичным „печищем", если бы не сельсоветские ребята с наганами на боку разгуливавшие по селу и нас подозрительно оглядывавшие и обнюхивавшие.

Утром тронулись дальше. С лукавым видом профессиональной русалки, заманивающей путника подальше в болото, выглянуло солнышко, залив неприглядную северную пустошь розовато-желтой акварелью. Казалось, будто здешнее солнце—вообще не солнце, а только его тусклое отражение в этих серо-белесых небесах. Настоящее солнце было где-то на южном полушарии, а здешние места освещались отраженным светом, матовым и спокойным до унылости. . .

Впрочем, дождь скоро снова пошел, а река, демонстрируя нам все свои возможности, повела нас сквозь настоящие, каменноугольного периода, карельские болота. Берега странно терялись в хлибких пловучих торфах, на которых тут же, над водой, росли тоненькие и корявые дегенеративные сосенки. Суша, в общечеловеческом понимании этого слова, куда-то пропала, уступив место пловучим кочкам, рыжей болотной жижице и завалям нанесенных рекою лесных гигантов. Было что-то доисторически-мрачное в этом низкорослом пейзаже, и фантазия, за неимением ничего лучшего, принималась за всякие дикие картины. Вот — вылезет сейчас за поворотом реки из болотного торфа длинная тонкая шея с маленькой головкой. . . С нее будут свисать мокрые корни и водоросли, а из ноздрей голова будет „пущать" фонтанчики воды... Потом шея с усилием изогнется, и за ней последует из воды огромная, многосаженная черная спина. . . Со спины будет сливаться вода, и большими кругами

пойдут от нее волны. . . Таежную тишину разобьет плеск воды и пронзительное сопение животины. . . Наверное — диплодок!.. Тогда нужно будет поскорее смываться в береговые заросли, пока не заметил. . .

Впрочем, диплодок не спешил появляться, уступив свое место чему-то, если не более страшному, то, во всяком случае, более реальному: над лодкой стали виться густые тучи запоздавших осенних комаров, жаливших человека со всей отчаянностью своего безнадежного осеннего положения. Это были глупые, неученые комары: у них не было еще осторожности и изворотливости их салтыковских соплеменников, и они садились куда попало, жалили изо всех своих маленьких сил и мерли тысячами под ударами вращающихся пропеллерами ладоней. Своей безграмотностью они были страшнее увертливых салтыковцев: с их стороны это не было отвагой, против которой еще можно принять какие-то меры, это было просто глупостью, фатальной глупостью, против которой защиты нет... Им не было конца, они не щадили своих жизней, и их ничто не могло устрашить: они не ведали, что творили. . . Их пригоршнями сгребали с лиц, с ушей, с затылков, но через секунду все это снова покрывалось черными присосавшимися комочками...

Я всегда удивлялся, чем руководствуется таежный комар в своих нападениях на человека. Ведь он за всю свою долгую лесную жизнь ни разу человека не видал, человека не видали ни его родители, ни прародители до, чорт его знает, какого колена. Казалось бы — откуда ему знать, что такое человек?! Посмотри и облети сторонкой подальше!.. Так нет — с каким-то восторженным самозабвением прет в атаку, присасывается и гибнет, гибнет, гибнет сотнями, тысячами, десятками тысяч! . . Поистине — расточительна природа! . .

Комары попадались и раньше, но не в таких астрономических количествах. Я потому так много места уделяю этой, казалось бы, несущественной

животинке, что в нашем путешествии она сыграла весьма существенную роль. Взятые с собой самодельные накомарники в кратчайший срок выявили всю свою несостоятельность, а перчаток никто с собой захватить не догадался, и руки распухли в подушки, будто их кто-то накачал воздухом. Как-то, уже впоследствии, я из чистого любопытства проделал такой опыт: выставил голую ладонь, сосчитал до десяти и потом хлопнул сверху второй ладонью. Убитых на месте оказалось тринадцать. Еще столько же успело увернуться . . .

Скоро река стала все чаще и чаще переходить в пороги, все чаще и чаще приходилось вылезать и перетягивать ладью волоком. В конце концов, наш чичероне окончательно пристал к берегу и заявил, что теперь надо итти пешком до какой-то деревеньки, откуда на подводе можно будет добраться до Кивача.

Сельсоветская подвода, добытая после некоторых дипломатических пререканий, скрипела и болталась во все стороны на своих деревянных осях, а впереди, над оглоблями, ходуном ходили тощие лопатки рыжего сельсоветского коняги. Уже к вечеру мы проехали над широким ущельем, дно которого заполняла клокочущая пена Суны. Кивач был уже близко, и грохот его не давал говорить. Солнце садилось, как и в прошлый день, в узкой полоске синеватого неба на горизонте. Там был запад, и отсюда, сверху, его было очень хорошо видно.

„Если итти все время на запад — доберемся ли мы, в конце концов, до солнца? — подумал я.— А может быть, солнце к тому времени вылезет с другой стороны и окажется на востоке?“...

* * *

В Киваче было решено устроить легкий стоп. Вечером за картошкой в мундирах Ваню стало слегка познабливать. Ирочка пощупала ему пульс: вышло под девяносто. Дали ему аспирину и сказали,

чтобы сидел смирно и никуда наружу не вылазил. В широченной полупустой горнице карельской избы сложили на пол рюкзаки, постелили плащи и под заунывное пение какой-то старенькой бабуси стали засыпать. Бабуся укачивала своего внученка в своеобразной люльке: вдоль потолка, из угла в угол, была за один конец прикреплена длинная березовая жердь. К другому концу на трех веревках привязана берестяная люлька. Бабуся ритмически дергала люльку вниз, жердь гнулась и потом выгибалась обратно. Но жердь была суха и упруга, и качания приобретали почти галопирующий темп. Как несчастный карельский бэбс умудрялся спать при таких условиях—было неясно, тем более, что пение шло в том же темпе, что и качание.

— Вот этот уж на море не заболеет! — думал я засыпая. Потом пришла в голову мысль, что может заболеть Ваня. — Ну, вот еще!—самого себя испугался я. — Чего не хватало! Ничего с ним не станет: проспится и все будет в порядке.

Но на всякий случай прислушался. Ваня сопел, очевидно, еще в бодрствующем состоянии:

— Ты смотри, Квак, того... это самое!...

— У? — он поднял смешную, без очков, голову от подушки.

— Я говорю — ты смотри не разболейся у меня тут!

— Нет, это так — ерунда! Завтра пройдет!

— Ну — смотри!

Потом снова стало тихо, и только бабуся прыгающим через кочки фальцетом продолжала свое: а-а, а-а, а-а, а...

* * *

На утро я пошел оглядеться. Ваня еще спал, и мне сказали, чтобы я не особенно фигурировал по деревне, дабы не возбуждать праздного любопытства. Я посмотрел на Ванино лицо — оно было все красное, как помидор, а рюкзак, на котором он спал,

был весь измят. Должно быть здорово вертелся ночью.

Но в деревню меня не тянуло. Я пошел по тому направлению, откуда больше всего неслось грохота, и минут через пять вышел на Кивач. Высунул голову над обрывом, и меня оглушило: таких водопадов я еще не видывал в своей жизни. Суна расплелась здесь на две струи и срывалась метров на двадцать в глубину. Левая струя огромным широким языком, спокойно, точно вылитая из стекла колонна, поднималась из огромной черной миски с белой пеной. Другая струя, правая, бесновалась уже с самого своего начала. Струи в ней пересекались, били одна через другую, и, казалось, будто кто то наверху отвертел какой-то гигантский брандсбойт и посылает струю в гранитные торосы ущелья.

В числе прочих — есть две вещи в мире, которые могут привести меня в азарт и заставить забыть доводы здравого рассудка: это альпинизм — лазание по скалам и бегущая вода. Со мной уже бывало в жизни, что я забирался на какой-нибудь гранитный великан, потом не знал, как мне оттуда слезть обратно вниз, и давал себе клятву никогда больше не вовлекаться в такие идиотские аферы.

И при первом удобном случае снова лез и снова оказывался в пиковом положении.

А если где-нибудь бежит или бьется, или клокочет вода - то тут я могу сидеть часами и часами, глядя все в одну точку и не замечая, как проходит время, и пребывая мыслями где-то в вате водяного грохота. И мне не будет скучно... И если сядет солнце, то я только замечу, что мне стало холодно, и пойду домой, и в ушах потом всю ночь будет, как в морских диковинных раковинах, шепот грохотавшей воды.

Я, цепляясь за мокрые черные камни, слез на высмотренный сверху балкончик „в профиль“ к водопаду, сел там на мокрый мох и просидел — Бог его знает, сколько времени. Смотрел, смотрел, смотрел, и становилось все спокойнее и величавее на

душе, и мелкими заботами стал казаться весь наш побег, и дождь, и болота. Потом сообразил, что если меня чего добраго позовут или будут искать, то ведь никто не знает, где я обретаюсь, а сам я ничего из за шума воды не услышу. Я встал и, за неимением ничего более подходящего, бросил в водопад коробку спичек. Так — „от меня.. Что-нибудь нужно было дать Кивачу „на память". Потом вылез обратно и вернулся домой. Ваня все еще спал...

Борис нервничал. Он шатался взад вперед по огромному „холлу" нашей избы и старался не то, чтобы не показываться на улице, а даже и близко к окнам не подходить. Чорт его знает, какие могут быть встречи и какие могут проявиться любопытства. . . С бумагами у него, правда, все обстояло в относительном порядке, но... у Бориса за его длительную практику выработался принцип не навязывать своей персоны чинам и лицам, обладающим правом потребовать документики. И потом — он уже настолько привык к тому, что внешне как-будто совершенно незнакомые люди внезапно бросались жать ему руку, восклицая: „Ах, Борис Лукьянович! Как поживаете?! Вы уже вышли?. . . А я думал, что вы все еще сидите!"... — что стесненное одиночество в душной избе он предпочитал чреватому последствиями появлению в деревне.

Но в основном его нервировал Ванин сон. Тот все спал и спал, не принимая в расчет ловкости рук орловского ГПУ, которое ежечасно могло хватиться Бориса и разослать по радио описание его наружности. Правда, Борис значился в командировке, а его начальник еще не вернулся из какой-то поездки. . . чем чорт не шутит, когда Бог спит! Во всяком случае, в Борисе мысль о том, что надо дать Ване отоспаться, боролась с желанием разбудить его немедленно и с наступлением темноты продолжать маршрут, с постепенным загибом на запад. И он совсем было уж поддался последнему соблазну, когда на сцене появился я.

— У тебя все в порядке, Юрчик? — спросил

он меня. — Сейчас будем будить Ваню и двигаться дальше.

— Что, неужто еще спит? — спросил я, и в душе у меня шевельнулись неприятные предчувствия.

— Спит, Божий праведник! Да только это не входит в повестку дня. К темноте нам нужно смываться!

Я помолчал и посмотрел на Ваню. Тот вкусно уткнулся носом в рюкзак и посапывал, будто на свете не было ни Карелии, ни ГПУ.

— К темноте? — перепросил я. — Почему к темноте? Наоборот, нам смываться можно только утром, ведь мы еще на легальном положении!

— Ну так что, что на легальном? Были на легальном, а теперь перейдем на нелегальное! Во всяком случае, ждать до утра нельзя. Ну ты, Юрчик, не торгуйся, а устраивай свои монатки. Ирина уже пошла нюхать, как тут относительно моста, свободен ли переход.

Мне стало не по себе. Ваня спит, значит, с ним явственно не все в порядке. Итти дальше, если он простужен,— безумие и ужас, потому, что если он умудрился простудиться в поезде, то что с ним будет после первой же ночевки в болоте? С другой стороны, у Бориса явственно скипидар: выходить из деревни вечером, значило бы неминуемо возбудить весьма обоснованные подозрения со стороны первого встречного, включая сюда и хозяина нашей избы. А отложить на утро? Ваня бы, пожалуй, успел к тому времени проспаться и прочухаться: после такого сна люди обыкновенно встают здоровыми. Ну, а если Бориса, действительно, хватятся? Много ли шансов на то, что его опознает местный сельсовет, если он не будет показываться наружу, а завтра утром тихохонько смоется?

Чорт его знает! Моего ума не хватало, чтобы охватить всю сложность событий, но, с другой стороны, не хватало и моей солидности, чтобы вступать в пререкания с об'единенными силами Бориса

и Ирины. Во всяком случае, мне не хотелось будить Ваню. Если даже выходить вечером, то до сумерок осталось много времени. А Ваня не будет же спать до бесконечности!

Все эти мысли я высказал Борису. Тот продолжал настаивать. Я стал принимать все более категорический тон. Спор из сдавленного шепота перешел на повышенные нотки. В конце концов, сговорились на том, что подождем возвращения Ирины, а я пока займусь сборкой Ваниных вещей.

Ирина вернулась через полчаса. Она заявила, что была на мосту через Суну, что постов там никаких нет, но что на другом его конце окалачивается какая-то темная фигура в штатском. Фигура, правда, пропустила ее мимо себя, не выразив особых подозрениий, но когда Ирина возвращалась обратно, фигура все еще стояла, прислонившись к перилам моста, и с нарочитым безразличием поплевывала в воду.

— Надо моментально смываться в другую сторону! — решил Борис.

— По моему, ни черта подобного! Завтра утром вполне официально сядем в лодку и попрем по направлению на Сопоху. Что они по ночам выставляют посты на мосту, это совершенно понятно. А в другую сторону — это куда? Ведь через Суну нам все равно придется переправляться? А вплавь — это спасибо, переправляйтесь сами!

Я думал, что Ирина будет ожесточенно защищать точку зрения Бориса. Но оказалось, что она и сама в нерешительности. Степушка пассивно стоял на моей стороне: выходить куда-то ночью, в особенности куда-то „в другую сторону" — ему совершенно не улыбалось. Мы поругались еще некоторое время и, в конце концов, сошлись на том, что подождем самостоятельного пробуждения Вани. Во-первых, посмотрим, как он себя чувствует, а во вторых — он рассудит, кто прав, кто виноват.

Борис демонстративно зарядил свою берданку,

сел за стол к окну и положил ее подле себя.

— Это на какой предмет? — спросил я.

— Да так! Ежели что—будем отбрыкиваться.

— Это против трехлинеек-то?

Ирочка извлекла из складок одежды свой шестизарядный пистолет и передала его Борису.

— На, Бобик! Если придут — то последнюю в себя!

— Ну, а остальные — как же? — спросил я.

— А уж остальные — пять штук! В комнату войдет только шестой!

— Нет, я спрашиваю — остальные — это мы. А мы как же?

— Ну, вы! Вам ничего, посидите — отпустят! А мне после Соловков дорога только к стенке!

— Бросьте! — возмутился я. — Чего вы панику наводите! Никаких еще признаков опасности нет, а вы будете подымать скандал, если кто-то в комнату войдет! И потом — если вы будете отстреливаться, то к стенке пошлют всех нас! Кто там потом разберет, кто стрелял! Вот, ей-Богу, паникеры!

— Ты, Юрчик, молод и зелен! — веским тоном заявила Ирочка. — Вот ты пересидишь свое, как Боб, тогда по другому будешь разговаривать!

— Нет, только, ради Бога, не стреляйте? — вмешался внезапно Степушка. — Ведь нас всех убьют! Ведь я совсем непричем! Ведь я не стрелял, а меня тоже убьют вместе с вами! . . Нет, вы, Борис Лукьянович, ради Бога, не стреляйте! . .

От Степушкиного визга в углу что-то зашевелилось и раздался зычный Ванин зевок.

— Наконец-то! . . — вырвалось у всех. — Ну что? Ну как вы? Ну ты что, Квак?— посыпалось со всех сторон.

Ваня приподнялся на локте и удивленно осматривался по сторонам. Потом, видимо, вспомнил все обстоятельства дела и стал щупать вокруг себя руками в поисках очков. Я достал их с печки, куда

их убрали для вящей безопасности, и передал ему.

— Ну?

Он удивленно воззрился на меня.

— Что — „ну"? Чего вы все на меня так уставились?

— Да вы тут, дяда Ваня, вообще говоря, являетесь предметом оживленной дискуссии! — заявила Ирочка. — Находятся лица, осмеливающиеся сомневаться в вашем здоровьи!

— То-есть, как — в здоровьи? Я совершенно здоров! Чего вам от меня нужно?! — возмутился он. В характере Вани заложена глубочайшая ненависть ко всем, высказывающим такого рода сомнения.

— Здоров-то ты здоров, — заявил я, — да вот только проспал ровным счетом двадцать четыре часа! А вчера у тебя было . . .

— Сколько? — прервал он меня. — Не может быть!

Потом он „энергетически" вскочил и стал натягивать сапоги. Ирочка подошла и осторожненько взяла его за пульс.

— Чего вы, Ирочка! Да, ей-Богу же, у меня ничего нет!

— Т-шш, дядя Ваня! Ваше дело шестнадцатое!

Ваня на минуту присмирел. Все с напряжением смотрели на Ирочкины шевелящиеся губы. Потом она выпустила Ванину руку и молча отошла в сторонку. Сказалась привычка к врачебной тайне.

— Сколько? — вырвалось у всех.

— М-мм, не густо... Под сто все-таки стукает.

— Да ну, ерунда! Это я просто только что проснулся и вскочил — вот вам и пульс! — запротестовал Ваня.

Ирочка, видимо, не разделяла его оптимизма.

— Слушай, Кваке, — собрав весь свой запас вескости, заявил я, — ты дурака не валяй! Ежели ты у нас потом по дороге скиснешь — сам понимаешь, какие могут быть последствия!

— Да ничего я не скисну! — ерепенился Ва-

ня. — С чего мне, спрашивается, скисать? И потом вообще — ничего у меня нет!

Ваня проспался и находился в забубенно-бронебойном настроении. Похоже было на то, что у него, действительно, ничего нет.

— Раз такое дело, — произнес Борис, — то я предлагаю немедленно трогаться!

— Куда трогаться? — снова изумился Ваня. — Чего трогаться?

— Да потому, что время идет, Ваня! Ты, брат, сутки проспал, и тебе море по колено! А меня могут каждый момент хватиться! Если уже не хватились . . .

— Ерунда на постном масле! — категорически отрезал Ваня. — Куда ты сейчас будешь трогаться — ведь ночь на дворе! А кто тебя будет хвататься?! Ведь ты сам говорил, что у тебя пять дней в распоряжении. Да и нельзя нам сейчас трогаться — у всей деревни на виду! Ты обалдел, что ли? Сцапают, как миленьких! Уж наверное сцапают! Какие себя уважающие экспедиции шатаются по лесу по ночам? Завтра двинем на Сопоху — и там будет видно! А вот, если есть что пожрать — так это я с удовольствием! — умиротворяюще добавил он.

Тон был настолько категоричен, что Борис, поворчав еще некоторое время, утихомирился. Насчет болезни я тоже больше не решался заводить разговор. Если ехать все равно завтра, то завтра и посмотрим. Если будет жар, то Ваня и сам сообразит, что переть дальше нельзя. Ну, а если ночью, действительно, появится кто-нибудь с приглашением в местную милицию? . . Ну, нет, не появится! Это просто так — Борис панику наводит: ясно, что ему хочется какого-то движения. Я-б на его месте, вероятно, тоже сидел бы как на иголках! А что если бы Борису спать на дворе, допустим? Успел бы смыться, если что. Ну, а как мы тогда будем об'яснять его отсутствие? . .

Я все же предложил Борису перекочевать во двор.

— Да уж нет! — ответил он. — Уж ежели погибать, так вместе! Все равно, если хватятся — отсюда с собаками поймают. Здесь еще здорово густо всякого населения.

Спать, по понятным причинам, никому не хотелось. Сидели, пока не пришел с работы хозяин нашего „отеля“ — маленький, приземистый, как все карелы, старикашка, крепкий, как эта ихняя „березà“, и кряжистый, как карельские болотные сосенки. Хозяин угрюмо посмотрел на нас в темноте, потом распеленал свои портянки и полез на печь.

— Почивать, почивать пора! — пробурчал он недовольным баском.

Чтобы не возбуждать излишних разговоров и мыслей, мы решили улечься. Спать — не спать, а так — чтобы не было раздору между вольными людьми . . .

## Озеро

Ночные дрожементы и трепеты растаяли в серо-буро-сизом свете туманной зари. В избе было жарко натоплено, и низенькие квадратные окошки покрылись густым молочным паром. Это означало, что ночью снаружи был собачий холод. А туман, вперемежку с дымом стелившийся на метр от земли, был хуже дождя: он оседал густой ледяной росой на деревья, пни и траву, и было ясно, что с тем же успехом он осел бы и на нас — останься мы ночевать под открытым небом. Стоило пройти десять шагов по траве — и ноги промокали выше колен. Сапоги спасали плохо, а Степушкины — потом, в лесу и вовсе разлезлись.

Умело подтасовав собственные пожелания, Ваня добился того, что сельсовет наотрез отказался предоставить нам проводника. В селе Шишки, на озере Сун, за пару червонцев нам уступили старую, как вся история навигации, лодку.

Когда мы, наконец, с ворчливым видом погрузившись, выехали на озеро, души наши преисполни-

лись странным ощущением свободы. Свободы драпанувшего из зверинца волка.

На суше еще скрывались всяческие непредвиденные возможности. Здесь же все стало ясно и просто: широкая серая гладь, рябая от капель моросившего дождя, и далекие мохнатые берега: ни домика, ни дымка, ни лодки. Опасения погони или заставы потеряли свой смысл и уступили место свободнейшему из ощущений: надежде на самого себя и больше ни на кого в целом свете.

План кампании заключался в том, чтобы, добравшись приблизительно до середины озера, свернуть влево, пристать к берегу и, затопив лодку, перейти на пешее передвижение. Одна часть этого плана стала самопроизвольно исполняться еще по дороге: наш ковчег, повидимому, предпочитал славное самоубийство в открытых водах насильственному потоплению где-то у чужих берегов. Он сквозь все свои щели, булькая, впускал ледяную воду, пока она, наконец, не приняла жизнеопасного характера. Тут мне пришлось спасать положение: сняв один из своих резиновых сапог, я принялся ожесточенно подсоблять Борису, без всяких видимых результатов черпавшему воду нашей семейной кастрюлей. Уровень как будто бы стабилизировался.

Пристать оказалось во много раз труднее, чем это представлялось нашим неискушенным в мореплавании умам: мелкое и пологое дно было метров на сто от берега завалено какими-то корягами, бревнами и валунами, причем, валуны местами оставляли узенький проход, местами же загораживали весь фарватер. Лодка тыкалась в них своим тяжелым, налитым водой корпусом, застревала и запутывалась, после чего ее приходилось выпихивать веслами, с риском окончательно перевернуться, сесть на камень другим концом или проломать хлибкие доски ее прогнивших бортов. Вылезти и добраться до берега в брод было немыслимо: между камнями были глубины, куда все весло уходило целиком и откуда на повехность подымались грозные и вонючие пузыри.

В конце концов, с грехом пополам, с окончательно промокшей материальной частью пристали. Лодка, не дожидаясь посторонней помощи, тихо и покорно утопла тут же, у самого берега, и мне, как обладателю единственно непромокаемых (хотя и насквозь промокших) резиновых сапог, пришлось оттаскивать ее бренное тело куда нибудь подальше, чтобы скрыть от непрошенных взоров ее гордо загнутый викингский форштевень.

Всю эту десантную операцию надлежало проделать как можно скорее, в расчете на то, что „береженого и Бог бережет“, и в опасении того, что какие-нибудь случайные или неслучайные путники могут заинтересоваться странными маневрами таинственного судна на поверхности таежного Сунозера...

В нервной спешке я ободрал себе натертые веслами волдыри на руках, пообломал ногти о шершавые и занозистые ковчежные борта и под конец провалился по пояс в ледяную воду. После этого я плюнул на лодку и, богохульствуя, вылез обратно на берег. Отряхиваться или сушиться времени не было. Хлюпая всеми предметами своего туалета, мы поспешили нырнуть в лес. . .

## Лес

Распаренные и до боли усталые ноги то мягко уходили в бездонный губчатый мох, то резко стукались об острые гранитные осколки, то куда-то с приглушенным треском проваливались. Были забыты сумрачные чудеса окружавшей тайги, был забыт счет шагам, было забыто даже самое время. . .

Шли по бесконечным анфиладам огромного храма с темно-зелеными, открытыми куполами, с темными, сумрачными галлереями, с самоцветными мозаиками дождевых капель и мягкими, бесконечно узорчатыми коврами мхов. . . Проходили под темными переплетами лохматых кронштейнов, по венецианским дворикам пустых и зеленых полянок, по широким терасам открытых болот, с тихими,

будто искуственными, прудиками болотных окон... И ничего этого не замечали. . .

Шли, только глядя на мелькающие пятки переднего и стараясь ступать точно в его следы. Так меньше уходит энергии — и физической, и нервной. Когда передний нагибался — автоматически, на ту же глубину, нагибался и следующий: проходили под чем-то нависшим сверху. Когда передний прыгал, проползал на коленях или лез наверх по нагроможденным один на другого скелетам лесных великанов — задний повторял его жесты, чтобы не думать, чтобы не тратить сил на выискивание других возможностей.

Была мертвая тишина в лесу, и всякие страхи и опасения стали постепенно принимать все более и более отвлеченный характер. По самой природе кругом, чувствовалось, что если из за наваленных там вон заросших мхом каменюг внезапно появится удивленная морда какого-нибудь динозавра, то это произведет меньшее впечатление, чем если бы появился человек. . . Человек был немыслим в этих условиях, так же немыслим, как динозавр на улицах Москвы. И говорили мы придавленным шепотом не из страха перед людьми, а просто так, чтобы не нарушать вековой традиции здешних мест: тишины. А если кто-нибудь случайно отбивался шагов на двадцать в сторону — то остальные казались ему какой-то странной фата-морганой, бесшумно, как гномы, скользившей по зачарованному лесу.

Шли без отдыху, без сроку, до самого позднего вечера. Старались уйти подальше от жилых мест, чтобы можно было развести костер, обогреться, подсушиться и сварить что-нибудь с'едобное. Впоследствии предполагалось и поспать, хотя вначале никто не верил в возможность спать в этой густой смеси из воздуха, воды и комаров. . . Вода была сверху, снизу и со всех сторон, с коллоидально взвешенными в ней комарами. Как это животное умудрялось выживать в собачьем холоде сентябрь-

ских ночей — было загадкой, над которой бились лучшие умы нашей экспедиции. Но загадка оставалась неразрешенной, а предстоящая ночь чудилась всем, кроме Бориса, каким-то исправленным и дополненным изданием дантовского Ада.

Борису вообще ничего не чудилось. Его касторовая оболочка оправдала себя на максимальное количество процентов и, если не считать мокрой от пота рубашки, все остальное было на нем сухо, как в первый день творения. Весь его вид говорил о том, что он находится в „большом походе", в дальнем плавании и что никакими интеллигентскими измышлениями ему заниматься неуместно.

Первое время бодрилась и Ирина. Но потом мрачные мысли стали приходить и ей. С компасом и с планшеткой в руках она шествовала в голове отряда и, как наиболее „зрячая" из всех, лавировала так, чтобы не пересекать слишком открытых мест, старательно перепрыгивала тропинки, когда таковые встречались, и пытливо заглядывала под каждую кучу бурелома, с целью во время заметить возможный „секрет".

Но по мере того, как оставались позади часы и километры, по мере того, как на ногах и плечах появлялись волдыри от сапогов и рюкзаков, а все тело постепенно наполнялось жидким свинцом смертельной усталости, мысли о воде, холоде и комарах стали отходить в область буржуазных предрассудков, уступая место одному единственному и, так сказать, „категорически-императивному" вожделению: грохнуться на землю. Что уж там будет потом — это чорт с ним! Комары стали казаться несуществующими, вода во всех видах — живительной влагой, а холод — какой там холод! То, что не успело промокнуть снаружи, теперь в гораздо более сильной степени промокло изнутри, и мои резиновые сапоги и кожанка приняли, я бы сказал, чисто символическое значение непромокаемой стенки между врагом внешним и внутренним: дождем и по-

том. Теперь за то, чтобы немножко померзнуть, хотелось отдать пол жизни и пол царства в придачу...

Первое время я, руководимый альтруистическими соображениями, оглядывался на шедшего сзади меня Степушку. Мне казалось, что такой марки он выдержать не в состоянии и лопнет на первой же версте. Заранее досадовал, что эта старая калоша будет тормозить наше стремительное и победоносное шествие.

Но старая калоша, мрачно сопя, следовала за мной, как неумолимый рок, и не отставала ни на шаг. Альтруистические соображения постепенно перековывались в эгоистические: когда-ж ты лопнешь, что-б тебе пусто было! Если бы Степушка лопнул — это был бы совершенно оффициальный и, притом, для меня совершенно безнаказанный повод угнездиться где-нибудь во мху и протянуть набухшие и раскаленные до бела ноги... Но в Степушке, казалось, кто-то завел бесконечный часовой механизм, и он, скрипя и повизгивая на осях, двигался, двигался и двигался, вселяя в душу отчаяние и безнадежность... Неужели эта жила не лопнет?... Уж не лопаться же мне первому!..

В голове становилось все туманнее и туманнее, рюкзак отрывал плечи от шеи, сердце билось с резонансом по всему телу, будто кто-то изо всей мочи колотил молотком по чугунной сковороде, а в легких что-то кипело и взрывалось, выталкивая наружу огнедышащий пар...

Казалось — еще немножко, и колени подкосятся, и чьи-то мягкие руки подхватят меня и уложат куда-то в пушистую мягкую темноту обморока. Но в такие моменты скрип Степушкиных суставов вонзался каленым железом в самолюбие, зубы скрипели, напряжение всего тела концентрировалось в челюстях, и глаза старательно моргали, распихивая в стороны наплывавшую темную пелену... Нельзя, нельзя, нельзя!.. Это-ж какой позор будет! Бухгалтерский ишиас перешагал молодые спортивные мускулы! Можно будет провалиться после этого!..

Ирина-то — она идет без нагрузки, перед ней еще не так стыдно. Хотя, конечно, после этого бедненькая мужская часть человечества потеряет в ее глазах последнее оправдание своего существования, свое последнее преимущество: физическую силу и выносливость. После этого мужская часть человечества сможет пойти и утопиться вся без остатка...

Но каждое новое болото появлялось на горизонте, как новая волна над головой утопающего. Когда болото было слишком длинным, чтобы стоило его обходить, — его приходилось брать приступом, почти бегом, как в цепи, атакующей крепостной вал. Ноги увязали выше колен, приходилось помогать руками, выбираться после каждого шага на колени, лихорадочно вытягивая увязшие в хлюпающем торфе конечности; иногда проще было ползти на четвереньках, используя максимум поверхности собственного тела, — чтобы только не застревать на открытом месте, где все на версту в обе стороны было как на ладони и где, по логике вещей, было бы проще всего поставить „секрет"...

После болота обыкновенно крепостным валом выростал невысокий гранитный кряж, заваленный буреломом и валунами. „Засеками" называли мы эти нагромождения когда-то завалившихся деревьев, гранитных осколков и густого, колючего подлеска. Засеки были хуже проволочных заграждений, потому что им не было конца, потому что по внешнему виду никогда нельзя было опредеделить: что это перед вами — гниль и труха или переплет твердых и упругих, как сталь, сучков. Лежит перед вами на высоте груди в два-три обхвата ель. От нее—во все стороны твердые, острые и цепкие, как рыболовные крючки, ветки. Хвои нет, все поросло влажным набухшим мхом. Вы закрываете лицо руками и пытаетесь проломить засеку всем телом. Первые, тонкие, сучки ломаются, но потом в вас сразу в пяти местах упираются раскоряченные вилы толстых ветвей, и вы принуждены сдаться. Вы раздвигаете их руками, обдирая кожу и всаживая занозы, пропол-

заете, перешагиваете и, наконец, добираетесь до самого ствола. Тут вам предстоит влезть на стенку, утыканную теми же ветвями. Вы хватаетесь за что-нибудь, делаете зверское усилие, чтобы поднять на руках ваш собственный вес и вес вашего рюкзака, и в этот момент — тррах-х... грудная клетка великана проваливается под вами, как яичная скорлупа, вы при падении обо что-то стукаетесь, что-то на себе рвете, и остаетесь лежать в мокрой трухе... Вы потеряли минут пять времени, некоторое неопределимое, но весьма ощутимое количество сил и нервов, ободрали себе в нескольких местах кожу и одежду и, когда теперь оглядываетесь назад, вы получаете сомнительное удовольствие видеть Степушку, как ни в чем ни бывало прокладывающего себе путь по тому же маршруту. Для вас эта ель была целым испытанием, целой героической эпопеей, у вас теперь пульс этак под сто двадцать, вы чувствуете, что никогда, даже после целой ночи сурового лыжного хода, так не уставали, а тут вдруг все ваши спортивные заслуги бледнеют перед каким-то ходячим арифмометром, которого завели и который шагает, шагает и шагает, с хладнокровием двойной итальянской бухгалтерии отсчитывая кровью и потом пройденные вами километры.

После одного из болот, на котором я два раза устрял и потом с напряжением последних оставшихся силенок выкарабкивался, перед нами выросла невысокая гранитная стенка, покрытая толстым одеялом мха. Вцепившись в мох пальцами, я вместе с целым его куском сорвался и сравнительно безболезненно скатился обратно к подножью стенки. Скатился в мягкий мох. Такой же мягкий мох прикрыл меня сверху, и мне показалось, что никогда за всю свою жизнь ни в одной постели, ни в каком кресле я себя так тепло и уютно не чувствовал... Где-то в голове повернулся какой-то автоматический выключатель, мгновенно и безаппеляционно ликвидировавший во мне всякие налеты культуры и цивилизации — вроде чувства долга, стыда или самолюбия. В

груди что-то радостно пискнуло, и я почувствовал себя свободнейшим человеком на свете. Подошедшему Борису я заявил, что на ближайший отрезок времени вставать не собираюсь и что считаю совершенно бессмысленным выматывать из себя кишки из за пары лишних километров с перспективами полного коллапса. И что при таком темпе завтра никто из нас не будет в состоянии пользоваться своими членами по принадлежности.

С некоторым безразличным удовлетворением я успел отметить тот факт, что Степушка и Ваня завалились в траву на полсекунды после меня, а Ваня даже отстегнул рюкзак, чтобы усесться поудобнее.

Борис жестом бенгальского тигра или капитана, обнаружившего на борту бунт, попытался „совладать с массами" и поддержать боевую дисциплину. Но массы с поистине изумительной сноровкой расселись кто куда, окопались и приняли вооруженный нейтралитет. А на соображения боевой дисциплины стадо закоренелых штафирок не реагировало никак. Попытка Бориса воздействовать на меня, как на показательного дезертира, была заранее обречена на неудачу. Я, наконец, сидел — и на аппеляции к чувству долга, к совести и к здравому смыслу не реагировал. Когда провалились такие же попытки возбудить вышеозначенные чувства у Вани и Степушки, Борис попытался обратиться за моральной поддержкой к Ирочке. Но тут выяснилось, что та тоже уже уселась на верхушке скалы, и возмущение Бориса разделяла только чисто теоретически. Оставалось только последовать дурному примеру остальных и сидя произнести несколько горьких прогнозов относительно нашего поведения в случае вооруженного столкновения...

Так самопроизвольно образовался наш первый настоящий лесной лагерь.

## Комариная романтика. . .

В нашу первую ночь на лоне природы я окончательно, раз и навсегда, убедился в том, что не принадлежу к любителям сильных ощущений. Тогда же во мне растаяли последние остатки всего того, что понимается под собирательным термином „назад к природе“. . .

Перелом в психике был резким и окончательным. В эту ночь я, наконец, начисто разделался со всякого рода сожалениями по поводу того факта, что в глубине души я, собственно, являюсь типичнейшим гнусненьким обывателем, для которого честная теплая кровать имеет абсолютно все преимущества перед дырявым ковбойским плащем дальнего запада или нансеновскими ночевками в полярных льдах... Скептическое отношение ко всякого рода романтике потеряло для меня свою кощунственность и приняло совершенно законный, я бы даже сказал, обязательный характер.

Но, с другой стороны, я понял, как китайцы умудряются писать пятитомные романы, время действия которых занимает всего каких-нибудь несколько часов. Если бы я вздумал описать эту ночь во всех ее деталях, описать ее так, чтобы читателю, действительно, стало ясно — что такое сентябрьская ночь под черезчур открытым небом, — пяти томов, пожалуй, не хватило бы... Одно только утешение в том, что большинство моих читателей провело в своей жизни, вероятно, не одну такую ночь и не под такими еще небесами. . .

Возьмите, например, такую удобную в общежитии вещь, как обыкновенные мужские штаны. Вы лежите на мокром мху и еловых ветвях, стараясь максимально использовать все утеплительные приспособления, имеющиеся в вашем багаже. Кроме того, сверху вы еще закиданы толстым слоем тех же густых и колючих еловых ветвей. Все это вместе дает вам первое время ощущение абсолютной теплонепроницаемости и даже некоторого удобства:

снизу мягко, сверху мягко и между еловыми сучками вы всегда можете найти соответствующее углубление для некоторых возвышений на вашем теле.

Но вот, постепенно, почти одновременно со сном, к вам начинает подбираться холод. В первую голову он завладевает наиболее отдаленными окраинами — ногами. Потом мороз начинает пробирать уже по всей вашей поверхности, и вы ощущаете необходимость вытянуть руки из рукавов и прижать их к телу. Эта необходимость становится все более и более насущной, пока вы ей, наконец, не уступаете, в ущерб всей сложной структуре укутывающих вас предметов.

Там, где кожа рук прилегает к коже боков и груди, образуется живительное тепло. И вам начинает мучительно хотеться проделать ту же самую манипуляцию с ногами, т. е. запихнуть их обе в одну штанину, прижать их как можно теснее одна к другой... Вам начинает хотеться, чтобы у вас вместо двух ног была одна, толстая и теплая, вы, наконец, начинаете молить Бога, чтобы у вас вообще не было ног, чтобы не было этих дурацких конечностей, которые смертельно болят от пройденных километров и теперь еще в довершение всего мерзнут и коченеют...

И тогда в вашу душу начинает закрадываться жгучая ненависть к мужскому туалету. Неустойчива человеческая привязанность. Все положительные качества ваших старых, испытанных и проверенных брюк идут на смарку, и вы с энтузиазмом променяли бы их теперь на такую презренную, но такую широкую, теплую и удобную юбку...

Но брюки — это только ничтожная деталь. В такой же, если не большей, степени вас донимают сапоги, в которых ноги коченеют, но которых вы снять не можете, потому что закутать ноги вам не во что. Потом начинают болезненно проявляться некоторые сучковатые детали вашего ложа, причем, вы не рискуете устроиться поудобнее, потому что это

бы означало новых полчаса реставрации всей хитроумной системы утепления... Потом откуда-то, по складкам вашей одежды, до вас начинает добираться ручеек дождевой воды... Потом на затылке открывается маленький кусочек живого тела, на который мгновенно садятся штук десять комаров. Потом кто-то из ваших соседей, к которому вы прижались спиной, не выносит своих собственных мучений, поворачивается и... мытарства начинаются сначала...

К утру я был твердо убежден в том, что схватил воспаление легких и пожизненный ревматизм. О том, что той старой развалине, в которую я за эту ночь превратился, придется сегодня целый день переть дальше, потом снова где-то в таких же условиях ночевать, потом снова переть и т. д. — я просто старался не думать. Эта мысль была подобна мысли о том: что будет, когда потухнет солнце или на землю налетит какая-нибудь мимохожая комета. Охватить такую возможность слабым человеческим мозгом было невозможно, не стоило даже и пытаться... Я знал, что переть дальше придется— хочешь не хочешь, так же как и знал, что и солнце когда-нибудь потухнет, но думать об этом, представлять себе возможные варианты такого события... нет! Проще всего было бы выкинуть мозги из головы и положить их назад в рюкзак до следующего употребления. Впрочем, мозги и сами по себе постепенно отказывались действовать и реагировать на окружающие явления...

## Суна?..

Это были четыре дня и четыре ночи.. Весь остальной мир ушел куда то в небытие, уступив место волдырям на ногах и ключицах и смутному все нароставшему подозрению, что творится что-то неладное...

Все, даже самые пессимистические, проэкты предусматривали где-то в радиусе двух дней ходу цепь озер, связанных между собой протоками, с те-

чением с севера на юг, т. е. — от нас глядя — справа налево. До этого по дороге лежали три крупных озера, северное из которых, Линдозеро, мы должны были оставить километрах в двадцати вправо, в виду расположенной на нем пограничной заставы, о которой были разговоры еще в Салтыковке. Мы имели шансы проскочить между двумя из этих озер, не заметив их, мы имели шансы сильно загнуть на север и пройти незамеченными вблизи от Линдозера, но мы не имели никаких шансов прозевать эту западную цепь озер, которая пересекала нам дорогу густой водяной изгородью, с протоками из одного озера в другое.

Однако, шел уже пятый день нашего робинзоновского летоисчисления, а озер не было и в помине... И наоборот — мы то и дело пересекали какие-то неведомые ручейки, а один раз пересекли даже какое-то совершенно непредусмотренное шоссе. Попадались небольшие лужицы — размеров наших салтыковских прудов, но они не могли быть обетованными озерами: из них самое крупное было метров сто в длину.

К тому же что-то неладное явственно творилось с Ваней. Временами, оглядываясь назад, я ловил его на том, как он по ровному месту шел, придерживаясь за деревья, или приостанавливался на несколько секунд, проводя ладонью по красному и мокрому лбу, будто стараясь убрать с лица мешавшую паутину... На одном из привалов Ирочка, несмотря на его протесты, все-таки пощупала у него пульс и рискнула дать ему аспирину на ночь. Но это, повидимому, не помогло. Ваня чувствовал себя все слабее и слабее, и на привалах ему становилось все труднее и труднее подыматься вновь.

Никто не мог понять, как это получилось, но на третий день выяснилось, что наши продовольственные дела обстоят в высшей степени критически. Принимая во внимание то обстоятельство, что нам приходилось считаться еще с пятью-шестью днями хода, дневной паек был урезан до минимума,

и ко всем прочим неприятностям прибавилась одна из самых страшных вещей, которые могут случиться с человеком: голод...

Голод — это тоже одна из вещей, о которой можно писать пятитомные романы. Впрочем — в этом случае пятитомные романы все равно ничего не смогут об'яснить человеку, которому самому ни разу в жизни не довелось рассматривать окружающие его предметы только и исключительно с точки зрения их с'едобности. Если вы не знаете, какой вкусной вещью может быть при некоторых условиях простой кожаный ремень от рюкзака, если засунуть его в рот и жевать, то не пытайтесь читать пятитомных романов о голоде: не поможет!

И тем не менее Ваня почти ничего не ел. А потом как-то случилось, что он, отстав на несколько шагов, тихонько подозвал меня и сунул мне в руку свой кусок шоколада. И случилось так, что я этот шоколад взял, потому что жевание рюкзачного ремня сильно меняет психологию человека.

В результате и в дополнение ко всему этому у всех появилась какая-то жуткая раздражительность. Каждый лишний шаг и каждая лишняя минута, проведенная в лесу, были физическим мучением. И все, что влекло за собой эти лишние шаги и эти лишние минуты, вызывало взрывы протеста и возмущения. Когда постепенно стало все более и более выясняться, что мы попросту заплутались, слепое доверие к Ирочкиным лоцманским способностям пропало. Мне, например, все время казалось, что Ирочка систематически забирает вправо. Потом стало казаться наоборот. Степушка утверждал, что она бродит кругами, а Ваня поднимал воспаленное красное лицо к небу, и в этом, таком знакомом, лице мне временами чудилось какое-то странное, чужое выражение отчаяния.

Попробовали передать компас сначала мне, потом Степушке. Не помогло. Идущие сзади сравнивали „створы“ и ловили на загибании то в одну, то в другую сторону. Когда тем же кончились попытки

Вани и Бориса, подозрение в неточности советских компасов оформилось в уверенность. Уверенность, которая пробежала жутью по спинам и породила страх и отчаяние. Шли, мучительно вглядываясь в дымчатый дождевой туман, повисший на ветвях елей, в надежде увидеть какой-нибудь проблеск, стальную полоску озера или хоть кусочек голубого неба, в который могло бы проглянуть солнце,— чтобы хоть знать, где мы, куда мы двигаемся и не идем ли мы как раз в обратную сторону или, еще хуже — куда-нибудь на Поросозеро, где стоит погранзастава с собаками, с патрулями...

Дети, заблудившиеся в лесу... Как беспомощен человек против пространства! На самолете — полчаса, а вот мы уже шли пятый день—и конца-краю лесу не было, и может быть, еще пять, и еще пять таких же дней впереди, а может быть, и вообще никто из нас не выйдет из этого жуткого, полуживого-полумертвого леса. Надежд больше не было, было только желание сделать все, что еще можно сделать, и тогда... тогда выйти на погранзаставу...

## Крышка

Была переправа через небольшую бурную и как лед холодную речку. Речки на карте не было, или по крайней мере найти мы ее так и не смогли, и единственное, что было удивительно, это то, что она текла слева направо, то есть как раз в направлении, противоположном всем себя уважающим и официально утвержденным речкам в этих местах. Вода доходила до груди и ворочала по неровному дну здоровенные валуны. Валуны били по босым ногам, и голова кружилась от стремительного потока вокруг, а руки держали над головой связанную в узел поклажу, от целости и сохранности которой зависела жизнь.

А часа через два после переправы в глубине леса мелькнуло что то серебристое, и послышался отдаленный грохот.

Что за притча!.. На разведку послали Ирину и меня: меня — влево, Ирину—вправо. Я диким индейцем выполз на каменистый затопленный берег, и взорам моим представилось нечто совершенно непостижимое: огромная по местным масштабам река, бурлящая все в том же противоестественном направлении слева на право. Река такая, что вброд перейти немыслимо, а о том, чтобы переправиться на плотике, не стоило и думать: посредине, „в струе", как говаривал наш карельский проводник, была вакханалия бурунов и водоворотов, торчали гранитные рифы, над которыми, ветер проносил шелковые вуали водяных брызг, а дальше, за основной „струей", растекалось клокочущее водяное пространство метров этак на триста-четыреста. За ним был снова тот же лес и те же серые тучи . . .

Я стоял, вжавшись между какими-то двумя обросшими мхом валунам, и мысли в голове повторяли движения бурунов в „струе". Что это?! Пришло в голову, что врут не только компаса, но и карты, и что мы с тем же успехом могли бы двинуться из Москвы без того и без другого. Тогда, может быть, хоть шли бы прямее. Но что это за речища? Ведь не было такой ни на старых довоенных, генштабских трехверстках, ни на советских авиационных картах, ни даже в честном немецком „Хандатласе" — „ручном атласе", которого, вопреки его названию, не то что в руку не возмешь, но и в хороший чемодан не упакуешь, и в котором можно найти любую лужицу и любой хуторок на всем земном шаре. . . И течет слева направо. . . Уж не Суна ли это? . . Может быть, со времени издания всех этих карт она как-нибудь изменила свое вольнодумствующее течение. . . Чорт его знает! . . Больше мне нечего было сказать, я повернулся и ползком пробрался обратно к дожидавшейся экспедиции.

Ирина была уже тут, и на всех лицах было написано величайшее недоумение. Вопрос дебатировался со всей подходящей к моменту оживлен-

ностью, пальцы бегали по картам, и высказывались самые невероятные предположения. Но Ирина молча стояла с планшеткой в руках и потом вдруг заявила, что теперь ей все ясно. В ее тоне была непогрешимая уверенность монаха, обличившего ведьму в сношениях с дьяволом.

— Это Суна! — заявила она. — Мы просто все время шли на север, и вот теперь мы здесь,— она указала пальцем на место на карте, которое до сих пор ничьего вимания не привлекло, потому что отстояло от нашего маршрута километров на сорок.

Сначала это заявление было принято критически. Логических предпосылок для критики не было никаких — всем было ясно, что мы заплутались и, заплутавшись, могли выйти куда угодно, но выйти на Суну. . . сознаться самому себе в том, что четыре дня величайшего напряжения автоматически идут псу под хвост и что — самое главное — это означает поворачивать оглобли. . . Чаемый абсурд сильнее сущей реальности. В такую возможность никто верить не хотел.

Но время проходило, с ним один за другим отваливались всевозможные утопические и не утопические, вероятные и невероятные, хитроумные и гениально-простые проэкты, предположения и об'яснения. Через полчаса снова вернулись к Ирочкиному варианту.

— Но ведь если это так, то мы — в мешке... Вброд через Суну? И думать не стоит! Да и зачем? С тем, чтобы потом снова переходить ее севернее Поросозера?

— А до границы? Сколько же это теперь получается до границы?

— Шестьдесят, восемьдесят километров приблизительно!..

Молчание.

— А сколько же мы, выходит, прошли?

— По воздуху — около сорока.

— Да ну, ерунда! Что-ж это мы шли по десяти километров в день, что-ли?!

— Не шли, а проходили! Шли-то мы больше да вот только оказались в результате в сорока километрах... Если три версты обходами — прямиками будет семь...

Молчание.

— Значит, что-же? Еще два с половиной раза столько же? Еще десять дён?.. А провиант?..

— А Ваня?

Снова молчание...

* * *

Мы шли снова гуськом. В глотке у меня застряла холодная устрица. Мы шли по берегу Суны на юго-запад, и где-то впереди Суну должно было пересекать шоссе. Тогда направо должно было лежать Линдозеро, и на нем погранзастава. Мы должны были повернуть направо...

Вела Ирина, сзади шли Ваня с Борисом. У меня в глазах перламутром переливалось что-то непривычное: последний раз я ревел уже довольно давно. Деревья качались и я не знал — от ветра-ли или просто так: они качались в разные стороны, и земля тоже качалась, как палуба парохода.

Впереди ныряли острые Степушкины плечи с тоскливым, как спущенный воздушный шар, рюкзаком. Между ними был виден кусочек морщинистого затылка и комической намокшей кепки. Лицо висело где-то на груди, и его видно не было. И еще дальше впереди по воздуху плыли свернутые золотые косы на гордой тонкой шее. По Ирине нельзя было отличить, что она думает.

Борис шел последним, потому что нельзя было оставлять сзади Ваню. Если бы он свалился — никто бы ничего не услышал. Но когда впереди мелькнул просвет и в просвете Ирина различила телеграфный столб, Борис остановился и тихо свистнул.

Остановились.

— Ребята, я обратно не иду.

Сели, потому что можно было не стоять.

Ваня посмотрел на него красными глазами, точнее — красными веками, потому что глаза заплыли в щелки, и их было не различить. Видно было, что он силился хоть на секунду отбросить жар, отбросить туман от головы, чтобы сообразить — как же, в конце концов, что же, в конце концов, получается?

— Куда-ж ты пойдешь?

— Мне обратно нельзя. И потом я считаю, что вам никому обратно нельзя. Слишком далеко зашли. А если нужно будет пройти еще десять дней — пройдете! Ничего с вами не станется! На карачках доползете, но доползете!

— Не доползем. И ты не доползешь! У тебя провианту на два дня в общей сложности!

Ваня встал, как встают после нокаута, и двинулся дальше. За ним потянулись остальные. Но Борис топтался сзади на месте и что-то еще говорил. Через минуту я оглянулся — он все-таки шел. Но у меня в глазах все прыгало, как в плохом кинематографе.

— Квака... Куда-ж назад?...

— . . . А куда вперед?..

— В Салтыковку?.. Или на Лубянку?...

— . . . В Салтыковку. А завтра опять... Через год.

* * *

На шоссе мы устроили привал с костерчиком. Было так странно, что люди могут теперь смотреть на нас сколько хотят... Борис даже снял рюкзак и сушился. Он уже, очевидно, покорился своей судьбе.

Из за поворота показалась какая-то скрипучая двуколка, забитая до пределов своей вместимости двумя толстенными карелами. При виде нас они сначала шарахнулись в сторону, но потом, убедившись в наших миролюбивых намерениях, остановились и стали молча на нас глазеть. Ирочка попыталась выступить в роли парламентера, но безре-

зультатно: карелы молчали, будто видели перед собою каких-то лесных духов.

Но через минуту снова послышался скрип колес, и вслед карелам из за поворота показалась телега с кучером и с человеком в зеленой фуражке. Кучер моментально остановил коня, а человек в зеленой фуражке нырнул в телегу, на ходу отстегнув наган.

— Кто такие? — послышался крик.

— Да вот, товарищ, — выступила Ирочка, избранная в виду своей ангельской наружности в парламентарии, — мы из Москвы, научная экспедиция, заплутались тут у вас — неизвестно, куда нам теперь двигаться! Мы уже пять дней по этому вашему лесу путаем. Помогите хоть вернуться куда-нибудь в жилые места!

— А документы есть?

— Все документы в порядке, товарищ начальник, да что нам с них, с документов! Мы весь провиант проели, один у нас заболел и просто не знаем — куда деваться! Вы, кажется, из погранохраны — может быть, сможете нас хоть в Сопоху доставить?

Ирочка направилась к телеге. Дядя с наганом приподнялся и стал всматриваться.

— Сколько вас?

— Нас пятеро. Один больной — начальник экспедиции. Вот наши документы, разрешите показать?

Дядя подумал, потом вылез из телеги и подозвал Ирину.

— Ну-ка, покажьте-ка!

Видимо, подействовали Ирочкины чары, потому что минут через пять товарищ начальник (он оказался начальником Линдозерской заставы) повернул свою колымагу обратно, погрузил в нее Ирочку и пригласил нас топать за ними. „Но ближе, чем на сто шагов, к телеге не подходите! И чтобы все вышли, что-б никто в лесу не оставался!“

Колымага заскрипела, и мы, спешно упаковав развешенные пожитки, тронулись за ней, шагая рядом по настоящему, твердому, полу-мощеному шоссе. Ах, если бы вы знали, что такое твердая земля под ногами! Казалось, что не идешь, а катишься на хорошо смазанных роликах...

## Шоссе

Шоссе было того странного типа, которого я никогда не встречал в Европе и конструкцию которого я понял только впоследствии, в бытность мою в дорожно-строительном техникуме ББК: втрамбованный в землю щебень с промоинами, с раз'езженными колеями и с множеством наполненных водою дыр. Преимущество такого вида дорожного строительства заключается в том, что на старинную грунтовую дорогу просто высыпаются кучи щебенки, после чего местный Автодор*) предоставляет разделываться с ними местному населению. Местное население сначала пытается об'езжать эти кучи сторонкой, постоянно образуя широченные и непролазные обочины, но со временем колеса об'езжающих телег все более и более сравнивают поверхность в шахматном порядке насыпанных куч, притрамбовывают щебень, после чего шоссе может считаться вступившим в эксплоатацию. Время от времени, в зависимости от самых разнообразных, никакого отношения к дорожному строительству не имеющих, вещей, кто то добрый засыпает вновь образовавшиеся дыры и ухабы новыми кучами той же шебенки, и дорожно-строительный ветер благополучно возвращается на круги своя. . .

По мере своего приближения к деревне шоссе все разбухало и разбухало опутывая островки ого-

*) Организация помощи автомобильно-дорожному строительству.

родиков, приусадебных участков и выпасов необозримой дельтой густой грязи. „В струе“ фигурировала все та же щебенка, но уже попалам перемешанная с грязью, как миндаль в тесте рождественского пуддинга.

Широченные карельские подворотни встретили нас дружным тушем остервенелого лая, а в крохотных квадратных окошках замелькали бабьи лица. Но сенсация, вызванная нашим появлением, не дала нам соответствующего морального удовлетворения. Стоявший в конце деревни попка преградил нам путь штыком и грозным басом повелел нам стоять, не двигаясь, пока из штаба заставы не прибудет подкрепление. Впрочем, подкрепление не замедлило появиться: человек пять пограничников в зеленых фуражках окружили нас почетным караулом, и мы, попискивая разбухшими сапогами, потопали в штаб. В голове было смутно, в сердце пусто, а где то в области нижних трех позвонков маленьким холодным паучком шевелился неопределенный страх. Паучек пытался лезть по позвоночнику вверх, но там, наверху, было слишком пусто. И он оставался где то внизу, приглушенный и холодный, холодный. . .

## Документики

Огромная, кривая, как декорации к „Коньку Горбунку“, изба, в избе — такой же огромный и кривой стол. За столом — все сливки местного общества: начальник заставы, начальник милиции, весь партком и добрая половина всего актива. На столе — гора бумажек, справок, удостоверений, мандатов и прочих „документиков“. Спор идет о том, являются ли печати на паспортах, мандатах и удостоверениях поддельными и можно ли их подделать вообще. Из содержания предыдущего трехчасового разговора с достаточной степенью ясности выявилось основное подозрение наших гостеприимных хозяев: вариант о возможности побега за гра-

ницу им в голову не приходит. Но зато разубедить их в том, что мы не являемся чужеземными шпионами и диверсантами, становится с каждой новой бумажкой все труднее и труднее. Слишком уж все эти бумажки новенькие и слишком уж подозрительно их огромное количество. Тут они имеются абсолютно на все случаи жизни. Все возможные превратности предусмотрены заранее и нейтрализованы соответствующим „документиком". Кто то когда то сказал, что у настоящего жулика вид должен быть обязательно честным и все бумаги должны быть в полном порядке. Очевидно, именно это мотто и смущает местную аристократию. А Ваня, повидимому, в первый раз за всю свою советскую практику сталкивается с возможностью провалить все дело из за преизбытка бумажек.

С другой стороны, возможность аутентичности всей этой бумажной лавины делает наших инквизиторов осторожными и предупредительными. Чорт их знает, эту публику: служба — службой, а ежели все эти документики всамделишные, то „брать на баса" московского журналиста и московских научных работников — вещь рискованная и высшими инстанциями нерекомендуемая. . .

— Оно так-то все так. . . — мнется местный начмил. — Только вот у нас, товарищ Солоневич, ежели в архиве посмотреть, так мы вам таких печатев хоть тыщу сыщем: то булавкой наколоты, то с картошки напечатаны. . . Нам печати — што! Печати нам, можно сказать, вовсе ничего!.. А вот вы нам документик покажите, всамделишный документик! Штоб видно было: вот это — да! Штоб в ем жизнь была, в документике! . .

Ваня тщетно напрягал свои литературно-ораторские способности чтобы вдохнуть „жисть" в ту „мертвую материю", что покрывала стол на подобие скатерти-самобранки. Начмил и начзаставы упорно „не понимали" всей этой бумажной канители. Их девственные души требовали чего нибудь жизненного, обтертого об собаку, „штоб видно было"!

Но обыскивая в последней, безнадежной попытке все свои, тридцать раз обшаренные, карманы, Ваня совершенно случайно вывернул наружу свой знаменитый сезонный железнодорожный билет Москва—Салтыковка, который сам по себе представляется мне настолько достопримечательным, что я отважусь уступить ему несколько лаконических строчек.

Это было давно-давно. Ваня только что приехал в Салтыковку и, после долгих мытарств, удостоился получения сезонного билета, каковые билеты выдаются советскими железными дорогами только тем немногим избранным, которые с совершенной достоверностью доказали свою принадлежность к великому клану так называемых „зимогоров“—т. е. людей, постоянно проживающих в каком либо из московских пригородов и ежедневно ездящих на работу, на „государственную службу“, в Москву. Повидимому, Ванина наружность напоминала кондукторскому и контролерскому составу Московско-Нижегородской железной дороги те старые, добрые времена, когда сезонные билеты не являлись признаком принадлежности к правящему слою страны, потому что по этому билету Ваня проездил что то вроде шести лет, не меняя его и даже не возобновляя. Впоследствии билет постепенно вообще перестал выниматься из кармана, и эта традиция нарушалась только в тех случаях, когда железная дорога, вследствие текучести персонала, получала какого нибудь нового кондуктора или контролера. Время и перекладывание билета из одного кармана в другой оказали на него свое действие. Различить былые надписи на нем можно было бы только разве путем сложного химического анализа, а печать сохранилась только в том месте, где она покрывала желатинный слой фотографии.

— Эн-ка, эн-ка, стойте, стойте! — заинтересовался начмил, заметив нечто серое и сильно потертое в мелькнувшей Ваниной руке. — Эн-ка, покажьте-ка!

Ваня нерешительно протянул ему почтенные мощи. С минуту билет переходил из рук в руки, вызывая всеобщее восхищение. В этих звуках чувствовался восторг знатоков, нашедших среди кучи негодного старого барахла какой нибудь особенно редкостный экземпляр античного искусства.

— Эх, товарищ Солоневич! — заявил, наконец, начальник заставы. — Ну и что ж вы этого нам сразу не показали! Вот это — документ! Такого, сразу видно, не подделаешь! Тут сразу видно московское происхождение! А то — что! Навалили нам бумаги полный стол, а толку-то с нее, с бумаги! Теперь оно все ясно, теперь мы и другим бумажкам поверить можем!

Одним словом, мы думали впоследствии вставить этот билет в рамку под стекло, но он еще, оказывается, не отжил своего века: по нему Ваня проездил еще целый год, и по нему же он в последний раз уезжал из Салтыковки, когда мы уходили во второй, предпоследний побег...

Вечером нас кормили картошкой в мундирах. Со времен этого нашего похода груда дымящейся картошки в мундирах неизменно ассоциируется у меня с карельским пейзажем, с холодом и бездомностью и с какой то странной смесью отчаяния и радости. Отчаяния — из за проигранного матча, и радости — по поводу того, что чорт с ним, теперь уже все позади...

Картошка стояла на столе в огромной каменной миске и живительным паром обдавала склонившиеся над ней Степушкины очки. Степушка явственно воскрес после того, как понял, что опасности больше никакой не грозит и что итти теперь больше никуда не надо. Если цель слишком далека, то лучше жить без цели. Если рекорд слишком дорого обходится, то и слава Богу, что из него ничего не вышло!.. Ту же мысль я постарался привить и себе самому и, должен признаться, небезуспешно Было так приятно наплевать на недостижимое, признать его сумасшедшей, несбыточной затеей, разре-

шить самому себе быть немножко трусом, оправдать самого себя в своих же собственных глазах... И только где-то, из дальнего конца черепной коробки, тихий заглушенный бас спрашивал: „Ну и дурень! Ну и с чего тебе самому-то себе врать-то? Не сегодня, так завтра — ведь все равно рано или поздно опять полезешь! Нашел чему радоваться! Эх, балда-балда!..“

Но на столе дымилась картошка, на ногах были в первый раз за пять дней сухие портянки (а сухие портянки — „это тоже надо что-то понимать!“), и бас не находил ответа в моей очерствевшей душе. Впрочем, он и не особенно кипятился. Он, видимо, понимал, что говорит сейчас с невменяемым человеком, и предпочитал попусту не растрачивать сил. А картошку нужно было чистить налету, потому что иначе она обжигала пальцы, потом ее макали в кучку крупной, как шрапнель, поваренной соли, и потом она таяла между небом и языком, обжигая и наполняя застывшие жилы кипящим золотом...

После этого я спал, как должен спать праведник после благополучного исхода страшного суда. А когда на следующий день нас разбудили для отправки на станцию Кивач, низенькая комнатенка была полна ясного-ясного белого света. Я только через несколько минут сообразил, в чем было дело: снаружи землю покрывала первая, тонкая простыня снега...

## Возвращение

Проходя сквозь сени, я заинтересовался странным в советской избе явлением: на стенке, на вбитом в щель сосновом суку висел замечательнейший мултук. Из породы тех мултуков, которыми полесские мужички прошибали в свое время латы ливонских рыцарей. Я снял этот огнестрельный катапульт и принялся его рассматривать. Подумал о том, что за такой экземпляр берлинский Цейгхауз заплатил

бы, вероятно, бешеные деньги. Видно было, что не только сам мултук, но и все инструменты, которыми он был сработан, сам материал — грубо кованное железо — все это было до последней степени самодельным, допотопным и топорным. Весу в нем было килограммов восемь-десять, мушки не было вообще, а взвести огромнейший кремневый курок можно было только с напряжением всех сил.

— Откуда у вас этот винчестер? — спросил я проходившего мимо красного молодца в кожухе.

— Мое, — солидно ответил тот.

— А вам разве разрешают?

— Нам возможно, мы пограничные. Вот лишь пороху нетуть. И дробей. Доставать—доставаем, да лишь винтовочный. А простого — охотницкого — нетуть. Белков-то развелось — руками бери! Лисов —тоже. Ну, да мы на них силки кладаем.

— А разве Всекохотсоюз не дает? За шкурки?

— Нетуть—нетуть! В Петроводске бывает — дают, да далеко до него. А вы, товарищ, другой раз в наше место не будете? А то, может, привезли бы? Мы тут за мерку — шкурку даем. . . Был бы только!

— А как начальство на это дело смотрит?

— А к, — начальство! Начальству, ему бы тоже белка стрельнуть! С винтовки не взять, а так— пороху им тоже нет. . .

Этот же парнишка провожал нас потом до станции Кивач. По дороге он несколько раз соскакивал, зачем-то бегал в лес и приносил с собой то белку, то зайца, то один раз даже что то вроде лисы. Мы не разобрали, потому что было уже темно.

— На силок, на силок все! — с сожалением говорил он. — Эх, кабы порошку-то. . .

— Так зачем же вам порох, ежели вы и так вон столько на силки налавливаете?

— Э-к, силки! Силок — силком, а порох—порошком! . . Порошок — он, Бог его знает, когда пригодиться может. . .

Отступление протянулось черной лентой от Линдозера до Москвы. Банальный сарказм перестукивающих колес и молчание, гробовое молчание, в купе, и только время от времени Степушкино грустно-комическое чмуханье. Ваня в сильном жару лежал на верхней полке, и в красном свете вагонной свечи его лицо казалось еще краснее, и капли пота, стекавшие из уголков глаз, казались капельками крови. Будто стекали кровавые слезы. И становилось жалко до жути и его, и себя, и Ирину, у которой по длинной белой шее временами пробегал горький комок, и Степушку, который свесил морщинистое яблочко лысой головы на впалую грудь и только смотрел сквозь половинчатые очки вниз, под скамейку, и через каждые три секунды жалконько почмухивал длинным несчастным носом...

Борис зажимал твердые губы между зубами, и мускулы на его лице передергивались, как лошадиная шкура, когда ее жалят оводы. Казалось, будто каждый мускул на челюстях, на лбу и вокруг губ был тренирован, как Борисовы бицепсы, и не верилось, что он дергался непроизвольно. Казалось, будто Борис тренирует их еще больше, чтобы убить время и чтобы время не пропадало даром.

По приезде в Москву, мы для меньшей помпезности нашего прибытия вышли из поезда порознь и отправились каждый по своему маршруту по домам. Я поехал вперед — затопить печку и уготовить Ване какое-нибудь логово, Борис отправился к Ирине, в Бобруйские бараки, а Степушка, слегка поскулив, — к себе домой, на Маросейку. Вечером все должны были еще раз сойтись у нас в голубятне на прощальную трапезу, после чего Борис должен был возвращаться к себе в Орел, с риском нарваться на вернувшееся начальство, Степушка — искать себе новое место службы, потому что он имел неосторожность отказаться от старого, Ирина — снова запречься в свою клинику, а мы с Ваней

— заняться присканием средств к дальнейшему существованию. Ибо гонорары плюс все возможные авансы на много месяцев вперед были тщательно подчищены для покупки продовольствия, все, что можно было загнать — было загнано, и даже старых долгов взыскать было не с кого, ибо в Москве осенью, к концу учрежденческого финансового года, жалования не выплачиваются месяцами и публика сидит на мели.

Я возвращался домой по узенькой хлюпающей дощечке салтыковского троттуара, и мрачные картины шевелились передо мной в туманной вуали упорного, как смерть, дождя. Холодные, полупустые комнатенки нашей голубятни, незалепленные рамы плачущих окон, осиротелые мыши на столе и коптящая керосиновая лампа под потолком. Дров нет, потому что в свое время, когда по советским законам полагалось их приобрести, фамилия Солоневичей витала мыслью в драпежных эмпиреях и мечтала о центрально-отопляемой квартирке где нибудь в тихом и далеком Гельсингфорсе... Какие уж тут были дрова!... Еды дома тоже никакой не предполагалось — перед от'ездом все остатки были сплавлены нашей доблестной домработнице — Наде, „что-б не испортились". По дороге на Курский вокзал я заскочил на Земляной Вал, где обычно в это время дня имела место бешенная купля-продажа конской колбасы, картошки и хлеба, конечно, из под полы, ибо подле каждой торговки этаким зримым, но незрящим ангелом-хранителем торчал мильтон. По окончании служебного дня мильтон уходил домой с большим белым батоном подмышкой, с кульком картошки и с колечком „буденновки" — как величаво прозвали москвичи, за ее кавалерийское происхождение, карточную колбасу.

„На последнюю пятерку" было укуплено некоторое количество картошки и хлеба, было тут же на месте загнано походное одеяло, давшее после своей реализации некоторое количество прочих товаров первой необходимости, после чего мне только

оставалось разобрать некоторою часть хозяйского забора на топку для, хотя бы частичного, восстановления былого домашнего уюта. Часа через два пришел, наконец, и Ваня. Температура у него шла под сорок. Он был немедленно упакован в постель и напичкан аспирином. У хозяина нашелся малиновый чай, и часа через два Ваня потел по всем несложным правилам этого вида терапии.

Вечером собрались все которые прочие. Для чего собрались — было, в сущности, никому толком неясно. Молча, с тоскливым видом посидели вокруг Ваниного ложа, еще, в тысячу первый раз, попытались выяснить, как же все это могло получиться, и вынесли полное жизненной мудрости решение о том, чтобы в следующий раз ни в коем случае не дотягивать драпежа до осени. И не доверять московским метеорологическим станциям. И советским компасам...

Впрочем, впоследствии выяснился некоторый факт, сбросивший с компасов тень павшего на них обвинения. Карелия оказалась одним из немногих мест на лице земли русской, где водились так называемые магнитные аномалии. Финские хладные скалы и болота таили в себе какие-то предательские рудные залежи, отклонявшие стрелку компаса. Можно было, руководствуясь компасом, неделями ходить вокруг одного и того же места, пока какая-нибудь случайность не выдала бы сего трагического заблуждения...

* * *

С финансами дела обстояли очень плохо. Тамочке в Берлин заранее условленным шифром дано было знать, чтобы она каким нибудь способом переслала нам в Москву пишущую машинку. Машинка в Москве — предмет величайшего люксуса, и, загнавши ее, можно было перебиться некоторое время, пока Ваня снова не станет на ноги и пока не созреют очередные гонорары. Пока же, в по-

исках более близких и доступных благ, я все-таки решился вновь об'явиться у Роома. Это грозило опасностью для жизни (я смылся, ничего Роому не сказав, и, судя по накопившимся дома телеграммам, сильно подвел его своим дезертирством), но в жизни бывают положения, способные заставить человека добровольно войти в клетку раз'яренного бенгальского тигра.

## Снова у Роома

С пульсом в сто двадцать я стоял перед дверьми новой Роомовской квартиры, куда он перебрался после того, как окончилась катастрофой, попытка вселить к себе какую-то энную в квадрате жену. На невысокой фанерной двери, ничего хорошего не предвещая, красовалась приколотая кнопками настоящая визитная карточка:

„Абрам Матвеевич Роом.
Режиссер и групповой руководитель Союзкино".

Из-за двери доносился монотонный голос Абрашки, что-то кому-то диктовавшего. Временами его прерывал тоненький женский голосок:

— Нет, Абанька, так нельзя! Если „одно из двух" — так должно быть что-то второе, а то что же получается! Одно есть, а второго ничего нету!.. У-у, носенька, ну, дай носеньку поцелую!

— Я тебе говорю — одно из двух! — сердитым, но не черезчур сердитым, голосом отвечал Абанька. — Или ты мене секретарь, или ты мене жена! А то что же это такое получается?..

Но потом, к моему великому удивлению, послышался чмок и какой-то странный, похожий на хрипение довольного крокодила, звук. Звук этот, повидимому, исходил от Абрашки. Ничего подобного я в своей жизни от Абрашки не слыхивал, и душу мою внезапно охватило сомнение. Я еще потоптался с минуту перед дверью с визитной карточкой, потом тяжело вздохнул и повернул обратно. Это было в первый раз в моей жизни, что женщина стала поперек моего пути..

* * *

Выйдя на улицу, я почувствовал, что ворота в царство искусственных снов для меня теперь навсегда закрыты.

Но оставалось еще несколько шансов: где-то на свете должны были еще существовать теплые друзья, сохранившие память старого, доброго Ох-Ивановича. Повернув в переулок, и еще раз в переулок, я выбрался на большой торный путь, который в былые времена безошибочно приводил меня во всеоб'емлющее лоно Оськи Калюжного и в компанию присных его.

Я поднялся по лестнице и постучал в желтую дверь. За дверью послышалось легкое испуганное движение, потом ручка опустилась, и в приотворившуюся щелку выглянуло косоглазое лицо Терентия — Оськиного осветителя.

— Ай, Солонэвич! — воскликнул он, но особенного энтузиазма в его тоне я как-то не почувствовал. — Ну, вайди, вайди! Куды тебя пропадал?

— Никуда не пропадал, — ответил я грустно-элегическим тоном. — А вот Абрашку одного оставлять нельзя: он женится на каждом перекрестке!..

Войдя в комнату, я оглянулся и обнаружил в ней подозрительную пустоту. Не было ни Оськи, ни Штосса, ни Оськиных чемоданов, которые в былые времена с таким потрясающим успехом восполняли абсолютно все пробелы в меблировке, не видно было, наконец, даже Оськиной знаменитой камеры, которая, стоя в углу, узурпировала обычно половину жилплощади.

— Что-й-то здесь попахивает мерзостью запустения! — спросил я запиравшего за мной Терентия.

— Чэм папахивает? — переспросил тот. — Уй, да, мэрзость, мэрзость ГПУ бил позавчэра, забрал Оська, забрал аппаратура, забрал даже водка в бутылка, пить вовсе нэчего осталось. . .

— Забрал Оська?!. — вскричал я. — Куда забрал Оська?! Почему забрал Оська?!..

— Абрашка вовсе засыпался со своим Горьким. Горький написаль сценарий, Абрашка стал крутить, потом пришел ГУК, сказаль — сценарий к чорту, ГПУ сказаль — сценарий все таки крутить, Басс сказаль — хорошо, крутить — так крутить, нам какое дэло, раз дэнга все равно выписана! Оська сказаль — такой сценарий крутить нэ будэт, сказаль — сценарий надо на Красную площадь, в сортир, для обслуживания граждан, вот ГПУ и пришел, сказаль — гайда. . . Тэпэрь Оська на Лубянка, и Агафий тоже на Лубянка, а Штосс куда-то смылся, вовсе нэт Штосса. . . ГПУ пришел искать Штосс — Штосса нэт, будто вовсэ и не было. . . Мэня ГПУ сказаль подписать подписка об нэвыезде, вот я тэпэрь сидит и нэ выезжает. . .

Вид у Терентия был до нельзя пришибленный и обиженный. Даже потоки богохульств, так легко и сногсшибательно стекавшие с его монгольских уст, попритихли и иссякли, а желтый чуб прилип к вискам и посерел, будто его долгое время посыпали пеплом. . .

— Но Терентий! — возопил я. — Что же это будет?!.. Они-ж укатают Оську куда-нибудь в Соловки — что-ж мы тогда будем делать!? Об нем хоть кто-нибудь хлопочет, передачи кто-нибудь носит? Был кто-нибудь там, на Лубянке — хоть узнать, чем все это дело пахнет?!

— Уж был-был! Уж Басс был раз тридцать и Керж был раз тридцать, и Киршон был раз тридцать, только вот Абрашка, сукин сын, сидит, мать его. . . от одна баба на другая баба пэреженивается! . . У нэго там вэдь блат есть, у мэрзавца, уж я ему кишку выверну — пусть вот только снимут подпыску об нэвыезде! . .

— А причем тут подписка о невыезде?

— Как причем?! Я ему кишку выверну, так меня потом тут же на месте — туда же на Лубянку! Нет — вот пусть подождет, пока я билеты на Таш-

кент достану, вот тогда пусть меня поймают, сволочи! Уж я ему глаз выдеру, уж я ему кишку выпущу, расперетак-его, трам-там-там!..

Повидимому, кровожадным мечтам Терентия не суждено было сбыться. Месяца через три я встретил его на Тверской в сопровождении некоей косоглазой дульцинеи, и спросил о последних сведениях относительно Оськи.

— Сидит! — с видимым удовольствием отвечал Терентий. — Сидит подле Ташкента на поселении, меня к себе приглашает! Пишет, — говорит: ну его ко всем чертям с Москвой, и с Бассом, и с Союзкино, и вообще — ко всем чертям! Приезжай, — пишет,—будешь у меня в юрте с верблюдихи молоко доить! Хы-хы... Про тебя спрашивал. Спрашивал, куда тебя запропало и не сидишь ли тоже.

— Штосс — что? Ничего не слыхать?

— Штосс нэма! — пожал плечами Терентий.— Как пропаль — так пропаль... Может, тоже где-нибудь на песках шатай-болтай...

— А Абрашка — что?

— У, Абрашка!.. — окрысился он. — Абрашка... — Терентий пытался было еще в лишний раз по своему охарактеризовать нашего общего бывшего шефа, но, вспомнив про наличие своей нежной спутницы, во время удержался...

## Вроде эпилога

Прошел год. За этот год, как и полагается всякому соответствующему отрезку времени, утекли целые океаны воды, и если бы нервы можно было измерять мерами длины, их поистрепались целые километры. . . Это был год существования на полустанке, между двумя поездами, один из которых потерпел на местном перегоне крушение, а другой должен был принять уцелевших пассажиров для их дальнейшего транспортирования. Пассажиры сидели на переломанных чемоданах в нетопленом „зале ожидания“ и предавались мрачным

размышлениям о том, что вот теперь они бы уже могли быть у цели своего путешествия, в теплой кровати, со стаканом горячего чаю на ночном столике. . . И с другой стороны — благодарили Бога, что и вообще-то выбрались живьем изо всей этой комбинации. . .

Странно — об этом годе у меня не сохранилось почти никаких воспоминаний. . . Моя кинокарьера, вместе со всякого рода связанными с нею честолюбивыми проэктами, в тихом благополучии закончилась. Других проэктов как-то не возникло, да если бы они и возникли для них не было бы ни времени, ни охоты, ни даже хотя бы относительного спокойствия души. Заниматься выбором профессии и призвания, сидя на разбитом чемодане, — занятие утопическое. Когда же человеку совершенно нечего делать он обычно садится писать либо мемуары, либо роман. Поразмыслив, я выбрал последнее. . .

Началось с того, что Ваня ни с того, ни с сего заявил мне, что годам к сорока я стану писателем. Утверждение это вызвало у меня ироническую усмешку, но сама мысль мне понравилась. А так как промежутков времени, свободных от стояния в очередях, от поездок в город и от тренировки в хождении по лесу заполнить было все равно нечем, — то вот я и приступил к созиданию своего первого литературного детища, каковое детище впоследствии, в незаконченном виде, было передано в верные руки для переправки его по месту нашего будущего жительства — в Берлин. В процессе переправки детище куда-то запропало, и вот только теперь, больше пяти лет спустя, я снова обнаружил его завеянные временем следы. Чем чорт в наши-то времена не шутит! Может быть, еще как-нибудь и удастся прочесть то, что когда-то писал мой маленький предшественник. . .

Всего только шесть лет, а времени-то, времени-то! . . Не принесли эти шесть лет ни таких желанных, на веленевой бумаге, дипломов

об окончании многолетних, солидных учебных заведений, не дали они даже того, что в доброй старой Германии называется: „ehrbarer Beruf“ — „почтенной профессии“. Не дали они ни спокойствия за собственное будущее, ни даже, уж если мы попали на тему о будущем, — самой простой и хотя бы самой относительной уверенности в завтрашнем дне. . .

Какие-то сотни, а может быть, и тысячи людей пронеслись мимо меня за эти шесть лет — все в разных расстояниях от меня, одни — ближе, другие — дальше; но все — только в одном направлении: назад, назад, назад. . . Будто я врезался в хвост кометы, и вот теперь — „кричу: „правей!“ — и на земь упадаю..“ Впрочем — даже и на земь еще как-то не довелось упасть. . .

Трехдимензиональным зигзагом проскочили эти годы. Ученые химики говорят, что так прыгают молекулы в капельке воды. И—что самое удивительное — не видать этим прыжкам ни конца, ни краю, а маленькие голубые дырочки, которые время от времени появляются в рваных тучах завтрашнего дня, с систематической бессистемностью заслоняются какими-то темными телами, проносящимися неизвестно откуда и неизвестно куда, как болиды в мировом космосе. . . Темно, смутно и пахнет, чорт его знает, чем. . .

Временами у меня, как и у всякого человека, бывают настроения, когда хочется немножко похныкать. И вот тут эти шесть лет дают неисчерпаемый и благодарнейший материал для всякого рода сладострастного самоистязания. Что может быть лучше, чем если человек в периоды черного сплина имеет возможность заняться бросанием горьких упреков по адресу судьбы, с полным и нерушимым сознанием их заслуженности и своей собственной правоты и невинности? . .

Но все-таки, если бы, допустим, на моем горизонте появился некий дядя, старательно прикрывающий высоким цилиндром кокетливые рожки на

низком и курчавом лбу, который быстрыми и ловкими движениями опытного коммивояжера разложил бы передо мной на кровати добрый миллион различных человеческих судеб нашего времени и потом предложил бы мне выбрать любую взамен моей зигзагообразной собственной, — я бы. . . я бы ответил ему Роомовским выражением:

— Уйдите вы ко всем чортовым бабушкам!..

Это одна из немногих и для простого смертного трудно уловимых причин, почему я, все-таки и несмотря ни на что, считаю себя оптимистом. . .

* * *

Судьба, однако, продолжала описывать по мостовой времени свои в доску пьяные зигзаги и в тысячу девятьсот тридцать третьем году мы с треском сели в ГПУ. Но я не собираюсь отбивать хлеб собственному папаше, и лиц, заинтересованных тем, каким именно образом это случилось, отсылаю непосредственно к его книге „Россия в концлагере“. Эпоха наших двух последних драпежей разработана в этом труде так, что ничего не оставлено последующим мелким старателям одиночкам.

Я только позволю себе вкратце описать ту дыру, которую капля, в результате долголетних усилий, все-таки пробивает в камне — конечный результат нашего похода, который, в сущности, продлился—ни много, ни мало - три года: в результате мы все-таки драпанули.

Четырнадцатого августа тысячу девятьсот тридцать четвертого года мы с сияющими от счастья и комариных укусов лицами выбрели, наконец, как и было задумано, на финскую территорию, в стопроцентном на сей раз убеждении, что жизнь для нас начинается завтра.

В тех случаях, когда жизнь начинается не „когда-нибудь“ через пару недель, а именно завтра, и когда она начинается не „как-нибудь“, а именно на все сто процентов, как у трехчасового младенца, — человеку надлежит сесть за стол, положить на него локти и в холодном спокойствии обдумать: что же, в конце концов, и как именно он предполагает начинать. Но пуще всего — где?

Ненавидя всеми розовыми фибрами своей юной души политику, все, что ее окружало, из нее проистекало и с ней соприкасалось, я голосовал за Гонолулу. Но Ваня вспомнил какое-то сообщение советских газет о том, что американское правительство превратило эту мечту моего детства в одну сплошную авио-базу, и Гонолулу автоматически отпало.

Ваня был еще менее требователен: он ничего не имел против политики, при том лишь условии, чтобы она не разыгрывалась на его собственной шкуре. Единственное требование, которое он выставлял стране нашего будущего жительства, — это чтобы она по мере возможности ни с кем не воевала, и чтобы дождик лил там не более четырех месяцев в году. Его скромной мечтой была (остается и до сих пор) некая трапперская хижина на берегу тихого озера с достаточным количеством карасей, чтобы они изредка попадались и на его безыскусный крючек. Хижина должна была содержать в себе пишущую машинку и достаточное количество бумаги на предмет написания пятитомного труда о подсоветском житье-бытье.

Протерев пальцами карту обоих полушарий, мы, в конце концов, остановили свой выбор на стране, которая, повидимому (не забудьте — это было в 1934-ом году!), отвечала всем нашим потребностям. С той лишь разницей, что вместо карасей ее озера содержали в себе крокодилов и что за бумагой и лентой для пишущей машинки приходилось бы про-

езжать несколько сот километров на—допустим — верблюде. Эта страна не имела худой славушки крупного мирового политического фактора, и, тщательно обследовав все ее границы, мы пришли к убеждению, что даже и воевать-то ей в сущности не с кем. Что же касается дождей, то разные энциклопедии придерживались в этом отношении разных мнений, но в общем все сходились на том, что страна эта по самому своему географическому положению сухая и ни в коем случае не дождливая.

Представьте себе — это была Абиссиния...

* * *

Теперь мы, как известно нашим читателям, сидим в Германии. От политики, как нашим читателям тоже известно, нам отделаться не удалось. Через три дня после того, как я допишу последние строки своего настоящего повествования, мы будем справлять свой собственный маленький юбилей: это будет ровно четыре года после того, как жизнь должна была начаться завтра. С тех пор она, правда, начиналась по меньшей мере двадцать раз.

Но мечта о хижине с карасями, как висела, так и продолжает висеть перед нами девственной чистоты хрустальным зàмком. С той только разницей, что мы теперь стали мудрее и спокойнее. Мы теперь не шарим больше пальцами по картам чужих и холодных полушарий, не строим больше утопических проэктов и не рыщем взорами в голубых далях неведомых „тридевятьземель“. Дело в том, что мы вспомнили, что на берегу Серебряного пруда в Салтыковке стоит именно такая маленькая хибарка и что в Серебряном пруду была неистовая уйма самых настоящих, золотистых и жирных карасей. Там же мы надеемся (!..) отделаться, наконец, и от трижды проклятой политики...

КОНЕЦ

## ИЗДАНИЯ „ГОЛОСА РОССИИ":

ИВАН СОЛОНЕВИЧ — **„РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ"**

Первое и второе издания распроданы. Третье издание — цена 2 ам. доллара; имеется на складе и у представителей „Голоса России".

Та-же книга на иностранных языках:

На немецком языке:

„Die Verlorenen" — Essener-Verlag. Essen. 1937. — Пятое изданіе.

На англійском языке:

„The Soviet Paradise Lost"—The Paisley Press, Inc. New York. 1938.

„Russia in Chains" — Williams and Norgate Ltd. — London. 1938.

На голландском языке:

„Het „proletarische" paradijs Russland één concentratiekampf — W. P. Van Stockum & Zoon N. V. Den Haag. 1937.

На польском языке:

„Rosja w obozie koncentracyjnym"—Nakladem Sekretariatu Porozumiewawczego Polsckich Organizacyi Spolecznych we Lwowie. 1938. Sklad glovni: Ksiegarnia „Ksiazka" Alexander Mazzucato, Lwow, Czarneckiego 12.

На чешском языке:

„Rusko za mrizemi" - издательство „Prapor Ruska", Praha II, Krakovska 8. (первое и второе издания распроданы, имеется третье).

На хорватском языке:

„Russija u konclegoru" — Izdala Knjiznica dobrich romana. Urednik dr. J. Adric. Zagreb. 1937.

Готовится к печати: на французском, японском, испанском, словацком, сербском, итальянском и венгерском языках. О выходе каждого нового издания будет об'являться особо в „ГолосеРоссии".

**„ПАМИР"**

Первое издание распродано. Второе издание — цена 1 ам. доллар; имеется на складе и у представителей „Голоса России".

† ТАМАРА СОЛОНЕВИЧ—**„ЗАПИСКИ СОВЕТСКОЙ ПЕРЕВОДЧИЦЫ"**

Распродано.

Та же книга на иностранных языках:

На немецком языке:

„Hinter den Kulissen der Sowjet-Propaganda", издательство Essener Verlagsanstalt, Essen.

На польском языке:

„Wspomnienia tlumaczki „Inturista" — Instijtut wydawn. „Biblioteka Polska" Warszawa. 1938.

Готовится к печати: на голландском, датском, английском и французском языках.

**„ТРИ ГОДА В БЕРЛИНСКОМ ТОРГПРЕДСТВЕ"** Въ печати.

БОРИС СОЛОНЕВИЧ — **„МОЛОДЕЖЬ И ГПУ"**

Первое издание распродано. Второе — готовится к печати.

Готовится к печати на немецком и шведском яз.


EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU
1 0100 00535439 0